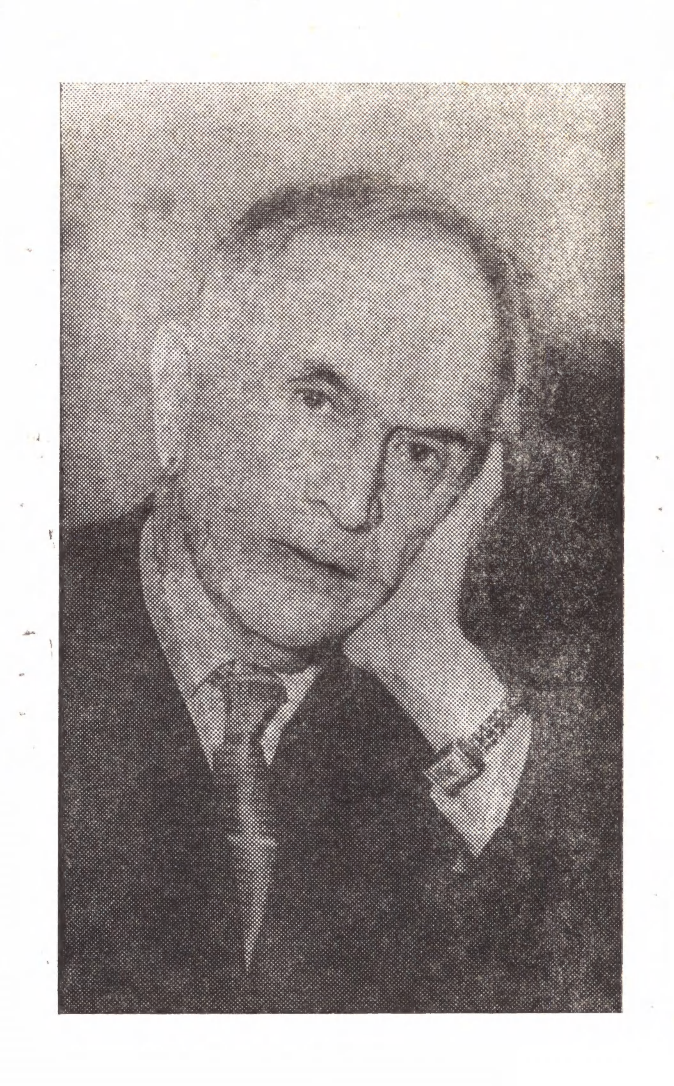
Вл. Лидин

ТАЯНИЕ СНЕГОВ



Вл. Лидин

ТАЯНИЕ СНЕГОВ

РАССКАЗЫ

Москва
Советский писатель
1980

Владимир Германович Лидин (1894—1979) — один из ветеранов советской литературы, стоявший у самых ее истоков, член Союза писателей СССР с года его создания. Его первые рассказы были напечатаны А. М. Горьким в 1917 году. Его многочисленные романы и повести хорошо известны советским читателям.

В новую книгу В. Лидина «Таяние снегов», выходящую после смерти автора, вошли рассказы последних двух лет. Герои рассказов — рядовые труженики. Исследуя их судьбы и характеры, писатель создает портрет нашего современника — человека активной гражданской позиции, большой душевной щедрости и человечности.

Л $\frac{70302-249}{083(02)-80}$ 43—80. 4702010200



МОСКОВСКАЯ МЕТЕЛИЦА

Цветы еще не привезли, и девушка, стоявшая за прилавком магазина, сказала высокому седому человеку, вызвавшему у нее почему-то симпатию:

— Обождите немножко, из Измайлова должны привезти розы.

— Подожду,— и у покупателя тоже, видимо, возникла симпатия к молоденькой отзывчивой продавщице.

В магазине «Цветы» сыровато пахло оранжереей — немного землей, немного сиренью, стоявшей в горшках, немного загородным простором, где в теплицах выращивают даже в зимнюю пору цветы.

Человек подошел к другому прилавку с садоводческим инвентарем, и весна, казалось, лежала на веселых зеленых леечках и на секаторах с блистающими красной эмалированной краской ручками. Но был пока февраль, мела метелица, человек постоял еще у большого зеркального окна, глядя на улицу в дыму поземки, и туманное, далекое, позабытое, но вместе с тем никогда не забываемое возникло из этой московской метелицы... Тридцать пять лет, конечно, огромный отрезок времени, но иногда в отрезок может уместиться и целая жизнь, со всем тем, что дано испытать человеку и что включает иной раз и всю его дальнейшую судьбу.

Ровно тридцать пять лет назад в такой же метельный день, только не с московской, а смоленской поземкой, под Дорогобужем, где стояла его, тогда старшего

лейтенанта Михаила Николаевича Вязьмина, батарея,— ровно тридцать пять лет назад немецкий танк, правда подбитый в атаке, успел все же выпустить снаряд, убив наводчика и тяжело ранив двоих, в том числе и его, командира батареи. Подбитый танк задымился черным дымом, потом загорелся, и очередь из автомата скосила выбившийся из танка экипаж. . .

Но этого Вязьмин уже не видел. Он видел только склонившееся над ним юное, почти полудетское лицо медицинской сестры, торопливо говорившей:

— Потерпите немножечко, товарищ лейтенант. . . ну, еще немножечко потерпите.

А потом больше ничего не слышал, белая обморочная тень опустилась на него, и лишь сутки спустя, уже в полевом госпитале, он снова увидел это лицо, с таким нежным сочувствием склонившееся над ним, что преодолел все же слабость, спросил:

— Как вас зовут?

— Надя. . . Надя Шевелева.

— Спасибо, Надя,— сказал он,— на всю жизнь спасибо.

Наутро его отправили в санитарном поезде в тыл, и два месяца, надрывно кашляя с кровью, он пролежал в тыловом госпитале где-то под Ижевском, но белый обморочный туман по временам еще стлался над ним, пока не пошло на поправку. И лишь теперь, как проявленный негатив, возник тот лес, на опушке которого стояла его батарея, возник и дымящийся угольно-черным дымом немецкий танк, возникло и разбитое орудие, возле которого с выкинутыми вперед руками лежал наводчик Михайленко, возник и он сам, Вязьмин, с кровавым сгустком во рту, возникла и юная медицинская сестра, волочившая его в лощинку, и он теперь уже твердо думал о том, что именно ей обязан жизнью. . .

Однажды для раненых был устроен концерт, и когда несколько заунывно один из музыкантов стал играть на волынке, именуемой бызом, как-то печально, расширяюще, словно воздух все шире стал входить в его поврежденное легкое, наплыло и то, что было еще так туманно и, видимо, уже навсегда потеряно.

А когда пять месяцев спустя он вернулся в свой полк, кругом были новые лица, мало из тех, кто воевал вместе с ним, осталось, а полевой госпиталь, в котором

лежал он в начале войны, давно ушел вперед или был расформирован. . .

Позднее, уже в звании майора, он командовал артиллерийским полком, стал опытным военным, теперь не приходилось оставлять города, а возвращать утраченное, хотя и в почернелых пожарищах, на полукилометровке в его планшете отмечались одна вслед за другой новые позиции, и уже приближались границы страны. . .

А на четвертом году войны, когда она шла на немецкой земле, когда вместо сожженных русских сел возникли готические крыши домов, шпили кирх, каменные фермы почти крепостной прочности и уже не только на дальних дистанциях артиллерийского огня, но, казалось, и на остриях штыков была победа,— немецкий танк ударил по командному пункту полка, его, Вязьмина, ранило в предплечье левой руки, но он продолжал командовать, и лишь после боя его отправили в госпиталь. Ему сделали операцию, извлекли осколок, и случилось то чудо, о котором с печалью утраты думал он, слушая в Ижевске заунывные звуки удмуртской волынки. . .

Как и в самом начале войны, когда его ранило в грудь и из белого обморочного облака возникло склонившееся над ним юное лицо медицинской сестры, так и сейчас, но только повзрослевшее и как бы затвердевшее в испытаниях, возникло лицо той Нади Шевелевой, которой он был обязан жизнью когда-то. . .

Она не узнала его, и он сказал:

— Вы забыли меня, а я никогда не забуду вас, Надя.

И он назвал себя и напомнил, как в начале войны она перевязывала тяжело раненного в грудь командира батареи.

Она вспомнила, обрадовалась, ее милые карие глаза с нежностью воспоминаний смотрели на него.

— Живые? Вот как хорошо! — сказала она.

— Ну, а вы как, Надя? Все у вас благополучно?

— Один раз контузило бомбой с самолета. Теперь — ничего. Нет, я помню вас. . .

— Михаил Николаевич,— подсказал он.

— Я помню вас, Михаил Николаевич. . . Дело теперь прошлое, но не надеялась я тогда, что останетесь живы.

— Нет, остался жив, как видите. А в госпитале я

часто вспоминал вас, Надя... все-таки из ваших рук принял я тогда путевку на дальнейшую жизнь.

— Ну что вы... просто врачи вам попались хорошие. Завтра вас эвакуируют, должно быть... теперь, может быть, в самом Берлине увидимся.

— Дайте мне номер вашей полевой почты, я напишу вам. Ответите?

— Непременно.

На этот раз его эвакуировали в Бердянск, окна госпиталя выходили в сторону Азовского моря, был уже март, по ночам было слышно беспокойное движение освободившегося недавно ото льда моря, и он написал тогда Наде:

«Пишу под шум Азовского моря, и так хотелось бы увидеть вас снова, только не в госпитале, но где-нибудь на берегу такого же моря в хорошую, теплую пору, а мое сердце обращено к вам давно, хотя вы и не узнали меня».

И Надя ответила ему:

«Очень была рада получить Ваше письмо, Михаил Николаевич,— нет, я не забыла вас, только не сразу узнала, за войну люди так меняются. А мы все двигаемся вперед, вчера наши войска взяли город Нейссе, и сейчас здесь разместился наш госпиталь».

Он снова написал ей письмо, но в ходе наступления оно не дошло, наверно.

В свой полк он больше не вернулся, был откомандирован в распоряжение управления кадров, победу встретил в Москве, и чувство радости мешалось с горечью: столько пройти дорог, а полк без него довершил победу.

Надю он потерял из виду, номер полевой почты со множеством переформирований, видимо, изменился, страна вернулась в мирную жизнь, как в обретенный после многих скитаний дом, возвратились из эвакуации мать с его сестрой, в московской квартире содрали с окон черную маскировочную бумагу, и надо было начинать новую жизнь. До войны он, Михаил Николаевич Вязьмин, преподавал в одной из академий историю, и теперь его обратили к новому делу — уже задумывалась многотомная история Великой Отечественной войны, начали постепенно собирать документы, и сначала были только страницы, но потом пошли и тома...

Год спустя после окончания войны он как-то летним

вечером, возвращаясь с работы, решил поехать к матери в Жаворонки, где она жила на даче с его сестрой, сел на Киевском вокзале в электропоезд и, как это бывает в великой сложности жизни, с величайшей простотой случая узнал в сидевшей у противоположного окна девушке Надю Шевелеву...

— Надя! — окликнул он, и она — в легком летнем платье, с красноватыми каштановыми волосами — удивленно посмотрела на него.— Опять не узнаете? — и он сел на скамейку напротив нее.

— Боже мой, Михаил Николаевич... Просто чудо из чудес!

— А я был уверен, что встречу вас все же когда-нибудь.

И они торопливо стали рассказывать друг другу о себе, а поезд тем временем пришел в Жаворонки, и они еще долго сидели на станционной скамейке.

Надя тоже ехала к матери, работавшей врачом в поселковой больнице, везла ей клубнику, вез и он своей матери клубнику.

— Я потом и не стала писать вам, решила, что из госпиталя вы давно выписались. Ну как же ваша рука?

— Ничего... но это не самое главное.

А три года спустя, когда они были уже мужем и женой и ехали таким же летним вечером к его матери в Жаворонки, Надя сказала:

— Как все случайно и как все просто в жизни... Я, конечно, не тогда, когда в первый раз ранило тебя, а при новой встрече подумала, что, значит, была судьба встретиться нам снова, а про электричку я уж и не говорю.

— Это не случайность, а другие законы... именно они помогли нам выиграть войну.

— Ладно,— засмеялась она,— не будем искать законы... главный закон — это то, что мы — вместе.

Его мать, Анна Васильевна, тоже полюбила Надю, сказала раз:

— Подумать только — нашел ее на войне, где лишь теряли и теряли.

Потом у них родился сын — Игорь, сейчас инженер-механик, работает в Купянске, женился, и теперь у него, Михаила Николаевича, есть уже внук — Миша, названный так в честь деда.

Вот и вся его, прежде — преподавателя истории, затем артиллериста, а ныне военного историка, жизнь, с простреленным легким, с разбитым предплечьем левой руки, пальцы которой хотя и действуют, однако не совсем так, как им положено... и такое найденное богатство в чащобе войны, такое чудо из чудес в чащобе войны — его, ныне уже совсем седая, лишь по временам с прежней живостью в карих глазах — его верная Надя, некогда из последних сил волочившая его по снегу...

А сегодня было ровно тридцать пять лет, день в день, когда на опушке леса приползшая с санитарной сумкой через плечо Надя перевязывала его, и он видел над собой ее юное побледневшее лицо с мокрой прядью волос из-под меховой шапки...

Она забыла, конечно, что это было именно сегодня, тридцать пять лет назад, день в день,— но он, военный историк, помнил это, военный историк должен быть точен, и он был точен, поехал купить цветы, привезет их, держа за спиной, спросит:

— Помнишь, какой сегодня день?

Надя удивится, наверно, она не историк:

— А какой день?

И Вязьмин смотрел сквозь зеркальное окно на проспект в поземке, машины проходили со шлейфом снежной пыли, а пешеходы становились иногда боком к ветру: он как аэродинамическая труба, этот проспект...

Цветы наконец привезли, целую корзину еще трепетных, не освоившихся с тем, что они срезаны, роз, и молоденькая продавщица спросила поверх голов:

— Вам каких — белых или красных?

— По пяти каждых, — ответил Вязьмин благодарно.

Он пошел к кассе, а продавщица аккуратно завернула цветы в целлофан, потом в бумагу, скрутив ее кончик.

— Большое спасибо,— сказал вежливый седой человек.

Она ответила:

— Пожалуйста. Приходите еще .

И это было так мило и душевно, что Вязьмин вышел из магазина с чувством, будто девушка поняла состояние его духа в этот день, поняла и для кого он купил цветы.

Все было именно так, как он и представлял себе: жена читала книгу у окна и вязала носочки, а за окном несло снежные косые полосы, февраль еще когтил недалекую весну.

— Какой сегодня день, Надя? — спросил Вязьмин, держа букет за спиной.

Она отложила книгу.

— А какой?

— Вот именно — какой?

Надежда Николаевна задумалась:

— Не знаю.

— Вспомни все-таки.

— Что такое, Миша? — спросила она недоуменно.

— А то, что ровно тридцать пять лет назад, день в день,— я, военный историк, должен быть точен,— ровно тридцать пять лет назад, день в день, твои руки перевязывали меня на опушке леса возле Дорогобужа.

— Правда — сегодня именно этот день? Но где же ты достал розы?

— Слетал в Сухуми... сейчас это быстро. Несколько часов туда и обратно. Директор Ботанического сада просил кланяться тебе.

— Какой же он вежливый, этот директор, и какие дивные розы умеет выращивать!

— Да, в розах он толк понимает... А когда я нес эти розы тебе, то думал о том, что если кто-нибудь снова захочет напасть на нашу с тобой землю, навсегда и останется в ней. Впрочем, думал о кое-чем и еще...

— О чем же? — спросила она, выждав.

— Но это только для тебя одной: думал о том, что на вечные времена мы с тобой — вместе, до того часа, когда кончится наш с тобой век, до самого его конца мы — вместе.

Ее некогда прелестное своими чуть неправильными чертами лицо было склонено над цветами, а когда она подняла голову, на большой красной розе блестело несколько капель росы...

Но Вязьмин сделал вид, что не заметил их.

— Метет,— сказал он только, подойдя к окну,— метет.

И мело именно так же, как в тот день, тридцать пять лет назад, когда распластавшаяся на снегу медсестра Надя Шевелева подползла с санитарной сумкой

через плечо к разбитому орудию, возле которого он лежал.

— Съездим когда-нибудь с тобой в Дорогобуж... посмотрим, как живут там люди,— сказал он.— Право, Надя, соберемся и съездим.

— Ну что ж,— легко согласилась она.— Нам с тобой сняться с места — минутка... ведь столько раз мы с тобой уже снимались с места!

Но она не сказала, что прежде следовало бы все-таки съездить в Купянск, а голубые, веселые носочки для внука она уже довязывала.

ЧЕРНОГОЛОВАЯ ЧАЙКА

Упала капля звонка, словно звонивший тут же испугался своей смелости, и Андрей Кондратьевич пошел открыть дверь. За дверью стоял мальчик с печальным, нежным личиком, похожий на девочку, да и челка была как у девочки.

— Тебе кого? — спросил Андрей Кондратьевич.

— Я — сын,— сказал мальчик.

— Чей?

— Мамы, но она скончалась, а бабушка не велела мне идти к вам, а я пошел все-таки. Мама долго болела, у нее было с легкими, а прежде мама была женой вашего сына, потом вышла замуж за папу, а папа попал рукой в машину, сначала ему отняли руку, но пошло заражение. А бабушка сказала, что совсем ни к чему идти к вам.

Еще в Сызрани он, Ваня Вальцев, решил, что найдет Андрея Кондратьевича Пряничникова, о котором мать говорила не раз, что это хороший человек, а хороший человек разберется в несчастьях их жизни, и к кому же, как не к хорошему человеку, пойти со своим несчастьем?

Свыше двенадцати лет назад сын оставил ту, которая стала ему, Андрею Кондратьевичу, как дочь, оставил эту тихую, с робкой душой, Аню, встретился где-то на курорте с более живой и модной, и живая и модная увела его в сторону. Искать или добиваться чего-то Аня

не стала, уехала к матери в Сызрань, год спустя, оформив развод, вышла там вторично замуж, написала Андрею Кондратьевичу в письме:

«А вас, Андрей Кондратьевич, я никогда не забуду и знаю, что вам тяжело все это. Но что же делать, я сейчас встретила одного человека, он простой, но добрый, жалеет меня, и что же мне было делать, дорогой, хороший Андрей Кондратьевич?»

А еще два года спустя она написала ему, что муж работает мастером на механическом заводе, недавно у них родился сын, но все равно она никогда ничего не забудет. Однако не далась Ане ее новая жизнь, с мужем случилось несчастье, попал рукой в машину, сначала ампутировали кисть, потом пошло заражение, и в коротком письме Аня написала еще о том, что не выразишь своего горя, а о нем, Андрее Кондратьевиче, всегда думает, что он первый поймет и посочувствует.

И вот он пришел, Ваня Вальцев, к тому, кто первый поймет и посочувствует.

— Ах ты боже мой... не знал ничего о твоей маме,— сказал Андрей Кондратьевич скорбно.

— Вы только не сердитесь, что я пришел... а до вашего дома меня монтер Семен Гаврилович проводил.

Андрей Кондратьевич не спросил, кто такой монтер Семен Гаврилович, сказал: «Заходи»,— и мальчик прошел за ним в комнату с чучелами птиц на полках и даже с гнездом, в котором лежали три маленьких с коричневыми крапинками яичка.

— Я изучаю птиц, куда и зачем они летят,— пояснил Андрей Кондратьевич, заметив, как забегали глаза мальчика.

— Я тоже люблю птиц... У меня всю зиму чижик жил, а весной я его выпустил.

— Значит, у нас с тобой общие склонности. Садись.

Мальчик сел на краешек стула, чинно положил руки на колени, и Андрей Кондратьевич покосился на его маленькие голубоватые руки.

— Ну, с чем же все-таки ты пришел ко мне?

— Я ни с чем пришел, просто мама говорила про вас, что вы хороший человек, а у нас одна беда за другой.

Наверно, это были слова бабушки, и Андрей Кондратьевич услышал ее сокрушенный голос.

— Не знал про твою маму,— повторил он грустно.

И минутку они посидели молча.

— Андрей Кондратьевич, бабушке со мной трудно,— решился все же сказать мальчик.— Она все думает — может быть, удастся устроить меня в Москве в какую-нибудь школу, чтобы можно было в ней жить. А в Москве у бабушки сестра, Наталья Павловна, только уже старенькая, вот она и подсказала обратиться к вам, а бабушка сказала — ни в коем случае, незачем беспокоить вас, но я пришел все-таки. Бабушка тоже уже совсем старенькая, и ноги у нее плохие, просто наказание с ними.

— Не знаю ничего насчет таких школ,— сказал Андрей Кондратьевич в какой-то внезапно охватившей печали, и он как бы из дальнего далека смотрел на этого Ваню Вальцева, этого похожего на девочку несчастливца, на которого посыпались беды одна за другой, и вот он в своей круглой беде сидит перед ним. . .

«Птицы, если их застигнет непогода над морем, садятся нередко на палубы судов. . . кому же это знать, как не мне?» — сказал Андрей Кондратьевич самому себе.

И он минуту еще думал о чем-то, отдуваясь в седые усы.

— Ты в котором же классе?

— Я в третий перешел. . . а бабушка одна теперь, ей со мной трудно.

И что-то вдруг заполнил собой этот Ваня Вальцев, какую-то щель или даже брешь в душе.

— Вы сколько еще пробудете в Москве?

— Бабушка завтра уезжает обратно, а я до начала занятий у Натальи Павловны поживу, а потом бабушка приедет за мной.

— Давай тогда вот что. . . раз ты интересуешься птицами, приходи ко мне в Зоологический музей, я там работаю, покажу чучела разных птиц, бабушке скажи, что я хотел бы повидать ее.

— Нет, она не знает, что я пошел к вам. . . вы лучше ей по телефону позвоните, у меня записан номер Натальи Павловны. Только про меня ничего не говорите.

Мальчик достал из кармана своей курточки общелкнутую резинкой записную книжечку, и Андрей Кон-

дратьевич переписал номер телефона неведомой ему Натальи Павловны.

— А в Зоологический музей я приду, меня Семен Гаврилович проводит... вы только скажите, когда прийти?

— Приходи, пожалуй, в понедельник,— задумался Андрей Кондратьевич,— я буду в музее с утра.— И он еще о чем-то минутку подумал.— А пока возьми одно перышко, это перо черноголовой чайки, отважной птицы, летает над морскими глубинами. У нас, орнитологов, есть такой обычай дарить перышки на память.

Мальчик взял перо, погладил его пальцем и бережно положил в свою записную книжечку... но что было записано в ней, кроме номера телефона Натальи Павловны: может быть, хранила она детские скорбные записи насчет одной беды за другой?

— Теперь я пойду, а то бабушка будет беспокоиться.

— Дорогу обратно найдешь?

— Меня Семен Гаврилович обещал возле булочной напротив вашего дома ждать... а можно ему вместе со мной прийти в музей?

— Отчего же... пусть приходит.

И Андрей Кондратьевич, оставшись один, еще посидел в глубоком раздумье, а листки календаря на его рабочем столе как бы сами собой перекидывались в обратном порядке, возвращая минувшие годы...

По субботам сын обычно уезжал на дачу, где его ждали жена с дочерью, и Андрей Кондратьевич наугад набрал номер его телефона, но сын оказался дома.

— Вот хорошо, Коленька, что застал тебя... полагал, ты на даче.

— Только собираюсь.

— Не заглянешь ко мне на минутку?

— Что-нибудь нужно, папа?

— Да нет... только поглядеть на тебя.

— Хорошо,— сказал Николай Андреевич, ныне уже давно горный инженер.— Заеду.

У сына была своя машина, и Андрей Кондратьевич, выйдя на балкон, увидел вскоре подъезжавшие к подъезду дома песочно-желтые «Жигули», а минуту спустя уже гудел лифт.

— Ну как ты, папа? — спросил сын, полагая все же, что отец не просто захотел повидать его.

— Контора пишет... летом в городе просторно. Кстати, нет ли у тебя кого-нибудь из знакомых, кто знает насчёт школ-интернатов?

— Насчет школ-интернатов? Зачем они понадобились тебе? — удивился сын.

— Есть одно обстоятельство... тебя непосредственно оно не касается, но есть одно обстоятельство.

Он помолчал, а сын, уверенный, рослый, выжидательно смотрел на него.

— Ты знаешь что-нибудь о твоей бывшей жене? — спросил Андрей Кондратьевич.— Ты знаешь что-нибудь об Ане?

Сын чуть повел плечами, сразу насторожившись, и Андрей Кондратьевич сказал:

— Аня год назад умерла. А сегодня у меня был ее сын, такой славный мальчишечка... остался вдвоем с бабушкой, а она старая и слабая. И вот в память Ани нужно устроить его в какую-нибудь московскую школу-интернат. Его отец погиб в результате несчастного случая на производстве... наверно, это может помочь с интернатом.

Но сын молчал, и что-то совсем чужое встало вдруг между ними.

— У меня нет таких знакомых,— сказал Николай Андреевич коротко или даже несколько неприязненно.— Об Ане я ничего не знал, и мне жаль ее, конечно... но ведь это совсем другое, не вмешивай меня. Мало ли что может подумать моя жена.

— Не знаю, что может подумать твоя жена, но я живу своим сердцем и по своим правилам.

Андрей Кондратьевич едва не добавил: «Где же все-таки мой сын набрался такой душевной нечуткости?» — но сказал вместо этого:

— Ладно... отрезано — и дело с концом. Поезжай, Коля, твои, наверно, уже ждут тебя. Поцелуй жену и дочку.

Но сын недовольно смотрел в сторону, предстоявший день отдыха был как-то испорчен, и уже не хотелось на дачу.

— Отрезано — и дело с концом, — повторил Андрей Кондратьевич.— А мы с тобой будем жить каждый по-своему, мы ведь не мешаем друг другу.

И хотя они расстались мирно, договорившись, что каждый может жить по-своему,— наверно, все же что-то осталось на душе у сына, и Андрею Кондратьевичу хотелось, чтобы погорше, поглубже осталось. Эта едкая роса нужна человеку, она разъедает то, что образуется с годами, как винный камень или отложение солей, и пусть поедче будет эта разъедающая роса!

Он поискал в своей телефонной книжке номер телефона старого педагога Сперанцева, с которым вместе когда-то учился в университете, но Сперанцева не оказалось дома, и Андрей Кондратьевич сказал его жене:

— Попросите Сергея Евграфовича узнать условия приема в школы-интернаты... мне нужно устроить одного птенца.

— Внука, наверно? — предположила жена Сперанцева.

— Да, вроде внука... или, пожалуй, именно внука.

— Как вы живете, Андрей Кондратьевич? Мы так давно не виделись с вами.

— Стараюсь жить без винного камня и без отложения солей,— ответил.

— Это как же понимать?

— Ну, без подагры, что ли.

И жена Сперанцева согласилась, что подагру по возможности следует избегать.

Потом Андрей Кондратьевич раскрыл большой атлас, в котором акварелью изображены были птицы всех пород — от золотистой щурки с желтым горлышком и зелеными бровями, певчего дрозда с жилеткой в крапинках, а на черноголовой чайке был чепчик или картузик...

Может быть, действительно поступит Ваня Вальцев в школу-интернат, будет по воскресным дням приходить к нему, Андрею Кондратьевичу, и он пробудит в нем сначала интерес, а следом и страсть к познанию полетов птиц, их кочевий и зимовок, вырастит его себе в помощь, а там, смотришь, и на смену себе...

Но это были дальние мысли, а пока Андрей Кондратьевич записал в перекидном календаре на своем рабочем столе: «Понедельник — Ваня Вальцев».

НОЧНАЯ СТАНЦИЯ

Проводница перешла шаткие мостки между вагонами, прошла затем через два уже готовившихся ко сну вагона и зашла в отделение, где ехал начальник поезда.

— У меня в вагоне беда, Василий Митрофанович,— сказала она.— Заболел пассажир. Не знаю, что с ним делать. Я врача в вагонах поискала, никто не откликается.

Начальник поезда Ермолаев, крепкий и живой, хотя позади было уже тридцать лет службы на железной дороге, снял очки, в которых читал московскую вечернюю газету, спросил:

— Что с ним?

— Не знаю, мучается. Ему до Чугуловска ехать, не доедет он.

Проводница тоже уже немало поездила по железным дорогам, и он знал эту Прасковью Васильевну Малышеву, считавшуюся одной из лучших старых проводниц.

— Взгляну,— сказал он и пошел за ней следом в ее двенадцатый вагон.

Заболевший, длинный и худой, с узкой, мертвенно чернеющей бородкой, лежал на спине, прижав руку к животу, отсутствующим взглядом посмотрел на склонившееся над ним лицо незнакомого человека с седыми подстриженными усиками на полном лице, и Ермолаев спросил:

— Ну, что такое с вами?

— Погибаю, должно быть,— ответил тот.

— Ну вот, так уж и погибаете,— и Ермолаев потрогал его горячий лоб.— Вы до Чугуловска едете? Встретит вас кто-нибудь?

— Некому встречать.

И Ермолаев несколько минут спустя узнал, что пассажира зовут Михаилом Николаевичем Звониковым, а по специальности он фотолаборант.

— Неприятность,— сказал Ермолаев.

Человек по-прежнему отсутствующими глазами посмотрел на него, он был словно уже по другую сторону, когда нужно только ждать, как будет с ним дальше.

— Что будем делать? — спросил Ермолаев проводницу, когда они вышли в коридор вагона.— Везти его нельзя, можно не довезти. Я в Скворечной попрошу диспетчера позвонить по телефону в Кутумск, чтобы выслали к поезду «скорую помощь».

— Обязательно надо, Василий Митрофанович... только как же его одного отпускать? Может, едет кто-нибудь до Кутумска, я поищу, помогут человеку.

— Попробуй,— сказал Ермолаев, и он пошел обратно в свой вагон, а проводница еще постояла у открытой двери купе, в котором второй пассажир уже спал, отвернувшись к стене, или лишь отгородился от ночного беспокойства.

До Кутумска было еще два часа пути, и проводница пошла по вагонам, где одни уже спали, другие готовились лечь, и она останавливалась у открытых дверей или открывала дверь, спрашивала:

— Никого нет до Кутумска?

В соседнем вагоне не оказалось ни одного, кто ехал бы до Кутумска, и в следующем вагоне тоже не было, а в третьем вагоне одна из лежавших на нижней полке и, видимо, уже засыпавшая женщина подняла голову, отозвалась:

— Я до Кутумска.

— Не поможете ли в одной трудности, миленькая?

И проводница подсела на край ее полки и рассказала о заболевшем в пути человеке, которого срочно придется поместить в больницу в Кутумске, а насчет «скорой помощи» диспетчер промежуточной станции сообщит.

Женщина откинула одеяло, села, показалась такой славной и отзывчивой, сказала:

— Помогу, конечно... У нас в городской больнице хорошие врачи, я одного, Сергея Павловича Медведенко, попрошу, если он дежурит, а нет, то утречком.

И они обе по-женски прочувствовали, что нельзя оставлять в беде, с каждым может случиться так же.

— Давайте соберем ваши вещицы, перейдете в мой вагон, а я больному скажу, что попутчица нашлась, ему все-таки понадежнее станет.

Заболевшему было совсем плохо, он лежал теперь на боку, прижав руки к животу, и проводница, потрогав его за плечо, сказала:

— Вы, главное, не отчаивайтесь... все хорошо будет. А с вами одна кутумская гражданочка вместе выйдет, она ни в коем случае не оставит вас.

И та, которую она назвала кутумской гражданочкой, сказала в свою очередь:

— У нас хорошие врачи в больнице, сразу определят и помогут... я с одним знакома, он, Сергей Павлович, стольких на ноги поставил. А ехать нам с вами еще часа полтора, так что вы уж перемогитесь как-нибудь.

Она подсела, положила свою маленькую руку на его руку, прижатую к животу, и он открыл глаза, как-то оживившись от женского участливого голоса.

Проводница ушла, а та, которую она привела, сидела рядом с заболевшим и говорила, может быть, даже не столько ему, сколько самой себе:

— У нас больница новая, только два года назад построили, так что все в ней на уровне, и «скорая помощь» у нас тоже хорошая.

И она рассказала еще, что в их ателье женской верхней одежды, тоже был такой случай, заболел один закройщик, но сейчас уже давно на работе, это хороший закройщик, Семен Иванович, у него много женщин шьют верхнюю одежду...

И он задремал под ее певучий голосок, а в Кутумске сразу же подошли к вагону санитары с носилками, и проводница сказала санитарам про спутницу:

— Это их родственница.

И вот во тьму ноябрьской ночи повезли его, Михаила Николаевича Звоникова, в санитарной машине, а возле его плеча сидела женщина, теперь казавшаяся единственно близкой душой в этом незнакомом, с редкими огнями городе.

В больнице сопровождавшая сообщила свой адрес и имя — Мария Прокофьевна Огаркова, иначе — Маша, для всех — только Маша, портниха в ателье верхнего женского платья.

Она дожидалась в приемной, пока выйдет врач, но вышла медицинская сестра, немолодая и строгая, сказала:

— Гнойный аппендицит, будут срочно оперировать. Вы кем приходитесь больному?

— Я двоюродная сестра,— ответила Маша поспешно.

— Приходите завтра, прием с двух часов.

И Маша пошла со своим чемоданчиком сначала по спящей Московской улице, потом по улице Палтусова, а ее дом был за площадью с кинотеатром «Победа».

В доме было уже темно, соседи спали, и Маша тихо прошла в свою комнату, в которой прежде жила с матерью, а после смерти матери уже три года одна, лишь в Кинешме осталась тетя, сестра матери, у которой Маша провела свой отпуск. Она умылась, легла, подумала напоследок о том, что такой хорошей женщиной оказалась проводница, нашла ее в полутьме вагона, только бы благополучно прошла операция, потом заснула, а поезд, в котором она продолжала ехать во сне, все шел и шел. . .

На другой день к началу приема она уже была в больнице, вышла другая сестра, спросила:

— Вы к Звоникову? Шестая палата, только на несколько минут.

— Как с ним? — спросила Маша несмело.

— Сделали операцию.

Маша прошла в шестую палату, еще издали увидела длинное бледное лицо Звоникова с узкой черной бородкой, похожей на рамку, но он только поглядел в ее сторону, наверно, не узнал ее.

— Ну, слава богу, все обошлось. . . Как вы себя чувствуете?

Но его губы лишь зашевелились, и Маша, низко наклонившись над ним, переспросила: «Аиньки?» — как всегда переспрашивала, когда недослышала, и Звоников повторил:

— Кто вы?

— Я в одном вагоне с вами прибыла. . . помните?

— А. . . да, да,— сказал он и, помолчав, добавил: — Я очень, очень обязан вам.

— Чем же вы обязаны мне? Проводница, дай ей бог, хорошая оказалась, нашла меня в поезде, и я так довольна, что вовремя получилось, а недельку, наверно, придется все-таки побыть вам здесь.

— Пошлите, пожалуйста, телеграмму в Чугуловск, меня в институте ждут.

Маша достала блокнотик, записала под диктовку: «Заболел пути нахожусь больнице Кутумске», пообещала:

— Пошлю. А теперь я пойду, вам после операции нельзя много говорить.

Он снова произнес что-то невнятное, она переспросила: «Аиньки?» — но он лишь закрыл глаза, и она ушла.

Улицы Кутумска были уже предзимние, на крышах лежал иней, потом на минуту посыпались белые бестолковые бабочки, пометались и, опустившись на землю, истаяли. . .

На другой день Маша вышла на работу, успела купить по дороге цветы, несколько белых астр, и в обеденный перерыв заторопилась в больницу.

— Ну как вам, Михаил Николаевич? — спросила она.

— Получше.— Его лицо уже не было таким бледным, и черная бородка не казалась рамкой.— Доставил вам беспокойство, но, честное слово, другой раз можно даже пострадать, только чтобы хорошего человека встретить. . . а вы хороший человек, Мария Прокофьевна.

— Вы меня Машей зовите. . . меня все зовут так.

— Пожалуй. . . вам это имя больше подходит.

— Телеграмму я отправила, и у знакомого врача Сергея Павловича насчет вас спросила, Сергей Павлович сказал — не он делал операцию, но все хорошо прошло у вас.

— Завтра, видимо, уже встать разрешат. А когда меня ночью из вагона выносили, я подумал: все, Михаил Звоников, и о том, что случилось с тобой, не скоро узнают.

— Разве нет у вас близких?

— Есть брат, но он с семьей в другом городе живет. . . мы почти и не видимся.

— Это плохо, когда человек — один, — сказала Маша.

— Привык уже.

Больше она ни о чем не спросила, а на другой день, в субботу, можно подольше побыть.

— Завтра на все время приема приду, если только не будет вам скучно со мной.

— Не будет,— отозвался он, еще не признаваясь себе, что стал вдруг так нужен ему этот певучий голосок, это «Айя» или «Аиньки?», если чего-нибудь недослышала.

— Я утром на рынок схожу. Чего вам принести? Яблоки можно?

— Пока ничего нельзя. Главное — приходите.

— Приду.

И она пришла в субботу, а Звоникову разрешили выйти в больничный сад, и они вышли в сад и сели на скамейку. На Звоникове было легкое пальто, и Маша сняла с себя шерстяной шарф и надела ему на шею.

— Еще простудитесь. В этом году зима, наверно, рано станет.

— Ничего-то я не знаю о вас, Маша,— сказал он вдруг.

— А что вы хотите знать?

— Ну, как живете, что ли?

— Прежде я с мамой жила, но мама три года назад скончалась, теперь одна живу, у меня хорошая соседка, мы с ней дружим. А работаю я в ателье верхней женской одежды... может, со временем модельером стану, я к этому стремлюсь. А вы что поделываете, Михаил Николаевич?

— Заведую фотолабораторией института благородных металлов. Снимаю золотые самородки... иногда доставляют с приисков. А то самоцвет такой красоты попадется, что ни одному художнику не достигнуть. Между прочим, отмечу теперь на географической карте кружком город Кутумск: золотоносные руды, оказывается, и на поверхности другой раз найдешь.

— Я врача, который вам операцию делал, спросила насчет вас... денька через четыре вас выпишут, и я так довольна, что все обошлось.

— Аиньки? — переспросил он.

Она удивленно посмотрела на него, засмеялась.

— Передразниваете... такая уж у меня привычка сложилась.

— И не расставайтесь с этой привычкой.

— Я, к слову сказать, Михаил Николаевич, книги люблю, в нашей городской библиотеке первая читательница.

Ей, наверно, казалось, что своим простецким «аиньки» она и сама представлялась ему простецкой.

— Ну, раз любите книги, пошлю вам один красивый альбом с цветными репродукциями алмазов, рубинов,

изумрудов, а вас по вашей прозрачности можно сапфиру уподобить.

Она не поняла, чуть смешалась, сказала:

— Спасибо. А теперь пойдемте, Михаил Николаевич, холодно,— и Звоников последовал за ней в больницу.

А день спустя врач сказал ему:

— Завтра выписываем вас. Вы куда же теперь?

— Далеко, в Чугуловск. Не знаю, удастся ли прокомпостировать билет... у меня все-таки прерванная поездка получилась.

Поезд проходил через Кутумск в половине одиннадцатого вечера, и перрон станции был уже в предзимнем тумане. А в этом прежде неведомом городе Кутумске пришла проводить его, Звоникова, одна кутумская гражданочка, одно милое сердце, один найденный им самоцвет...

— Теперь у вас с этим беспокойством, слава богу, навсегда кончено,— сказала Маша.— Сможете ездить сколько захочется.

Потом из тьмы, блистающей инеем, возник поезд с двумя огнями впереди, и Маша поспешно сказала:

— Ну, до свиданья, Михаил Николаевич... всего, всего вам хорошего!

Она как-то повела рукой у его груди, по-старому, попростому, по своему «аиньки», перекрестила его, и они расстались надолго, наверно, навсегда... а может быть, и не навсегда, может быть, возьмет он как-нибудь билет до Кутумска, сядет в поезд, сойдет на ночной станции, найдет на густо-синей улице дом, в котором живет Маша, постучит в дверь ее комнаты, скажет: «Я приехал»,— и она певуче, ничуть не удивившись, ответит:

— Вот и хорошо, что приехали.

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ

Было еще совсем темно, октябрь не торопился со светом, но в колясочке рядом уже хныкало, и Лиза спустила ноги с постели, выпростала из одеяльца хныкавшего, дала ему грудь, и он сразу присосался, Алек-

сандр Сергеевич, нетерпеливо и властно, как хозяин этой груди, а Лиза сидела, закрыв глаза, и то нежное, что сначала шевелилось в ее руках, а потом стало затихать, наполнило светом лишь просыпающееся, серо-заспанное утро, наполнило и свежестью каких-то еще совсем неизведанных чувств...

Всего четыре месяца назад родился он, Александр Сергеевич, сначала был вял, потом осмелел, стал ее повелителем, ее надеждой на прекрасную жизнь, которая у них троих — у нее с мужем и сыном — впереди.

Директор магазина, где после окончания школы торгового ученичества Лиза работала продавщицей, несколько тучная и властная Калерия Павловна Одинцова, отвела как-то Лизу в свой кабинет, сказала:

— Ну, как же мы с тобой будем теперь, молодая мать? Тебе нужно днем ребенка покормить, по закону дополнительный часок — твой. Молодая мать, знаешь, сколько в государстве сто́ит?

Калерия Павловна сказала это как бы деловым, служебным голосом, но Лизе казалось — та довольна, что будет теперь под ее началом молодая мать, а сколько это сто́ит, никто, кроме самой матери, не знает. Только мать знает, что значит — недоспать, сквозь сон вслушиваться в хныканье рядом, потом — лишь подсунешь руку под теплое тельце сына, как он сразу затрепещет, потянется, и одна только мать есть для него в этом огромном мире, одна только мать, которую он уже знает, улыбается деснами, когда скажешь, как только проснулся: «Здравствуй, Сашурочка... здравствуй, мой милый», знает и звук ее голоса, и тепло ее груди, которой владеет так, что упрекнешь иногда:

— Ах ты собственник, собственник!

Но он и есть собственник, Александр Сергеевич, уже походит на нее, и Сергей несколько обиженно сказал:

— Ладно, оформим в свое время и девчонку, уж дочка-то должна походить на отца!

А пока он сосет, Александр Сергеевич, сердится, если что-нибудь не так, и вот уже слабеет, уже обмякает в ее руках, уже засыпает тем сном, который никогда в жизни не повторится для человека, а потом станут ему сниться другие сны и другая женская рука будет рядом. Но мать никогда не устанет вспоминать этот сон, хотя

сын или дочь давно стали взрослыми, а то и у них самих уже дети. . .

— Ах ты собственник, собственник! — сказала Лиза, осторожно положила уже спящего обратно в колясочку, и он снова зашевелил губами с засунутой в них пустышкой.

Муж уходил на работу рано, до его завода почти час добираться, а ее магазин открывается только в десять, перед уходом нужно еще отцедить в бутылочку, в полдень покормит бабушка, мать Сергея, а в обеденный перерыв прибежит она, Лиза, еще на ходу стянет кверху свитер, высвободит грудь, и он уже снова овладел ею, сын, будущий инженер, как этого хочет Сергей, или, может быть, будущий артист, как этого хочет она.

В магазине «Тысяча мелочей» все, что может потребоваться в хозяйстве, от мясорубки до защипок, от разливательной ложки до утюга, целый мир, тысяча необходимых предметов, но это только говорится — тысяча, на деле — сто тысяч, если не побольше.

А мужчинам и вовсе все нужно, все сто тысяч нужны, бельевые защипки пригодятся для сушки фотографической пленки, пластмассовая коробка — для рыболовных крючков, и всегда пытливый человек найдет, что приспособить для своих поделок.

То нежное, с чего началось ее утро, все еще томило, и Лиза чуть мечтательно улыбнулась самой себе, ей казалось, что каждый должен почувствовать, о чем она может думать, мать.

К ее прилавку подошел скромный, аккуратный старичок, стал в раздумье перебирать предмет за предметом, оглядывая каждый со всех сторон, и Лиза, выждав, спросила:

— Вы что ищете?

— Хочу один старинный органчик восстановить для внучка,— повинился старичок, так мило, по-дедовски повинился.— Деталей к нему не найдешь, так что приходится мудрствовать.

— Вы изобретатель? — поинтересовалась Лиза.

— Нет, только механик.

Он повернулся в ее сторону, и Лиза увидела, что это еще совсем не старый человек, а руки у него, наверно, мастероватые.

— Я и в инструментальном, и в музыкальном магазине искал... дай, думаю, пошурую в хозяйственном.

Он подержал в руках сбивалку с округлой спиралькой на конце и вишнечистку, соображая, как приспособить их, расположил к себе своей озабоченностью, и Лиза спросила:

— Сколько же лет вашему внучку?

— Двенадцать на днях состоится.

— А у меня сынок,— неожиданно сказала она,— четыре месяца всего.

— Сынок — это хорошо.

Лиза почему-то поблагодарила: «Спасибо»,— и оба остались довольны друг другом.

Потом к ее прилавку подошла молодая, с недовольным лицом женщина, начала что-то выискивать, и Лиза погодя спросила и у нее:

— Вам что требуется?

— Что требуется, то и ищу.

И хотя ей ответили грубо и неуважительно, Лизе стало не столько обидно, сколько грустно, и она без всякого осуждения подумала, что женщине, наверно, кто-нибудь с утра испортил настроение или такой уж характер, однако, может быть, из-за неустроенности ее жизни... и так странно все-таки, что и не представишь себе ныне, как можно было существовать без этого хныканья рядом, без этого нетерпения рядом, а потом он начинает действовать, сын, и сначала недовольные звуки требования, а потом и утоления. И она подумала еще и о том, что с Сергеем Кузнецовым, своим будущим мужем, познакомилась именно в этом магазине «Тысяча мелочей», пришел искать какую-то вещицу, и среди тысячи мелочей нашел ее, Лизу.

— Вот какую мелочишку нашел в вашем магазине,— сказал он впоследствии, когда они стали уже мужем и женой,— такую мелочишку, что со всеми моими потрохами скрутила меня.

— Тебя скрутишь,— в свою очередь сказала она,— такого собственника скрутишь.

А теперь она говорила это их сыну.

Позднее к ее прилавку подошла вежливая седеющая женщина, стала откладывать всяческие принадлежности, спросила Лизу доверительно:

— Что бы еще такого взять? Дочь замуж выходит, теперь у нее свое хозяйство будет.

Лиза посоветовала взять набор кухонных ножей, универсальную открывалку для консервов, пилу для хлеба, вспомнила при этом, как у них с Сергеем были в первое время лишь две глубоких тарелки, однако и не замечали ничего...

Но мать Сергея, вдова сыровара, Варвара Прокофьевна, приехавшая из Углича, вся волжская, так славно окающая, сразу же всего прикупила, и Сергей любовно говорил:

— Наша с тобой мать недохваток в доме не любит,— будто Варвара Прокофьевна была матерью и Лизы, но так, по существу, оно и стало.

И Варвара Прокофьевна оставалась теперь с внуком, такая нужная рука, такая нужная душа, а Александр Сергеевич уже тянулся к ней, у нее была бутылочка с соской, и Лиза, уходя, говорила ему:

— Я от тебя и не удаляюсь... я тебе свое оставляю.

Женщина оплатила отобранное для хозяйства дочери, сложила в сумку, Лиза сквозь большое окно поглядела вслед, ей хотелось пожелать женщине удачи с ее материнской заботой, и вообще хорошо было бы, если побольше удач доставалось бы каждому...

К обеденному перерыву в торговый зал вышла Калерия Павловна, сказала Лизе:

— Беги... я десять минуток подменю тебя, при твоих обстоятельствах у тебя каждая минута на счету.

Она сказала это, почти не глядя на нее, но Лиза услышала в ее голосе то, что только она одна могла услышать.

Десять минут, подаренные Калерией Павловной, пригодились, полчаса спустя Лиза была уже дома, и Варвара Прокофьевна сразу же выговорила ей:

— Избаловала на свою голову... пустышку выплевывает, ему твое хозяйство подавай.

Но она была довольна, видимо, поведением внука: что ему положено, того и требует.

Лиза взяла сына на руки, он жадно припал,— что ж, проголодался, можно понять,— и то смутное, еще не до конца познанное поднялось из глубины, стояло где-то возле сердца, и, наверно, каждый его стук сопутствовал глоточку сына.

— Наш директор Калерия Павловна сказала: «Знаешь, сколько молодая мать в государстве сто́ит?»

— Что ж, и верно, всего сто́ит... кто знает, что из нашего Сашеньки в свое время получится?

— Александр Сергеевич...— сказала Лиза.— Александром Сергеевичем Пушкина звали. Пушкин, может, и не получится, а вдруг также писателем станет? Только Сергей инженера хочет... сам на инженера на вечерних курсах учится и сына в инженеры метит.

— Инженер — это тоже неплохо. У нас бывший ученик моего покойного мужа, Ваня Новоселов, сейчас инженером на сыроваренном заводе работает... а я мальчонком его знала.

И Варвара Прокофьевна представила себе, наверно, что и внук станет со временем работать в их Угличе.

Лиза покормила сына, положила его обратно в колясочку, он лежал сытый, смотрел своими карими глазами, с голубыми, почти синими белками, на мир, на мать и бабушку, а когда Лиза позвала: «Александр Сергеевич!» — улыбнулся ей деснами, и Лиза вытерла на тугой щечке капельку своего молока.

Потом она наспех поела сама, через час была уже среди своей тысячи мелочей, к ее прилавку подошли вскоре два иностранца, долго высматривали что-то, спросили затем по-английски, один — полный, добродушный, в берете — стал покачивать рукой низко над прилавком, и Лиза поняла, что хотят купить матрешек. Но матрешек продавали в магазине «Подарки», она указала сквозь окно на ближнее здание, ее вежливо поблагодарили, и Лиза представила себе, как они привезут своим детям кусочек русской народной жизни и как дети восторженно всколыхнутся, когда из одной матрешки целых шесть, а то и восемь выстроятся рядом...

И день пошел дальше, целый мир с сотнями людей пошел дальше, каждому нужно было свое, и всегда можно вообразить настроение или характер человека, как утром она вообразила неустроенность жизни той женщины, которая обидела ее: может быть, именно из-за своей неустроенности и обидела...

А к семи часам, перед закрытием магазина, когда кассирши уже подсчитывали выручку и у входных две-

рей стояли уборщицы, только выпуская покупателей, к Лизе снова подошла Калерия Павловна.

— Не задерживайся... топай к дому,— сказала она.

Калерия Павловна всегда говорила немного грубовато, сама некогда начинала с уборщицы, но Лиза знала ее суровую доброту, знала и то, что муж Калерии Павловны погиб в войну и с тех пор она замкнулась в себе и не каждый мог найти к ней дорогу.

— Тысяча мелочей,— сказала она в раздумье как-то,— а смотришь, из этих мелочей целая жизнь складывается, для жизни нет мелочей, для нее все большое, если только хорошие руки.

Она, наверно, хотела добавить: «И если хорошее сердце», — но по своей суровости промолчала.

— Топай, Лиза,— повторила она,— топай, молодая мать... У тебя молодая мать и в ногах, сами несут тебя домой, я это понимаю.

— Конечно, — сказала Лиза виновато, — конечно, всегда торопишься.

— Да и недосыпаешь к тому же.

— Случается,— призналась Лиза.

Однако она не могла сказать, что когда сидишь на постели в растрепанном полусне, с закрытыми глазами, а что-то нежное, теплое, доверяющее только тебе одной во всем мире старается у твоей груди,— бодрствуешь с такой зоркостью, какой даже после долгого, утолительного сна не бывает...

ЗАЯЧЬЯ ЛАПКА

Иван Ипполитович вошел в здание театра через боковой, служебный вход, но почти сорок лет этот вход был главным для него, а для зрителей был другой вход, они просто приходили посмотреть спектакль, они не знали жизни театра...

В вестибюле еще висело расписание репетиций и спектаклей, но было уже начало июня, одни театры закрылись на лето, другие заключали театральный сезон.

После июньского предвечернего тепла прохладно

дохнуло запахом кулис, клеевых красок и еще тем таинственным и волнующим, чем всегда пахнет за кулисами.

Незнакомый вахтер посмотрел на вошедшего человека, на его длиннополый чесучовый пиджак и соломенную шляпу-панаму, которую уже редко кто носит, посмотрел и на длинные, свисающие книзу рыжевато-седые усы и, оторвавшись от вечерней газеты, спросил:

— Вам чего?

— Так не спрашивают — вам чего? Нужно спросить — вам кого? Или хотя бы — вам что? — мягко наставил Иван Ипполитович.— А вообще-то мне — ничто и ничего.

Уверенность, с какой человек стал подниматься по лестнице, несколько смутила вахтера.

— Вы кто же будете? — спросил он, еще не успев узнать в лицо всех актеров.

— Царь Эдип,— сказал Иван Ипполитович, но потом сжалился все же: — Я, милый, почти сорок лет в этом театре гримером был. Знаешь, что такое гример?

И он стал подниматься по лестнице дальше, а вахтер и совсем оторопел.

Да, милый, почти сорок лет проработал он, Иван Ипполитович Сычугов, в этом театре, почти сорок лет преображал актеров и актрис, делал их Марией Стюарт или Шуйским, погулял под ручку с Антигоной и царем Берендеем... триумфы доставались косвенно и его рукам, хотя что такое гример или театральный парикмахер, кому ведомы их имена? Но ведь не узнаешь и тех пчел, мед которых вкушаешь... известно тебе лишь, что липовый мед с одним вкусом и запахом, цветочный — с другим, а донниковый и совсем с особым вкусом и запахом.

Иван Ипполитович шел не спеша длинным коридором, вдоль которого размещались артистические уборные, останавливался по временам перед дощечкой с фамилией того, кому принадлежала уборная, а с некоторыми актерами почти все сорок лет была связана и его жизнь.

Спектакль шел в этом сезоне последний, за зиму актеры устали, мысленно были уже там, где наметили провести летний отдых, а часть готовилась к гастролям в каком-нибудь южном городе, где пахнет акациями и где перед репетицией можно выкупаться в море.

Многих из тех, кого помнил он в действии, в расцве-

те успеха, уже давно не было на свете, и только в музее театра увидишь их портреты в скромном домашнем благородстве или в ролях, а грим был его, Ивана Ипполитовича, и, поглядев на царя Федора или Карандышева, скажешь: «Здравствуйте, Василий Васильевич» или: «Привет, Леонид Платонович» — и хоть и не улыбнутся ему, но кивнут все же.

А возле одной из уборных Иван Ипполитович не задумавшись постучал в дверь костяшкой согнутого пальца. Голос Михаила Яблочкова свежо и молодо крикнул: «Войдите!» — и он вошел, а Михаил Яблочков, или попросту — Миша, Мишенька, как позволил называть себя,— посмотрел на него в зеркало.

— Иван Ипполитович... как я рад вам! — и Яблочков поднялся и обнял его за плечи.— Где же вы сейчас, что поделываете?

— В нашем с вами театре, Мишенька, только в нем. А что поделываю? Хочу в письменном виде поделиться своим опытом... объяснить, что лик человека является также зеркалом души, и гример по своему назначению должен на уровне актера вникнуть в образ, чтобы не ошибиться в рисунке.

— Я очень уважаю вас, Иван Ипполитович,— сказал Яблочков, — а некоторые наши старики и совсем загрустили, когда вы ушли на покой,— как же теперь без Ивана Ипполитовича? Впрочем, мало осталось их, наших стариков!

Они помолчали, а на столе рядом с зеркалом лежал парик того, кого играл сегодня Яблочков, и Иван Ипполитович подержал парик в руках.

— Шаляпин какого Филиппа Второго в «Дон Карлосе» изобразил... все в его лице — и жестокость, и скорбь: голову любую можешь приказать отрубить, а с сердцем женщины ничего не сделаешь. Это Шаляпин не только в пении, но и в гриме передал, великий гример был вдобавок к своему таланту.

Яблочков сидел возле стола с париком и гримировальными красками, а Иван Ипполитович стоял над ним и лишь покачал головой, когда Яблочков предложил ему сесть: стоя возвышенней выразишь мысль, да и в театр он лишь забежал только проститься с ним перед летней разлукой.

— Вы с осени почаще заходите, Иван Ипполитович... наши с вами беседы всегда поднимают меня!

И Яблочков преданно поглядел на него через плечо, а Иван Ипполитович продолжил свои размышления:

— Или Любим Торцов, например. Что нужно в его гриме передать — несчастного да униженного? Нет, величие несдавшейся души нужно передать: у него, Любима, крылья Михаила Архангела на лопатках, только обветшали, попорчены молью. И вы, Мишенька, сегодня не просто покорного сына играете, вы еще и ничтожество играете, какую женщину из-за своей трусливой душонки предал, а она по своей душевной силе могла бы женой декабриста быть, на каторгу за любимым человеком пошла бы, в Сибирь за ним навечно пошла бы!

Иван Ипполитович не хотел признавать время и нравы, он признавал лишь человека с его поступками, сцена являлась для него отражением действительной жизни, и жалкий Тихон был ненавистнее ему самодура купца.

— И парик вам не нужен... в своем естественном виде вы ярче ничтожество Тихона представите. Дайте я вам желтизны добавлю... встречаются такие постные смиренники, от одного их вида мутит, и ваш Тихон не жалость к себе, а презрение должен вызвать.

— Попробуем,— согласился Яблочков.

Потом он смотрел в зеркало на свое желтое, жалкое лицо, не загородил плечом Тихон прекрасную из прекраснейших женщин — Катерину, и уже не одно поколение зрителей оплакивает ее судьбу.

— Пожалуй, действительно парик не надену... сошлюсь на головную боль в случае чего.

Иван Ипполитович разделил на прямой пробор черные густые волосы Яблочкова, мазнул фиксатуаром, притер щеткой, и как-то явственней возник облик жалкого, потерянного человека...

— В пятом акте посмотрю вас,— пообещал Иван Ипполитович.— Зрительный зал, наверно, не так-то полон, найду свободное место. А Катерину кто сегодня играет?

— Ельцева.

— Варвара Михайловна. Повидаю ее, у нас с ней всегда хорошие отношения были.

По другому коридору шли уборные актрис, Иван Ипполитович тоже постоял возле некоторых, и славная Че-

репанова в роли Марии Стюарт, и Наденька Приклонская в роли Натальи Петровны из «Месяца в деревне» улыбнулись ему из дальнего далека. А в дверь одной из уборных он постучал, женский голос не откликнулся, однако, «Войдите!», а спросил недовольно:

— Кто там?

— Гример Сычугов,— сказал он.

И Варвара Михайловна Ельцева открыла минуту спустя ему дверь, воскликнула, как и Михаил Яблочков:

— Иван Ипполитович... как я рада вас видеть! Ну, где же вы сейчас?

И он рассказал и ей — еще недавно Варе, Вареньке, но теперь не назовешь ее так,— рассказал, что никуда не ушел из их театра, живет его жизнью, радуется успехам тех, кого знал начинающими, радуется и тому, что стала она, Варя Ельцева, уже известной актрисой, играет роль Катерины, играет и роль Елены Андреевны в «Дяде Ване», он следит за афишей... а старость — что ж, старости отдаешь тело, а душу не отдаешь ей, и она сама сознает, что к душе ей и не подобраться.

— Между прочим, насчет вашей роли сегодня: вы еще и потому кидаетесь в Волгу, что не можете с таким презрением к ничтожному вашему мужу жить... предал он вас, не защитил, только когда из Волги вас вытащили, заголосил, и то по-бабьи.

Иван Ипполитович говорил это не столько актрисе, сколько самому себе, проверял и для себя правду действий на сцене.

— В этой уборной прежде Анна Васильевна Крохотова гримировалась,— сказал он еще.— Ах, хорошая актриса была! Я ее Мирандолину никогда не забываю, и голос был чуть на верхах дребезжащий. Говорят, у Комиссаржевской такой голос был.

И он как-то туманно поглядел в зеркало, словно в его глубине еще была та, которая уже давно ушла; увидев привешенную над зеркалом заячью лапку для растушевки, сказал:

— Цела она, моя лапка... и вы не расставайтесь с ней, Варвара Михайловна! Когда-то я подарил эту лапку Анне Васильевне Крохотовой, она вроде амулета ее берегла, зайца мой сын, Коля, добыл, а в сорок третьем году моего сына на войне убили.

— Я берегу эту лапку... теперь буду еще больше беречь,— сказала Ельцева чуть растроганно.

— Меня жена спросила: «Куда это ты вырядился?» — усмехнулся Иван Ипполитович вдруг.— Я сказал — в Элизиум, но она не поняла.

— Вы почаще заглядывайте, Иван Ипполитович... вас послушаешь — и сыграть лучше хочется.

— В пятом акте посмотрю на вашу Катерину... только вы непременно дайте зрителю понять, что напоследок о Тихоне думаете: помру, второй раз женишься, детей народишь, станешь с женой под ручку по набережной прохаживаться, и наследство тебе от маменьки будет, а деньги в сундуках ищи, маменька банкам не доверяла.— Он разыгрался в своем воображении, Иван Ипполитович, заключил: — В общем, посмотрю вас, по старой памяти — Варенька.

И она улыбнулась:

— Мне приятно, что назвали меня так... значит, не совсем в старухи записалась.

Иван Ипполитович вышел из уборной, опустился по другой лестнице в фойе, зашел в буфет, но на месте старой, знакомой буфетчицы была новая. Он взял бутылку лимонада, сел за столик, сунув в карман пиджака свернутую в трубку панаму, высокий, еще могучий старик с рыжевато-седыми усами, и, наверно, не один из зрителей подумает про него, что это, видимо, старый театрал.

А к пятому акту он вошел в зрительный зал, нашел свободное место, занавес поднялся кверху, и Волга, чуть блистающая в сумерках рябью, открылась своим простором.

Может быть, и Михаилу Яблочкову, и Варваре Михайловне Ельцевой хотелось в этот вечер сыграть лучше, сыграть для него, и они и вправду хорошо играли, а когда Катерина произнесла свое последнее: «Друг мой! Радость моя! Прощай!», Иван Ипполитович отер сгибом большого пальца глаза. Никуда не ушел он от своего театра, да и как уйти от того, в чем заключена частица и твоего сердца, и твоего усердия, а случалось, и твоих слез, как сегодня...

Был уже темно-синий летний вечер, когда кончился спектакль, на углу площади женщина продавала ландыши, и Иван Ипполитович купил букетик, томно пахнув-

ший тайным запахом леса, а жене, поднося букетик, он объяснит: «Купил возле нашего театра»,— и жена поймет, что он побывал в своем театре, поймет и то, что такое Элизиум, и скажет мысленно самой себе:

«Попробуй оторви его от этого!»

А от чего оторвать и кому под силу это — не доскажет.

МОРСКОЙ ВЕТЕР С ДОЖДИКОМ

В Ленинграде дул вдоль Невского тот осиплый ветер с моря, который приносит с собой дрянненький дождик с его привычкой зарядить не на один день позднего октября.

Номер ему, Арсентьеву, оставлен был в «Европейской» гостинице, где он обычно останавливался, некогда только начинавший актер, а ныне уже хорошо известный кинорежиссер.

И вскоре занятый им номер был уже обжит, на стеклянной полочке в ванной по-домашнему расположились бритвенные принадлежности, а на письменном столе лежал его раскрытый портфель с материалами, нужными для работы над постановкой одной инсценированной повести Достоевского. В Ленинграде предстояло побывать в тех местах, где могло происходить действие,— на Малой Охте или на отдаленной линии Васильевского острова...

Он перебирал бумаги, водя между тем по лицу уютливо жужжащей электробритвой, и, полный тех душевных сил, которые сразу возникают с деловым утром, спустился позавтракать. Было приятно сесть за столик в полуосвещенном кафе, заказать кофе и яичницу, а в киоске он сразу же по приезде купил номер ленинградской газеты и был уже в курсе городских новостей.

— Вы не Валентин Алексеевич Арсентьев? — спросил за его спиной чей-то молодой голос.— Я от Климента Кондратьевича Каштанова.

— А... присаживайтесь.

Посланный несколько стеснительно сел напротив него, и Арсентьев сразу залюбовался его свежим, влаж-

ным от дождя лицом и какой-то девической чистоты голубыми глазами.

— Я на вокзале встречал вас, но пропустил.

И столь милое было в этом запыхавшемся и чувствующем себя виноватым, почти еще мальчике.

— Как ваше имя? — спросил Арсентьев.

— Костя... Константин Новосильцев. Я захватил с собой фотографии домов, которые могут пригодиться для съемки. Климент Кондратьевич поручил мне сопровождать вас по Ленинграду.

— Сначала съешьте яичницу и выпейте кофе.

— Ну что вы, Валентин Алексеевич!

— Иначе не поеду с вами.

И Арсентьев, как-то сразу расположившись к этому Косте Новосильцеву, подозвал официантку.

— Вы чем же заняты в киностудии, Костя?

— Пока только выполняю поручения.

— Значит, побродим с вами по туманной осенней Пальмире, побродим по Санкт-Петербургу.

— На Малой Охте есть один дом, мне кажется, он очень подошел бы... я несколько раз перечитал повесть Достоевского. А в четыре часа Климент Кондратьевич будет ждать вас в киностудии.

Климент Кондратьевич Каштанов, директор киностудии, был старым знакомым, некогда вместе с ним, Арсентьевым, начинавшим работу в кино.

Косте Новосильцеву принесли завтрак, и он с явным ощущением неловкости принялся за яичницу, а в кафе чуть сонно пахло сдобой.

На стоянке неподалеку от гостиницы Арсентьев взял такси, и осенний Ленинград, некогда город его молодости, поплыл навстречу...

Дом на Малой Охте, выисканный Костей, действительно оказался похожим на тот, какой описал Достоевский в своей повести. Здесь в глубоких, как тоннель, воротах и могло произойти страшное, поразившее сердце молодой женщины признание... А в сумрачном, сходном с колодцем дворе, несмотря на утро, светилось желтым болезненным светом несколько окон.

— Дом этот построен был в начале девятнадцатого века... я узнавал. Пойдемте посмотрим одну церковку за углом,— предложил Костя.

Вторые, такие же глубокие ворота проходного двора выводили на какую-то совсем голую улицу с полуподвальным продуктовым магазинчиком, в витрине которого выставлены были только консервные коробки и бутылки с уксусом, и магазинчик со ступеньками вниз мог вполне подойти для упоминаемого в повести ренскового погреба.

Церковка оказалась действующей, поздняя обедня уже закончилась, несколько старых женщин еще жалось в полутьме, а золотые копья свечей были неподвижны. Может быть, именно здесь, надевая обручальные кольца, священник напутствовал венчавшихся словами о нерушимости брака, а в темном проеме похожих на тоннель ворот та, которая стояла здесь под прозрачной фатой, полгода спустя услышала безжалостные слова расставания. . .

— И церковка подходящая,— одобрил Арсентьев.— А теперь поедем обратно на Невский. . . заглянем в какой-нибудь букинистический магазин, в Ленинграде я всегда начинаю с этого. Вы любите книги, Костя?

— Очень.

— Подарю вам тогда на память о нашей встрече одну хорошую книгу — «Старый Петербург». . . захватил с собой на всякий случай.

— Большое спасибо, Валентин Алексеевич. . . не сто́ит только.

— Почему же не сто́ит? И вам, и мне это будет приятно.

Арсентьев остановил проезжавшее такси, они побывали в нескольких книжных магазинах на Невском, и чем-то еще милее стал ему этот мальчик с его любовью к книгам.

— А сейчас мы с вами, Костя, пойдем пообедать,— сказал Арсентьев, взглянув на свои ручные часы.

— Ну что вы. . .— поспешно отказался тот.— Вы пообедайте, а я через часок зайду за вами.

— Почему же все-таки нам не пообедать вместе? . . По-моему, мы пришлись друг другу по душе.

И то деловое, для чего он приехал в Ленинград, как-то отошло в сторону, но он еще не мог осознать, почему настроил его этот мальчик на давно позабытое. . . может быть, напомнил, что и он сам был таким же когда-то.

Они сели в ресторане за столик, на котором вечер-

ним светом горела лампа под цветным абажуром, а за большим окном уже начинало синеть.

— Где вы родились, Костя? — спросил Арсентьев.

— В Ленинграде.

— А лет вам сколько?

— Двадцать четыре года.

И, как бы винясь в своей молодости, Костя смотрел на режиссера, уже несколько стареющего, но еще красивого, с серебряными кольцами волос, тонкой полоской усов и усталым взглядом чуть прищуренных глаз, говорившим о том, что уже много испытал этот слегка небрежный в движениях человек, в мохнатом элегантном пиджаке и белом свитере под ним.

— Двадцать четыре года уже! — вздохнул Арсентьев, а Костя с виноватой улыбкой смотрел на него. — Кто ваши родители?

— Папа работает инженером на судостроительном заводе, а мама была актрисой, только выступала под своей девичьей фамилией — Обручева. Мама три года назад умерла... простудилась на репетиции, у нее были слабые легкие.

— Обручева? — переспросил Арсентьев, задумавшись.— Как звали вашу маму?

— Анна Николаевна.

— Боже мой... Анна Николаевна умерла? Я знал вашу маму.

И сердце, которого он уже давно стал побаиваться, вдруг стиснула тугая боль.

Неужели по непостижимому ходу жизни, по непостижимым ее сплетениям этот Костя Новосильцев — сын Ани Обручевой, той, давно ушедшей из его жизни, той, которая любила его когда-то, да и он любил ее... это была молодость, начало его жизни, тогда молодого актера, еще не помышлявшего об известности.

— Я знал вашу маму,— повторил он.— Мы вместе учились в театральном училище.

И он вспомнил ночной перрон Октябрьского вокзала, как по нему торопилась Аня, с которой простился он дома, торопилась, чтобы сказать:

— Не могла не проводить тебя,— и он успел лишь поцеловать ее в щеку, мокрую от дождя или слез, а поезд уже трогался...

В Москве он увлекся возможностью поступить в один хороший театр, потом были гастроли в Одессе, в своих наспех написанных письмах он обещал вернуться вскоре, но не вернулся... и глуше и глуше стала постепенно в общем заброшенная им любовь.

Это было такое горькое, щемящее воспоминание, и подобно тому, как умеет создать искусный кинооператор, наплыло, что он мог бы принадлежать ему, этот мальчик, быть его сыном, его опорой.

— Только не делайте ошибок, Костя, не теряйте, если что-нибудь хорошее пришло к вам, держите это крепко в руках,— сказал Арсентьев больше самому себе.— Как дорого я дал бы, чтобы вернуть потерянное именно здесь, в Ленинграде!

— Мама, наверно, стала бы известной актрисой,— сказал Костя вдруг, словно услышав то, чего он, Арсентьев, не сказал, да и не мог сказать.— Мы живем сейчас с папой вдвоем, папа хороший инженер, атомный ледокол «Сибирь» строил он. Вы сколько пробудете в Ленинграде, Валентин Алексеевич?

— Денька три-четыре.

— Я покажу вам еще один дом на Аптекарском острове... и вообще, если будет что-нибудь нужно, я с радостью.

— Спасибо, Костя... это все-таки некоторая милость судьбы, что мы с вами встретились. Мне часто снятся сны, что я встречаюсь с каким-то милым, таким нужным мне человеком, и, пожалуй, именно двадцати четырех лет... мне было столько же, когда я учился в Ленинграде.

Костя не совсем понял, смешался:

— Я тоже очень рад, Валентин Алексеевич.

— Сегодня с четырех часов буду в киностудии, а завтра приходите с утра. Побродим с вами по Ленинграду.

— Я ровно в десять часов буду ждать вас в вестибюле гостиницы.

А прощаясь на площадке лестницы, Арсентьев положил ему на плечи обе руки и, чуть щурясь, словно вглядываясь в далекую даль, сказал:

— Завидую вашему отцу, Костя.

Час спустя он вышел из гостиницы и, хотя до киностудии было далеко, пошел пешком, наклоняясь под ветром, в берете, с художнически перекинутым шерстяным

шарфом через плечо, кинорежиссер Валентин Алексеевич Арсентьев, приехавший искать нужные для фильма объекты, шел в глубоких мыслях о неожиданно найденном им, а по существу потерянном, так грустно, так навсегда потерянном...

На Дворцовой площади ветер кинул ему в лицо охапку дождя, морской ветер с Балтики, от которого Нева по временам как бы недоуменно останавливается — стремиться ли ей дальше вперед или повернуть вспять?

СЕН-ГОТАРД

В Ялте, где Людмила Сергеевна год назад отдыхала в санатории, она познакомилась с достойным, воспитанным человеком Юрием Николаевичем Костеневым. Он жил в другом санатории, и знакомство их произошло примерно так же, как в одном из чеховских рассказов. Просто Людмилу Сергеевну, когда она возвращалась с пляжа, застигла гроза, и высокий, представительный человек, проходивший мимо навеса, под которым она пыталась укрыться, любезно предложил свой большой мужской зонт и довел под ним до санатория. Прощаясь, он представился, а несколько дней спустя они так же случайно встретились на набережной уже как знакомые. Людмила Сергеевна узнала, что Костенев работает в Женеве, приехал в отпуск и в конце месяца снова уедет к месту своей работы.

Однако на этот раз они расстались не сразу, а походили по набережной, посидели потом на скамейке под акацией, и Костенев, словно угадав ее мысли, сказал:

— Жалко, у вас нет собачки... а без собачки вы уже через неделю забудете о нашем знакомстве.

Но он остался и без собачки в ее памяти. Они стали почти ежедневно встречаться, расположились друг к другу, а в день ее отъезда Костенев поехал в Симферополь проводить.

— Можно написать вам когда-нибудь? — спросил он на вокзале.

— Отчего же... буду очень рада.

Она дала ему своей московский адрес, а в вагоне с уважением думала о сдержанности этого человека; впрочем, это могло быть следствием его дипломатической работы.

Она уехала, у Костенева оставалась еще неделя отпуска, но в Москве быстро, как обычно, замело это курортное знакомство.

Людмила Сергеевна жила вдвоем с матерью, заслуженной учительницей Марией Андриановной Головачевой; три года назад мать вышла на пенсию, и теперь все ее заботы и помыслы обращены были к дочери, неустроенная судьба которой волновала ее. Однако втайне от самой себя думала она и о том, что случись дочери встретить кого-нибудь, тогда она, мать, останется одна со своим уже не так-то хорошо работающим сердцем. Думала, конечно, об этом и дочь, однако давно решив для себя, что с матерью ни при каких обстоятельствах она не расстанется.

Людмиле Сергеевне было уже двадцать девять лет, по окончании Полиграфического института она не первый год работала художественным редактором в одном из издательств, прежде вместе с матерью шла их общая трудовая жизнь, теперь же, когда мать оставалась одна целый день и ждала ее возвращения, Людмила Сергеевна старалась не задерживаться.

Месяц, проведенный в санатории, давно остался позади, но однажды она получила письмо из Женевы.

«Я часто вспоминаю нашу ялтинскую встречу, уважаемая Людмила Сергеевна,— писал Костенев,— и как жаль, что мы так далеко друг от друга. Но я пользуюсь разрешением писать вам и напомнить о человеке, у которого осталось самое теплое воспоминание о Ялте». А в постскриптуме было: «Хожу иногда на берег озера, смотрю на лебедей, а в горах уже давно лежит снег».

Людмила Сергеевна прочла письмо матери, и мать задумчиво сказала:

— Да... красиво, наверно, в Швейцарии. В прошлом году у тебя была возможность поехать с туристской группой в Чехословакию. Почему ты не поехала?

— Не получилось как-то.

Мария Андриановна знала, однако, что дочь не захотела оставить ее одну, а затем отказалась и от другой поездки.

Она не стала расспрашивать о Костеневе, но Людмила Сергеевна сказала сама:

— В сущности, только курортная встреча... но у меня тоже осталось хорошее воспоминание о ней.

Письмо с постскриптумом о лебедях все же несколько взволновало ее, хотя она и не призналась себе в этом.

А полтора месяца спустя на ее столе в комнате художественной редакции издательства зазвонил телефон и вежливый голос спросил:

— Можно Людмилу Сергеевну?

— Это я, – ответила она.

— Говорит Костенев. Извините, что звоню на работу, но не знаю номера вашего домашнего телефона. В Москве я всего на несколько дней и очень хотел бы повидать вас, если это возможно.

Она на минуту задумалась, потом сказала:

— Приходите завтра вечером к нам, адрес у вас есть. Познакомитесь с моей матерью.

И хотя она уверила себя, что уже давно ушли Ялта и все связанное с ней, было это, однако, не совсем так.

— Завтра к нам придет Юрий Николаевич Костенев,— сказала она матери, вернувшись с работы.— Приехал из Женевы. Я по дороге куплю что-нибудь к чаю.

Несколько лет назад Костенев потерял жену. Он тогда и сказал себе именно это слово — потерял, как говорят о пропаже. Просто, вернувшись в Москву, он нашел на своем столе письмо.

«Юра,— было написано торопливым, неровным почерком жены,— прости меня и не осуждай, если можешь. Есть вещи, которые не объяснишь, но ты с твоей чуткостью поймешь».

А далее жена, Вера Евгеньевна, служившая в балетной труппе Большого театра, тем же торопливым почерком писала:

«Завтра мы с Вячеславом Алексеевичем улетаем в Новосибирск, где он будет работать режиссером, а я, вероятно, поступлю в Театр оперы и балета. Я не хотела писать тебе об этом в Женеву, чтобы ты на чужбине не принял слишком близко к сердцу, а на родине все яснее и, может быть, справедливее поймешь. Мы с тобой почти пять лет были вместе, но жили в разлуке, бросить театр и уехать с тобой я не могла, а бросить службу,

чтобы жить в Москве, не мог ты,— значит, у нас разные дороги».

И получилось так, словно на узловой станции пошли по разным путям поезда. Впрочем, жена добавила, что верит в его чуткость и благородство, однако не написала даже, кто это Вячеслав Алексеевич, и он лишь позднее узнал, что Вячеслав Алексеевич Баранцев поставил несколько опер в театре...

Вернувшись в Женеву после встречи с Людмилой Сергеевной в Ялте, он и вправду посиживал не раз на берегу озера с плавающими в нем белыми и черными лебедями, и глухо, но все же слышимо для сердца представлял себе, как хорошо было бы, если бы эта тихая, милая женщина с ее разных оттенков светлыми волосами, собранными чуть по-старинному в пучок, оказалась рядом.

Он написал ей письмо, получил ответ, тронувший расположением, и теперь еще больше походила на чеховскую героиню эта женщина... ему даже пришла мысль — привезти ей какого-нибудь карликового пуделька, и он представлял себе, но уже совсем туманно, как они сидят на ялтинской набережной, а на поводке возле ног швейцарский пуделек...

Собачку он, однако, не купил, написал лишь, что в скором времени, возможно, приедет в командировку, и сразу же по приезде позвонил по телефону в издательство.

А на другой день, придя к ним, он порассказал за чаем Людмиле Сергеевне и ее матери о Швейцарии, порассказал и о Кении, где ему тоже привелось поработать.

— А почему бы вам не побывать где-нибудь? — спросил он Людмилу Сергеевну.

— Работы много,— ответила она уклончиво.— Взгляните, кстати, как приятно издало наше издательство одну книгу... я была ее художественным редактором.

Он полистал и вправду хорошо изданную книгу.

— Надпишите ее.

— Я ведь не автор.

— Все равно надпишите.

И она надписала:

«На память об одной грозе над Ялтой».

— А это вам на память: образец колокольчика, какой носит вожак стада в Альпах.

Он достал из кармана несколько сжатый с боков колокольчик, встряхнул его, и такой глухой звук, сопровождающий мирно пасущееся стадо, слышен, наверно, на горных люцерновых лугах.

После чая Костенев посидел еще немного, и, когда ушел, мать сказала:

— Какой приятный человек!

А на другой день, выходя после работы из подъезда издательства, Людмила Сергеевна увидела его, дожидавшегося на другой стороне переулка.

— Хотел взглянуть на вас перед отъездом еще раз... да и сказать все я вчера не успел. Посидим где-нибудь полчасика.

И они зашли в маленькое кафе за углом и сели почти в пустом зале за столик.

— Вам это покажется странным, наверно, но у меня такое чувство, что уже давно знаю вас, и сейчас вы, пожалуй, единственный человек, которому я могу несколько открыться: вот уже почти пять лет как я — один в такой степени, что иногда даже страшишься одиночества. В Москве в свободный час брожу просто по улицам, а в Женеве нередко ухожу на берег озера. И знаете, о чем думаю тогда: что был бы так счастлив, если бы вы оказались вдруг рядом.

Она на миг взглянула на него и опустила глаза.

— Подумайте, как хорошо было бы вместе подняться в горы, посмотреть Сен-Готард с сияющими ледниками на темно-синем небе. Или просто посидеть на берегу озера, как сидели в Ялте на набережной. Право, Людмила Сергеевна, хочется все-таки немного счастья, и так славно, так по-чеховски началось наше знакомство.

Она молчала, разминая ложечкой мороженое в запотевшей металлической мисочке.

— У меня больная, старая мать... самое дорогое для меня существо.

— Ваша мать могла бы приезжать к вам,— он не добавил: «В Женеву».

— Вы, видимо, действительно хороший человек, Юрий Николаевич... но все в жизни сложнее, гораздо сложнее,— сказала она.— Когда вы уезжаете?

— Завтра... с Шереметьевского аэропорта.
— Я напишу вам.
— Буду ждать вашего письма.
Он проводил ее до метро, поцеловал руку, и Людмила Сергеевна спустилась на станцию «Пушкинская».
— Задержалась,— сказала она матери.— Наверно, уже беспокоилась?
— Что-нибудь срочное?
— Нет, просто посидели в кафе с Костеневым. Завтра он улетает.
Мать ничего не спросила, и Людмила Сергеевна прошла в свою комнату и переоделась.
— Наверно, зима скоро станет,— сказала она, вернувшись. — Холодно. И кафе-мороженое совсем пустое.
— Неужели ты ела мороженое? Всегда ведь после него простужаешься.
— Нет, только поразмяла в мисочке.
И они пили вскоре вечерний чай и смотрели телевизор.
— В Лепонтинских Альпах, наверно, уже стужа,— сказала Людмила Сергеевна вдруг.
— Почему ты вспомнила об Альпах?
— Просто говорили вчера о Швейцарии.
— Куда же он уезжает? — спросила мать.— Обратно в Женеву?
— Да, обратно в Женеву. Рассказывал, между прочим, как красиво в Альпах зимой... сияющие ледники на темно-синем небе.
— Наверно, красиво,— вздохнула мать.— Не засиживайся, Людочка, ложись пораньше.
— Спокойной ночи.
Людмила Сергеевна прошла в свою комнату, походила по ней, сцепив руки, сказала самой себе, но так тихо, чтобы никто, кроме нее, не услышал:
— О чем же написать вам, Юрий Николаевич? О том, что возможное счастье проходит нередко мимо, только заденет слегка, только пошевелит занавеску на окне, как ветер,— написать вам об этом?
Она взяла с этажерки колокольчик, встряхнула его, и матовый, глухой звук словно лишь вздрогнул в тишине ее комнаты.

ДОМ О ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

Дашу выписала из деревни Феодосия Семеновна, властная и похожая на мужчину своим телесным сложением и низким голосом, да и усы росли у тети Фени почти мужские.

— Мне твою мать жаль,— сказала она, когда Даша появилась перед ней — робкая и маленькая, на вид пятнадцатилетняя, хотя ей было уже девятнадцать лет.— Мне твою мать жаль,— повторила Феодосия Семеновна своим мужским голосом.— Одна с тремя детьми осталась, а отец, прости господи, был ли он у вас когда-нибудь, отец, и хоть племянником приходится мне, я даже и имени его не хочу вспоминать. А твою мать мне жаль, сделай из этого выводы. Устрою тебя в наш салон срочной утюжки, мелкого ремонта и художественной штопки, так что и не заметишь, где заштопано, с этим тебе цены не будет. Жить пока станешь у меня по временной прописке, а там посмотрим.

Но что́ Феодосия Семеновна, несколько загадочно сказав так, имела в виду, Даша не поняла, сидела робкая перед ее властностью, перед ее неоговорочным голосом.

— Я что же,— сказала она только,— я буду стараться, Феодосия Семеновна. Маме трудно, у нее нас трое, а Саня и Груня еще в школе учатся, помощи от них нет. А маме трудно уже с ее слабыми глазами, она прежде счетоводом в нашем колхозе работала, теперь и сильные очки не помогают, а там цифры все-таки.

Даша говорила вразумительно, в ее голубых глазах были слезы, и Феодосия Семеновна чуть смягчилась.

— Ладно, начнешь хорошо зарабатывать, станешь помогать матери, а художественной штопке буду учить тебя.

Салон срочной утюжки и мелкого ремонта помещался на тихой, хотя и в самом центре, улице, в большой мастерской работало свыше десяти женщин, был и портной, Устин Петрович Шустров, если приносили что-нибудь в перелицовку, высокий и такой угрюмый, что заказчики только робко поглядывали на него, когда он мерил на них длину брюк или обмерял пояс своими

твердыми желтыми пальцами. Зубы у него тоже были длинные и желтые, но Устин Петрович почти никогда не улыбался, и только когда ел что-нибудь, можно было углядеть его зубы.

«Я, мама, устроилась в жизни, — написала Даша матери три месяца спустя, когда научилась уже заштопывать совсем мелкие дырочки, от моли или от того, что задели о гвоздик,— так что перевела вам в этом месяце двадцать восемь рублей, а потом буду, наверно, больше посылать. У нас в салоне женщины все спокойные, ко мне хорошие, так что, наверно, по этой стежке и пойду».

Мать ответила письмом с благодарностью Феодосии Семеновне, что та поняла их трудное положение, а от мужа уже третий год ни словечка, канул в неизвестность, да и ждать от него ничего не приходится, если даже и появится, не любит он ее, а девочки для него, еще когда дома жил, были как чужие, сейчас подросли и сознают, что жить им без отца, совсем уже позабыли его и не вспоминают даже.

— Я твоего отца осуждаю,— сказала Феодосия Семеновна Даше, прочитав письмо,— теперь ты в семье старшая и должна сделать из этого выводы.

— Я стараюсь, Феодосия Семеновна,— ответила Даша кротко,— я послала маме, сколько смогла, за вычетом моего питания у вас, да и жилье предоставили мне, с этим в Москве такая трудность, я знаю.

Феодосия Семеновна хоть, наверно, и вправду жалела мать и племянника своего строго за глаза корила, однако не возьмешь на себя содержать лишнего человека, сразу обусловила, что Даша из своего заработка будет платить ей тридцать рублей в месяц за жилье и питание, а с остальным может распорядиться по-своему. Но было не совсем все так в ее мыслях, когда она решила выписать из деревни старшую дочь племянника, было с этим связано и кое-что другое, однако Феодосия Семеновна пока ничего не говорила.

А связано с этим было то, что по ее знакомству с другими мастерскими, где она прежде работала, знакомые мастерицы указывали нуждавшимся в ремонте своей одежды на хорошего портного Устина Петровича и он знал, что кругу заказчиков обязан отчасти Феодосии Семеновне.

Однажды он предложил ей посетить вместе выставку в Сокольниках, где среди других машин выставлены были и машины для вязания и штопки, и они побывали на выставке, погуляли по аллеям сокольнического парка, пообедали затем в ресторане «Фиалка», выпили по стопочке белого сухого вина, и Феодосия Семеновна сказала напрямик, о чем думала и что давно хотела предложить Устину Петровичу.

— Вы, Устин Петрович, уже в летах,— сказала она возможно деликатно,— и так жаль, что приходится вам самому себя обслуживать. Почему бы вам не жениться?

— На ком? — спросил он иронически.— Сейчас я сам себе хозяин, а жена — только оглядывайся, жене и то, и это нужно. . .

— Можно скромную найти,— сказала Феодосия Семеновна, подумав о судьбе жены племянника с ее семьей. — Есть одна хорошая девушка, еще молодая совсем... я в устройстве ее судьбы заинтересована, да и ваша жизнь по взаимной нашей симпатии не безразлична мне.

И она рассказала далее, не жалея племянника, как плохо поступил тот со своей женой, а старшей дочери уже девятнадцать лет и она тихая и старательная, Даша, другой такой и не найдешь.

Устин Петрович подумал, сказал: «Что ж»,— и Феодосия Семеновна уверила сама себя в свое время, что будет для совести хорошо, если выпишет Дашу в Москву, облегчит судьбу Поли, да и Устину Петровичу поможет в устройстве его жизни, а по своей работе он всего стоит.

Сначала Устин Петрович лишь присматривался к Даше, когда та поступила работать, и, наверно, внутренне одобрил ее тихость, как-то к окончанию рабочего дня подгадал, чтобы выйти в одно время, и нагнал ее в переулке.

— Не торопитесь? — и она робко и удивленно посмотрела на него.

Он был выше ее почти на две головы, смотрел откуда-то сверху, его длинное, обычно хмурое лицо выражало расположенность, улыбался он как-то по-кошачьи, не привыкший улыбаться людям, и показался ей совсем страшным.

— Вот вы — одна, и я — один, а это плохо, когда человек один... а мне Феодосия Семеновна говорила

про вас, так что я ваше положение знаю. Давайте после работы буду провожать вас или в метро куда-нибудь в другой район поедем, чтобы без огласки, а то начнут у нас в мастерской трепать невесть что, дай только повод.

Устин Петрович говорил так, будто все уже решил сам, а Даше остается верить его опытности, и она шла молча рядом, по временам лишь робко поглядывала на него, но видела только синий двойной подбородок и ноздри его большого носа.

— Я, правда, постарше вас, но так и должно быть по правилу. Конечно, ничего не предлагаю вам с ходу, нужно осмотреться. Но мы с Феодосией Семеновной уже говорили насчет вас, она хорошего мнения, да и стараетесь, я наблюдаю, еще годик — и художественной штопкой вполне овладеете. А это номенклатура, и зарабатывать хорошо будете, заказчик всегда благодарен, если для него постараться.

Устин Петрович смотрел на нее сверху, шагал так, что на один его шаг приходились три шажка Даши, и она чувствовала себя рядом с ним совсем маленькой, да и озябла сразу, хотя было и не холодно.

— Я уважаю вас, Устин Петрович,— сказала Даша, но он повел плечом, как-то загадочно отозвался:

— Из одного уважения шубы не сошьешь.

Она потерялась, и то, о чем думала Феодосия Семеновна, написав матери — пусть Даша приедет к ней, она займется ее устройством,— казалось теперь совсем страшным, если это связано было с Устином Петровичем.

— Из одного уважения шубы не сошьешь,— повторил он,— человеку чувство нужно, а я человек все-таки.

Они дошли до остановки троллейбуса, но Даша пропустила нужный номер, потому что Устин Петрович, отведя ее чуть в сторону от остановки, наклонился почти вполовину, поглядел ей в глаза и сказал:

— К городской жизни привыкнете — о деревне и совсем забудете. . . так что все в ваших руках.

И хотя Устин Петрович не предлагал ничего, кроме того, что проводит другой раз после работы или поедут в метро куда-нибудь подальше от сплетен, Даша сумела повторить только: «Я очень уважаю вас, Устин Петро-

вич», и он со снисхождением посмотрел ей вслед, как она вошла в подошедший вагон троллейбуса.

А несколько дней спустя, когда сели вечером пить чай, Феодосия Семеновна сказала:

— Мне Устин Петрович жаловался — из тебя слова не выжмешь, что же ты с ним так?

И Даша посмела ответить:

— Не нравится он мне, Феодосия Семеновна...

А о том, что страшно с ним, не добавила, а ей было страшно, когда он шел рядом, наклонялся по временам, чтобы заглянуть в ее лицо, и говорил загадочно, хотя она и понимала, о чем он думает.

— Что значит — не нравится? — сказала Феодосия Семеновна.— А кто тебе нравится, тому, может, ты не понравишься, так все в орел и решку играть? А твоя мать, между прочим, на тебя надеется, ей твоя помощь нужна, станешь устроена в жизни — знаешь, какое это для нее утешение будет? А там, смотришь, сестры твои приедут, выпишешь к себе в Москву, Устин Петрович с устройством поможет им, он закройщиком в ателье высшего класса был, у него связи, да и у меня связи. Сейчас забота о семье на тебе лежит, ты — старшая, а мать, сама говоришь, плохо видеть стала, уйдет на колхозную пенсию — тогда как? Я советую тебе подумать.

Феодосия Семеновна говорила все это своим мужским, властным голосом, наверно, не могла и представить себе, что Даша не согласится с ней или станет даже упорствовать, а потом уже напрямик сказала:

— Я тебя для устройства твоей жизни выписала... а то что же — так и будешь на моей площади жить? Временно, конечно, не возражаю, а в Москве без устройства тебя на постоянно не пропишут. У Устина Петровича хорошая комната на Петровке, в самом центре, и ЦУМ рядом, в нем что хочешь достанешь, и сама оденешься, и сестрам будешь посылать, да и мне платить за жилье и питание не придется, весь твой заработок у тебя в руках, а Устин Петрович, наверно, до трехсот рублей выгоняет, у него побочные заработки есть. Выходи за него замуж — и все тут. Чего тебе еще раздумывать, раз такой счастливый случай подвернулся? А насчет тебя я беспокоиться стану, мне самой охота

беспокоиться о ком-нибудь, так уж в моей жизни получилось, что одна-одинешенька осталась.

Феодосия Семеновна как бы давала понять, что и ее сердцу нужна привязанность и Даша может положиться на нее. А о том, что уже написала матери в письме — есть один хороший человек, хотя и постарше, но Даше по молодости и нужен человек постарше, и описала Устина Петровича так, что мать, наверно, только порадуется счастью дочери,— об этом умолчала.

— Я, конечно, благодарна вам за ваши заботы, Феодосия Семеновна,— сказала Даша.— Но только не могу я так — без любви.

— Чего, чего? — спросила Феодосия Семеновна безжалостно. — По любви, милая, может, одна из ста замуж выходит... главное — устройство жизни, а там стерпится — слюбится. Я тебя не тороплю с этим, конечно, но только уверена, что осмотришься, а Устин Петрович готов подождать, в этом я тебе гарантию могу дать. А что не очень-то красив, зато — верен, а красивый — хват, только поглядывай за ним да изводи свое сердце.

Феодосия Семеновна пила чай, и Даша тоже пила, в блюдечке было клубничное варенье, а из часов с кукушкой выскакивала по временам птичка, куковала деревенским голоском, как некогда в лесу, но эта куковала точно по времени, а в лесу — спросишь: сколько осталось жить? — накукует на долгую жизнь, и тогда сердце зайдется от счастья, сколько еще хорошего для тебя впереди.

— Ты чего? — спросила Феодосия Семеновна вдруг.— Ты чего плачешь?

— Страшно мне, Феодосия Семеновна, так страшно,— сказала Даша, и ее слезы капали в блюдечко с вареньем.— Я совсем о другом в своей жизни думала.

— О чем же ты думала? — поинтересовалась Феодосия Семеновна, но тоже как-то безжалостно.

Даша не ответила, она не могла сказать, что думала — полюбит кто-нибудь ее, найдется такой человек, придет в их дом, скажет матери, что полюбил ее дочь, и мать заплачет сначала, а потом обнимет ее, дочку, своими материнскими руками, прижмет к себе, и уже совсем не страшно станет, что слепнут понемногу глаза, не может больше заниматься счетоводством в правлении колхоза, будет теперь при ней, замужней дочери,

а там, может, внукам отдаст свое верное сердце. А она, Даша, поступит в агрономический техникум, как и собиралась, останется работать в их Степановке и сестрам поможет в учении после школы, Саня лес любит — поступит в лесотехнический, а Груня, может быть, в педагогический, станет учительницей, в их Степановке хорошая школа... и вот вся их жизнь вместе — и матери, и сестер, и ее самой.

— Ты о чем думаешь? — спросила Феодосия Семеновна пытливо. — Я советую тебе — выкинь всякую дурь из головы... тебе счастье само в руки дается, а ты слезы капаешь, что ты капаешь? Мы с тобой так подгадаем, чтобы все по-хорошему получилось, торопиться незачем, но к Новому году я пообещала Устину Петровичу, что поздравлю его и тебя поздравлю, Новый год все вместе будем встречать, шампанское за ваше счастье выпьем и елочку соорудим, у меня хорошие елочные украшения хранятся.

И Феодосия Семеновна прямым, строгим пальцем погладила ее по мокрой щеке, а потом и поцеловала, чуть уколов щетинкой своих усов.

Торопить ее она, однако, не стала, время само все повернет, и несколько дней спустя Устин Петрович снова подгадал так, что они вышли в одно время из мастерской, нагнал ее в переулке, сказал:

— Я рад, Дашенька... рад, что ты все в соображение приняла, мне Феодосия Семеновна рассказала.

И было совсем страшно, что он называет ее на «ты», словно все решено, уже октябрь, теперь до Нового года недалеко, потом он спросил:

— Ты сколько матери в этом месяце на подмогу послала? Я тебе тридцать рублей дам, пошли ей,— и он хотел было достать деньги, но Даша сказала быстро:

— Не надо!

— Это почему же?

— Не надо, Устин Петрович,— повторила она.— Не надо!

Он пожал плечами, некоторое время шли молча, потом он спросил:

— Как мне понимать это?

— Не надо, Устин Петрович! — снова сказала она, сама почувствовала, что, наверно, ему стало скучно с ней, и они в молчании дошли до остановки троллейбуса.

— Ты не очень-то шути,— сказал он вдруг, словно она уже принадлежала ему.— А то ведь могу и обидеться.

— Дайте мне немножко подумать, Устин Петрович,— совсем жалко попросила она.

— Ладно,— согласился он,— только не очень-то долго, а то, смотри, и я думать начну,— но не пояснил, что это значит.

Он не сел с ней в подошедший троллейбус, остался стоять на остановке, высокий, в черной шляпе и длинном пальто, и Даша со страхом поглядела сквозь окно в его сторону.

В субботу Феодосия Семеновна уехала на два дня к сестре в Дмитров, где та работала в ателье женской верхней одежды, а Даша торопливо, чтобы не удержать себя, вырвала из большого блокнота листок и написала:

«Вы не обижайтесь на меня, милая Феодосия Семеновна, но жизнь мне одна дана, и не хочу я ничего против своей жизни делать, а с Устином Петровичем было бы против моей жизни. Я в свою Степановку обратно уезжаю, там все для меня — мое, там и я — своя. Пожалуйста, что причитается мне за этот месяц — возьмите за мое жилье и питание, и я навсегда благодарна вам, что художественной штопке научили меня. Если я даже и по другой части пойду, может быть, агрономом по своей склонности стану, мне ваше учение всегда пригодится».

Степановка была по Казанской дороге, и Даша села в час дня в поезд на Рязань, а станция, от которой до Степановки всего несколько километров, была уже через четыре часа, и Даша шла сначала полем, а потом леском, хоть уже и совсем оголевшим, но это был ее лес, и сжатое поле, желтеющее стерней, было тоже ее полем, и даже сизая туча над ним была ее тучей. . .

— Я, мама, насовсем приехала,— сказала она, целуя мать.— Я теперь художественной штопкой овладела, смогу в нашем сельском ателье поработать, а потом на агрономические курсы пойду, я так для себя помышляю.

Мать ни о чем не спросила, и ни про Феодосию Семеновну, ни про Устина Петровича, о котором знала лишь из писем тетки, ничего не спросила. . . может быть, сама страшилась, что поломает дочь из-за нее свою жизнь

по неумению противиться тому, с чем несогласна в душе.

— Ну, и хорошо, если так,— сказала она только,— мне твое счастье нужно.

А больше мать ничего не сказала, она понимала все по своему материнскому сердцу, и был их дом о четырех углах, и сестры — Саня и Груня — радовались платьям, которые она давно купила для них и собиралась послать к Новому году. Но теперь и сама приехала к Новому году, привезла подарки, и для матери был хороший шерстяной платок, а если продырявится, есть кому незаметно заштопать художественной штопкой.

— Сегодня в клубе хорошую картину показывают, пойдем посмотреть? — предложили сестры.

И они пошли втроем смотреть картину «Кавказская пленница» и весело вернулись домой, а мать ждала с ужином, успела испечь, как к празднику, пышки с изюмом, и Даше хотелось сказать, что ездила в Москву за своим счастьем и привезла его, чуть было не выронила, но привезла все-таки.

А на рассвете остуженным голосом, словно окунули его в воду, пропел петух, ее, Даши, петух, как ее был сверчок, всю ночь домовито хрустевший за печкой, как были своими и запотевшие от утреннего ноябрьского холодка окна, да и все было своим, а главное — она сама была своей... и теперь только крепко держать это в руке, чтобы никогда не выронить.

СТИХ

„Здравствуйте, Александра Парфеновна, пишет вам старая учительница Елизавета Петровна Аглаева, которую вы, может быть, и забыли уже. Я работала в нашей Матвеевке в школе, и ваш сын, Митя Косенков, учился у меня. Мы с вами обе теперь уже старые женщины, и нужно с косогора оглянуться на прошлое, а начнешь с косогора спускаться, и уже не увидишь ничего вокруг.

Много лет прошло с тех пор, когда я учительствовала в Матвеевке, однако все яснее и яснее становится

многое, а сложить это многое — большая гора получится. Вашего сына Митю я храню в памяти не только потому, что он учился у меня, но и потому, что с ним большое оправдание в жизни связано, и об этом я и хочу написать вам.

Митя еще в шестом классе писал стихи, и я надеялась, что, может быть, из него получится поэт, хотя по молодости и незрело было, но ведь всё в жизни начинается с пробы, а дальше, смотришь, и совсем хорошо пошло. Только не состоялось это в жизни Мити, ему было всего девятнадцать лет, когда он ушел на войну, самый порожек жизни, и скольких этих молодых недосчитались мы...

И вот, милая Александра Парфеновна, смотришь через плечо назад, и хоть и много потерь, но все-таки нашли мы в нашей жизни и утешительное. А пишу вам это письмо и совсем по утешительному случаю: недавно одно издательство в память о войне выпустило сборничек «Золотые колосья», наверно, хотели этим названием сказать, что хоть и полегли колосья, но зерно взошло все-таки. Есть в этом сборнике и два стихотворения вашего сына, кто-то нашел их после гибели Мити в его полевой сумке, и я сразу решила послать вам этот сборник. А для меня он большая радость, все-таки любить стихи учила своих учеников я, и когда видишь — посеянное тобой зерно взошло, что может быть утешительнее?

А тот июльский день сорок первого года, когда всем классом провожали мы наших мальчиков, я никогда не забуду, только махала рукой вслед, когда повезли их на колхозной машине, а плакать учительнице не положено.

Примите же от меня эту книжку, Александра Парфеновна, посылаю ее с такой радостью, что хоть и посмертно, но прозвучало все-таки слово Мити».

А дальше старая учительница написала о том, что и до сих пор не ушла от своего дела, ведет при одном большом заводе литературный кружок и некоторые участники уже хорошо пишут стихи и рассказы.

Александра Парфеновна сняла очки и еще минуту посидела над письмом. Шесть лет назад она ушла на пенсию, отслужила свое на колхозной ферме, а в их школе уже давно был новый учитель, Павел Никитич

Строев, и ей хотелось поделиться с ним тем, что́ было в полученном ею письме...

Зима стала за одну ночь, заснежило землю, и в синей стыни остро блистали звезды. Дом, в котором жил учитель, был построен, когда колхоз окреп, начал создавать жилье и для учителя, и для зоотехника, но теперь и не представишь себе, в какой бедности и заброшенности была после войны их Матвеевка.

Александра Парфеновна поднялась по лестнице на второй этаж, Строев с ребенком на руках открыл ей дверь, сказал несколько виновато: «Жена в магазин пошла, подменяю ее»,— положил девочку в кроватку, и Александра Парфеновна показала ему письмо и книжку.

Строев прочел письмо, полистал книжку, сказал: «Хорошее дело сделали», — но что́ он знал о войне, только по судьбе отцов знал о ней, и слава богу, что так, лучше ничего и не знать о ней.

Александра Парфеновна не сняла с себя полушубочек, только откинула платок на плечи, стояла со своей седой головой, и Строев листал книгу, нашел страницу со стихотворением Дмитрия Косенкова, прочел его, а над строками: «И может быть, свершить дано мне мало, но я хочу и малое свершить» — задумался.

— Сколько же лет было вашему сыну? — спросил он.

— Он на войну девятнадцатилетним ушел, а когда погиб под Ряжском, всего нескольких дней до двадцати не хватало.

Александра Парфеновна достала из кармана полушубочка конверт, в конверте сберегались две фотографии, на одной Митя был снят пятилетний, сидящий с босыми ножками на жердочке, а на другой — школьником, стоял рядом с матерью, и такие черные волосы были тогда у нее, Александры Парфеновны...

— Вот так-то, Павел Никитич... бежит время, снежком заносит, однако не все заносит,— сказала она.

В кроватке захныкало, и Строев снова взял девочку на руки.

— Дайте потом переписать это стихотворение. Мы в нашем школьном музее поместим... все-таки ваш сын кончил нашу школу.

— Дам, конечно.

А больше идти было некуда, и Александра Парфеновна вернулась в свой дом; племянница, с которой она жила, уехала на курсы усовершенствования агрономов, и Александра Парфеновна осталась вдвоем с сыном, которого уже давно унесло, но не совсем унесло все же... Она сняла с себя платок и полушубочек, села поближе к электрической лампочке, висевшей на шнуре, и, напрягая зрение, прочла от начала до конца стихотворение Дмитрия Косенкова, а две строки Строев подчеркнул.

— Такой хороший твой стих,— сказала она сыну.— Но как же так, Митенька, что дано было тебе мало совершить... совершил, на вечные времена совершил, каждый должен поклониться тебе за твое дело. И спасибо тем, которые не упустили твой стих, отпечатали, теперь твое слово по всей земле пойдет.

Александра Парфеновна сидела твердая, а еще недавно казалось ей, что ослабела она в своей твердости, стала уже понемногу спускаться с косогора.

— Поживу еще, Митенька,— сказала она сыну,— мне интересно, как твое слово станет, а Павел Никитич для музея переписать хочет. И как же это — мало совершил... ты много совершил, и не сомневайся в этом!

И стало так хорошо от этих мыслей, от тепла, принесенного из студеных далей: жил стих, жило живое слово Дмитрия Косенкова... и вот она, книжка с этим словом, перед ней.

Потом, как обычно в этот вечерний час, зашла соседка Мария Лукинична, тоже прежде работавшая на зооферме, спросила:

— Ты не одна, Парфеновна? — видимо, услышав за дверью ее голос, и Александра Парфеновна ответила:

— Не знаю, как и сказать тебе... должно быть, не одна все-таки.

Но Мария Лукинична не удивилась: «Конечно, не одна, раз я пришла»,— и они сели, как обычно, вязать, а про стих сына Александра Парфеновна сначала ничего не сказала, но потом сказала все же, и Мария Лукинична согласилась с ней, что слово Мити пойдет по всей земле теперь.

БИСЕРНЫЙ КОШЕЛЕЧЕК

Хоронить мать Сырейщиков приехал из Ленинграда с женой. Мать долго болела, в письмах, однако, бодро писала, что скрипит помаленьку, и Сырейщиков убеждал себя, что верит ей: мать в ее семьдесят четыре года еще крепкая, все-таки она сибирячка, где люди воспитаны природой и закалены ею.

Но мать, конечно, была слаба, таяла и таяла, и Никуша, как она звала его, давно из Никуши ставший директором большого завода, Николаем Михайловичем Сырейщиковым, понимал это, внутренне болел за мать, но жизнь оставалась жизнью, дела оставались делами и жена, Агния Васильевна, рассудительная и спокойная женщина, работавшая экономистом в одном из министерств, говорила хоть и разумно, по законам жизни: «Что же делать, Коля, всему приходит свое время, и этого не перестроишь»,— но все-таки жестоко было говорить так о его матери.

Александру Климентьевну отвезла в больницу вызванная «скорая помощь», три дня она боролась со своим уходом, показала последнюю сибирскую силу, а когда соседка по квартире вызвала Сырейщикова из Ленинграда, но он в тот же день не смог выехать, мать ушла, и он ехал теперь лишь хоронить ее.

Сырейщиков с женой сели в тот поезд, который только в полночь отходит из Ленинграда, с отходом этого полночного поезда словно запираются на ночь ворота города, теперь только сонные огни на Невском, простертом как бы до самой Балтики, и лишь некоторые неоновые вывески пустынно парят в сизой мгле над городом.

Купе было двухместное, призывавшее к мирному сну до Москвы, на столике стояли в подстаканниках два стакана чая, Агния Васильевна достала из сумки апельсин, стала чистить, и в купе эфирно запахло его запахом. Она аккуратно разделила апельсин на дольки и подала мужу на отвернутой кожуре, как на блюдечке.

— Не хочется, Агнечка,— сказал Сырейщиков, подумав, что для жены это лишь вынужденная поездка, а для него — прощание с самым дорогим, самым нужным,

глубоко вросшим в сердце еще с той давней поры, когда отец погиб и они с матерью остались вдвоем.

Мать работала в детской библиотеке, прислала, когда ему, Николаю Михайловичу, исполнилось сорок три года, его любимую в детстве книгу «Дон Кихот», в которой некоторые рисунки были раскрашены им, и он умилился и растрогался подарком матери. . .

А поезд тем временем шел в предзимней мгле, с проскакивающими иногда огнями станций, в купе пахло апельсином, Агния Васильевна, надев очки, читала ленинградскую вечернюю газету, отрывая по временам от рыжего фестончика кожуры дольку.

— Интересное дело слушалось в суде, прочти,— и она протянула ему газету.

Для жены все шло своим обычным путем, конечно, она внутренне разделяла его горе, но думала только о нем, а не о матери, и его коробило, что она спокойно читает газету и ест апельсин.

— Буду спать,— сказал он коротко и вскоре, отвернувшись, уже лежал под одеялом, натянув его на плечи, а жена некоторое время еще почитала, потом тоже легла, и глухой, монотонный сон встал в купе до того рассветного часа, когда за окном в ноябрьском тумане, прошитое утренним инеем, уже шло Подмосковье.

Нужно было пройти и через это: где-то на далекой окраине проститься с той, которая всегда была рядом, хоть и жили они врозь, а теперь уже — сиротство. . .

— Полежи, — сказала жена, когда они вернулись в гостиницу,— отдохни. . . а я пойду к Клавдии Мефодьевне, разберусь в вещах мамы, а то знаешь как — опечатают комнату, а через неделю уже у кого-нибудь ордер на нее.

И он остался один в номере гостиницы, окно выходило на набережную, и Москва-река была в предзимнем тумане.

В одном из своих последних писем мать писала: «Я все-таки бываю время от времени в нашей библиотеке, дети с их душевной чистотой такая прелесть, а рыцарем без страха не один подросток мечтает стать, и хорошо бы, если побольше выросло бы таких рыцарей».

Он лежал с закрытыми глазами, вспоминал мать, не признававшуюся, что стала все-таки слабой и нужно бы

повидаться, сообщавшую лишь, что еще ничего она — скрипит, и чтобы он, Никуша, не переутомлялся, берег себя, она спокойна, когда у него все хорошо идет, а в одном из писем написала: «Так мне хочется внука или внучку, я хорошей бабушкой буду, не сомневайся».

Но детей у него с женой не было, и Сырейщиков только несколько раз глубоко вздохнул от боли за неудавшееся в жизни матери. . .

Жена вернулась лишь в сумерках, сказала:

— Заждался... совсем голодный, наверно? Идем обедать.

Ему не хотелось идти в ресторан, но он пошел все же за женой, она деловито просмотрела меню:

— Суп-пюре из цветной капусты, на второе цыплята или азу, ты что предпочитаешь?

— Все равно.

И жена заказала суп-пюре, цыплят и компот из чернослива.

— Так вот, по порядку,— сказала она обстоятельно, пока не подали суп.— Конечно, у Александры Климентьевны остались вещи, но, Коленька, такая все рухлядь, и что с этим делать? Комиссионный магазин не примет, подарить соседке — еще, может, откажется... просто не знаю, как быть.

Но его обидело, что жена назвала рухлядью оставшиеся после матери вещи, нужно бы найти другое слово, и он молчал, а жена, тревожась, поглядывала на него, явно хотела, чтобы он принял смерть матери как неизбежность, у жизни свои правила, этого не изменишь.

— Ешь суп, Коленька,— сказала она как-то робко,— ты ведь любишь цветную капусту.

И он, отсутствуя, ел суп из цветной капусты, а жена, спокойная и уверенная в своей красивой зрелости, хороший экономист, которую ценили в министерстве, где она работала, чувствовала себя, казалось, уверенной и в том, как нужно принять случившееся, и что-то вопреки воли поднималось в нем против нее.

— Завтра сам пойду посмотреть, что осталось после мамы,— сказал он.

— Вместе пойдем,— поспешно отозвалась она.

— Нет, хочу один,— сказал он так чуждо, что она лишь пожала плечами, явно обидевшись.

После обеда вернулись в свой номер, и так пусто, в странном разобщении, прошел вечер, жена поговорила по телефону с какими-то своими московскими знакомыми, а он включил транзистор, однако не слушал, прислушался лишь, когда передавали сводку погоды на завтра: «утром заморозки, днем около нуля, к вечеру возможен снег».

Гостиница была бесшумной, и он уснул в немотном полумраке.

Утром, после завтрака, он сказал жене коротко:

— Буду часам к четырем.

Мать почти тридцать лет жила на Покровке, в Лялином переулке. Сырейщиков не сказал жене, что созвонился из автомата в вестибюле гостиницы с соседкой матери, Клавдией Мефодьевной Крестовниковой, работавшей в свое время кастеляншей в одной из больниц, большим другом матери, скрасившей последние годы ее жизни.

Он помнил Покровку, Лялин переулок, высокий дом, в котором мать жила столько лет, и подъезд со стареньким дремлющим лифтом.

— Как хорошо, что вы пришли,— сказала Клавдия Мефодьевна, низенькая и полная, с ямочками на щеках, в молодости, наверно, и совсем привлекательная.— Александра Климентьевна перед тем, как отвезли ее в больницу, наказала мне, чтобы в случае чего вы сами все посмотрели, взяли бы, что вам по душе. . . но, конечно, не много осталось.

В узкой, длинной комнате матери стояла чисто убранная постель с несколькими подушками одна на другой, ее рабочий стол, книги в книжном шкафу, портрет отца на стене, да еще все то, что может быть у старой одинокой женщины, живущей воспоминаниями. . . а сын — инженер, директор завода в Ленинграде, у него дел по горло, занятой человек, и так хорошо, что вышел он в люди, а вырастить его одной было не очень-то легко.

— Вы разберитесь, а я у себя побуду,— сказала Клавдия Мефодьевна деликатно.— В случае чего постучите в эту стенку, мы с Александрой Климентьевной часто перестукивались, прямо тюремная азбука: два стука — чай пить, три — спокойной ночи, спать ложусь.

И она ушла, а Сырейщиков взял связку ключей на

старинном колечке и открыл ящики стола. В одном ящике лежали библиотечные карточки, в другом, видимо, заветном, большая пачка его писем, перевязанная розовой ленточкой, и мелочи, которые помнил он с детства: стеклянный шарик с таинственным кустиком какого-то растения внутри, перочинный ножичек с выгравированным изображением оленей в лесу на черенке, его, Никуши, школьные тетради, бисерный кошелечек с монетами разных стран — французскими франками с дырочками, или английскими пенсами, или немецкими пфеннигами — страсть его детства, представление о далеких странах, в которых когда-нибудь побывает и он, а в книжном шкафу стояли его книжки, его капитан Гаттерас, его Бусало, вождь семинолов.

Он перебирал страницы своего детства, страницы любви матери к нему, и хотя она и гасла постепенно, мать, но храбрилась в письмах, сравнивала себя с сибирской елью, которая еще поскрипит, скрывала, что так одиноко, так пусто ей, так нужно было бы, чтобы он, сын, был рядом...

А в платяном шкафу висели только платья матери, никому уже не нужные теперь, и в шкафу пахло немножко духами и нафталином.

Сырейщиков сложил в прихваченный с собой плоский чемоданчик маленькие черненые часики матери с металлической закрепкой в виде бантика, несколько рамок с фотографиями: мать с отцом и с ним, сыном, на руках, снятую незадолго до войны, его одного — школьника — и последнюю, присланную им из Ленинграда, стареющего инженера Сырейщикова, уже с седеющими висками, однако для матери — ее мальчика, ее Никуши, маленького для нее навсегда.

Он постучал в стену, сказал Клавдии Мефодьевне, когда она зашла:

— Книги я отвезу в библиотеку, где мать работала прежде... это хорошие детские книги, когда-то они принадлежали мне. А насчет вещей распорядитесь ими сами, Клавдия Мефодьевна, комиссионный магазин вряд ли возьмет что-либо, но, может быть, вам что-нибудь пригодится или кому-нибудь из живущих в вашем доме... только не просто выкинуть...

— Ну что вы, разве я допустила бы это!

И такой сердечной, такой душевной показалась ему

эта маленькая бывшая кастелянша, по своей работе в больнице знавшая не одно расставание с близкими...

А больше нечего было делать в Москве, мать не жила в ней больше, он простился с ней в далеком поле, над которым, может быть, даже сегодня вечером пойдет снег, как предсказало бюро погоды...

Жена уже ждала его, когда он вернулся в гостиницу, сразу спросила:

— Ну, как?

— Книги я отвез в библиотеку, в которой мама долго работала, а с остальным распорядится соседка, но только не выкинет ничего.— Он хотел было добавить: «Не выкинет то, что назвала ты рухлядью»,— но промолчал.

Потом надвинулся пустой, долгий вечер, поезд в Ленинград уходил около полуночи, посидели в ресторане, Сырейщиков выпил несколько рюмок коньяку, а жена, знавшая, что ему нельзя пить из-за почек, беспокойно смотрела на пустевший графинчик, однако ничего не решалась сказать, сама чувствовала, что как-то ослабела со своей обычной уверенностью, словно уход старой, давно осужденной женщины изменил что-то в их отношениях с мужем...

— Не пей больше,— все же сказала она.

Но он словно не услышал, выпил весь графинчик, только как бы лишь трезвея от каждой рюмки.

А без четверти двенадцать они шли по перрону Октябрьского вокзала, Сырейшиков нес в одной руке сумку жены, а в другой свой плоский чемоданчик.

Поезд отошел бесшумно, проплыла сначала Москва в огнях, потом пошло Подмосковье уже в редких огнях, следом — только ноябрь, голые леса, а вскоре за окнами как-то перламутрово замерцало, пошел обещанный бюро погоды снег.

Сырейщиков стал читать «Вечернюю Москву», как два дня назад жена читала «Вечерний Ленинград», под колесами монотонно гудело, а что-то соединявшее его с женой словно отдалилось...

Он достал из сетки при свете синей ночной лампочки чемоданчик, раскрыл его, нащупал бисерный кошелечек и лишь подержал его в руке.

— Ты что, Коля? — спросила жена вдруг, повернув голову в его сторону.

— Ничего,— ответил он.— Сплю.

И монотонный гул снова поплыл, а на рассвете пойдут Тосно и Колпино, а там и Ленинград, пойдет его дальнейшая жизнь, Сырейщикова, без матери, сироты сиротой, без матери навсегда.

РАЙСКАЯ ХИЖИНА

Дочь сказала:

— Корова тебе уже не нужна, мама... вставать с рассветом, доить, выгонять, а на зиму сеном запасаться — где ты наберешь силы?

Да и не для кого было теперь молоко, внуки выросли, поразбрелись, женились или вышли замуж, самой из-за больного желудка нельзя было пить, а дочь Нюра давно отказалась:

— Не нужно мне никакого молока, мама... для меня главное, чтобы ты не надрывалась непосильно.

И корову решили продать, но вести ее сама в Заготскот мать не смогла, корова Зорька смотрела на нее своими верными глазами, и когда корову повел со двора плотник Елистратов, которого упросила дочь, Аграфена Петровна шла некоторое время рядом, держала руку на шее коровы, и та, зная надежность этой руки, спокойно шла, полагая, наверно, что ее ведут в поле... Потом Аграфена Петровна стала отставать, Елистратов повел корову один, и скоро они скрылись за поворотом.

Старые, уже уставшие, в синих набухших жилах руки Аграфены Петровны всю жизнь делали что-нибудь, и ее сердце всю жизнь тоже делало что-нибудь: любило сначала мужа, которого убили на втором году войны, любило дочь Нюру и сына Якова, но Яков тоже погиб в войну, как и отец, осталась у него дочь Маша, а у Нюры был сын Мишук, теперь уже Михаил Иванович, сам отец двоих детей, и давно стала она, Аграфена Петровна, прабабкой.

Но ее сердце сохранилось тем же: ему нужно было заботиться о ком-нибудь, без этого оно было как пустое гнездо, и когда она осталась только вдвоем с дочерью,

весь свой труд отдавала уходу за Зорькой. Дочь работала счетоводом в поселковой конторе, уходила на весь день, а к вечеру ее ждало молоко, или молочная каша, или свежий творог, и допоздна всегда хватало дел, а с рассветом нужно было выгонять корову в поле и сидеть где-нибудь поблизости, пока корова нагуляет молоко для своего дома. Потом, вернувшись с ней, шла в местный санаторий, где на кухне давали отбросы, привозила на скрипучей тележке, нарубала помельче, а летом с первого покоса нужно готовить сено. Всё дела и заботы, и Аграфена Петровна, сама не сознавая, разговаривала по временам с Зорькой в полутьме коровника, где пахло теплым естеством животного:

— На молоке твоей матери внуки мои росли... а тебе, выходит, не для кого теперь стараться.— Или беспокоилась: — Ты что лениво-то? — и ощупывала брюхо, а тяжелое мраморно расписанное вымя уже привыкло к ее рукам.

Но теперь в опустевшем коровнике остался только запах той, которая семь лет верно служила, отдавала свое нехитрое богатство, и не представишь себе ныне: чем заполнить время?

— Тебе хорошо, Нюра,— сказала Аграфена Петровна дочери, — сидишь целый день в своей конторе за делом, а мне как мой день вести теперь?

— Отдыхай, мама... посиди на лавочке, огородом немного займись, только не пропалывай, ради бога, у тебя грыжа, тебе нельзя низко наклоняться. В субботу сама прополю.

И дочь уходила в свою контору, а Аграфена Петровна садилась на лавочку возле крыльца, сидела, маленькая и сухонькая, сжав между колен свои худые, слабые руки, сидела без всяких мыслей и без всякого дела, сидела потерянная для самой себя: для дочери готовить ничего не нужно, обедает в поселковой столовой, а по субботам и воскресеньям дочь сама готовит обед, и только садись и ешь без всякого твоего усердия сготовленное.

— Не могу я так жить, Нюра,— сказала она дочери раз.— Не могу я для одной себя жить, и неинтересно мне вовсе. Ты и не принуждай меня к этому.

— Беда с тобой, мама, — сказала дочь только, — беда с твоим беспокойным характером.

На железнодорожной станции их поселка работала кассиром дочь покойной медицинской сестры Авдеевой, с которой Аграфена Петровна дружила, и она давно хотела повидать Нюру и спросить ее, не нужно ли ей чего-нибудь в трудности без матери.

Она и поступила так, пошла на станцию, а Нюра в крытой части платформы сидела за своим окошечком и продавала билеты на поезда.

— Я к тебе, Нюрочка... давно у меня на сердце беспокойство за тебя: трудно тебе, наверно, без твоей мамочки, ты на мою помощь всегда рассчитывай.

Нюра приподнялась к своему окошечку, сказала, однако, больше вежливо, чем сердечно:

— Очень рада видеть вас, Аграфена Петровна! Только в чем же помощь может быть мне нужна?

— Ну и хорошо, если не нуждаешься в помощи,— отозвалась Аграфена Петровна, не обидевшись.— Но я все-таки стану время от времени навещать тебя...— увижу — ты за окошечком, значит, все в порядке в твоей жизни. А смотришь, и понадоблюсь как-нибудь.

— Приходите,— сказала Нюра, не уяснив все же для себя: зачем та станет приходить?

И хотя и не так, как она ожидала, встретила ее Нюра, Аграфена Петровна осталась довольна собой, что послушалась голосу в себе и повидала Нюру...

И сама стала приходить, садилась в стороне на скамейку, смотрела, как Нюра продает билеты, как-то испекла для нее коржики, сказала:

— Покушай, деточка... твоя покойная мама такие хорошие коржики умела печь,— и порадовалась, глядя издали, как Нюра, продавая билеты, нет-нет да и откусит от коржика.

Вскоре подошло к весне, снег стал сначала рябым, потом потемнел, а в конце марта прилетели скворцы, покружили возле старых скворечников, выгнали обосновавшихся в них воробьев, вычистили свои жилища, теперь недалеко и до мая.

Однажды к Аграфене Петровне зашла с бидоном в руке старая знакомая, снимавшая не первый год дачу по соседству, Марина Евгеньевна Луценко, жена инженера и сама инженер, сказала как-то певуче, радуясь их встрече после долгой зимы:

— Ну вот мы и снова по соседству... а я к вам с обычной просьбой насчет молока. Лялечке в этом году уже пять лет исполняется, через два года в школу пойдет, вот как летит время!

Аграфена Петровна посмотрела на бидон в ее руке:

— Без коровы я теперь, так что не могу постараться для вас.

— Ах, как обидно, — огорчилась Марина Евгеньевна,— что же нам теперь с Лялечкой делать, неужели из Москвы в пакетах возить?

— Слабая я стала... дочь сказала — корова теперь уже не по твоим силам. Но я все-таки перемоглась бы как-нибудь, а тут сразу такое решение приняли.

Она сидела на ступеньке крыльца, а Марина Евгеньевна, высокая и красивая, стояла рядом.

— У Михайловых корова есть,— сказала Аграфена Петровна, подумав,— далеко только, по ту сторону железной дороги. Но я могу облегчение вам сделать — стану ходить за молоком.

— Да ведь трудно вам будет,— сказала Марина Евгеньевна неуверенно.

— Я не спеша... пойду по лесной тропочке, а мне какое-нибудь дело нужно, не привыкла я без дела, у меня руки без дела болят.

Марина Евгеньевна не улыбнулась шуточке.

— Спасибо, Аграфена Петровна, но совестно утруждать вас.

— Только чтобы о нашем с вами согласии никто не знал,— сказала Аграфена Петровна, имея в виду прежде всего свою дочь.

— И еще одна забота, тоже неизвестно, как быть с ней: мы с мужем с утра уезжаем на работу, Лялечка целый день одна, а хозяйка дачи хоть и посулила присматривать, но ведь у нее хозяйство... может, поможете подыскать кого-нибудь?

— Зачем подыскивать: принесу молоко и присмотрю часок-другой. Только с одним условием — деньги на молоко дадите, а больше ничего, за деньги я и не соглашусь.

— Ах, в какое трудное положение вы ставите меня!

И Марина Евгеньевна, качая головой самой себе, дала деньги на молоко и ушла, а Аграфена Петровна еще посидела на ступеньке крыльца.

«Ладно обо мне толковать,— сказала она, мысленно продолжая разговор с Мариной Евгеньевной,— мне и самой интересно к Михайловым ходить, я с Верой Павловной в хороших отношениях».

И на другой день, когда дочь ушла на работу, Аграфена Петровна взяла бидон и пошла к Михайловым — сначала через весенний лес, весь в жизни и шепоте, потом перешла линию железной дороги, только чуть запыхалась, поднимаясь на насыпь, и полчаса спустя была уже у Михайловых.

Сам Михайлов, Егор Иванович, служил машинистом на железной дороге, а его жена, Вера Павловна, была няней в поселковом родильном доме, и теперь нужно было договориться, станет ли она продавать молоко.

— Уж и не знаю как, — задумалась Вера Павловна, низенькая и полная, с добрым, озабоченным лицом,— у меня четверо, нам и для себя другой раз молока не хватает. Да и корова стала меньше давать, старая уже, через год яловой, должно быть, станет.

— Нам один литр всего,— сказала Аграфена Петровна просительно,— уж как-нибудь, Вера Павловна, милая. А девочка такая хорошая, я почти пять лет поставляла им, а теперь нет у меня коровы.

— Не знаю уж как,— повторила Вера Павловна.

— И родители у нее хорошие, оба инженера.

Должно быть, помогло, что родители — инженеры: по специальности мужа Вера Павловна с уважением относилась к этому званию.

— А приходить за молоком кто же будет? — спросила она.

— Я и буду... ноги у меня, конечно, не прыткие, но я не спеша, авось не скиснет молоко по дороге.

Аграфена Петровна хотела задобрить женщину шуточкой, помогло и это, та сказала:

— Ну, вам-то я отказать не могу.

Они прошли к погребу, Вера Павловна спустилась вниз, достала со льда запотевший жбан, повинилась за свою корову:

— И молоко нежирное стала давать, вы уж не обижайтесь.

— Какое есть, Вера Павловна, и великое спасибо вам.

Они условились, когда лучше приходить за молоком, и Аграфена Петровна осторожно понесла бидончик, шла медленно, а в лесу было полно птичьих голосов, и она останавливалась по временам и слушала птиц.

— Ну, вот и молочко тебе,— сказала она той пятилетней Лялечке, о которой беспокоилась ее мать,— стану теперь каждое утро приносить, а ты расти. Будешь расти?

И Ляля ответила:

— Буду.

Она была маленькая, с челочкой на лбу, с красной ленточкой в косице, и Аграфена Петровна посидела рядом с ней на ступеньке террасы и подержала в руке теплую, шелковистую косицу.

— Мы с тобой дружить будем, Ляля,— сказала она.— Ты зови меня бабушкой, а я тебе порасскажу, что и как бывает на свете, я много сказок знаю.

— Расскажите,— заинтересовалась Ляля.

— Ну вот, первая для начала. Жила-была одна старенькая старушка, вроде меня, и ничего при ней не сохранилось: внучата в отдельности живут, и коровы Зорьки нет, такая славная была, старушка любила ее. Но пришлось расстаться, такие уж обстоятельства сложились, и осталась старушка одна-одинешенька, а тут ей одна девочка вроде тебя повстречалась, и стали они дружить между собой. А старушка хоть и старая была, однако ничего еще, может ногами шевелить, если не спеша, а в лесу уже хорошо, как-нибудь пойдем с тобой в лес, послушаем, как птицы поют, и первые цветочки пособираем... лютики разные или фиалочки.— И как-то само собой от старушки, о которой начала сказку, перешла к себе, но Ляля не заметила этого.— Мне тоже утешнее с тобой будет,— сказала Аграфена Петровна,— ты девочка, видать, хорошая, для тебя принести молоко — удовольствие, а Вера Петровна сначала не хотела давать, для своей семьи другой раз не хватает, а потом согласилась, так что мы с тобой теперь на все лето молоком обеспечены.

И Аграфена Петровна представила себе это долгое теплое лето, когда и с дождичком, но это ничего, можно зонт прихватить с собой, а в лесу капли с деревьев только стучат по зонту.

— Я эту музыку люблю, когда по зонту стучит,— сказала она еще.— Летом дождь — благодатный, а осень

тебя не касается, осенью ты со своими родителями в город переедешь.

— А я помню вас, бабушка, мы с мамой в прошлом году за молоком к вам ходили.

— Точно,— умилилась Аграфена Петровна,— вот умница, что помнишь. Только нет теперь нашей с тобой Зорьки, она любила тебе молоко давать, увели ее.

— Как увели?

— Обстоятельства такие получились... а я уже старая теперь. Я — древняя теперь.

Ляля приподняла голову, посмотрела на ее лицо, спросила:

— А что такое древняя?

— Древняя — это когда от начала далеко, а до конца близко. Но на лето меня еще хватит, надеюсь: стану молоко тебе носить, а хозяйка вскипятит, мать наказала — тебе две кружки нужно выпить, одну в полдень, другую в четыре часа. А я побуду с тобой, мне времени девать теперь некуда, а прежде всегда не хватало.

Аграфена Петровна понесла бидон с молоком хозяйке, у которой Марина Евгеньевна с мужем снимали дачу, Варваре Семеновне Бобковой, большой и полной, прежде служившей кастеляншей в детском саду, та удивилась:

— Аграфена Петровна... какими судьбами?

— Да вот зашла малую проведать, и завтра приду, я целое лето приходить буду.

— Или с матерью уговорились?

— Я с самой собой уговорилась.

— Ну что ж, и хорошо,— сказала Варвара Семеновна, однако неуверенно.

Она вскипятила молоко, а завтрак был приготовлен матерью заранее, и Аграфена Петровна села с девочкой на ступеньку террасы, держала на коленях тарелку с овсянкой, которую разогрела хозяйка, а Ляля ела кашу и пила молоко.

— Вы еще чего-нибудь расскажите, бабушка,— и она близко поглядела в ее глаза, но ничего древнего в них не было, просто совсем слабые, с жидкой слезой глаза.

— Что же рассказать тебе такого? — задумалась Аграфена Петровна.— Ну вот, жила одна старая ста-

рушка вроде меня и повстречала раз в лесу девочку вроде тебя. Девочка спрашивает старушку: «Вы откуда идете, бабушка?» И старушка отвечает: «Из древности я, деточка ненаглядная, есть такая далекая страна, долго я из нее шла, да и иду еще, и охота у меня к райской хижине прийти, там для старых людей все приготовлено: и пища, и райские птицы поют на деревьях, а яблочки на них китайскими называются, только сырые они нехороши, из них варенье варят, немножко лимонной цедры добавить, и такое славное варенье получается. И все это в куще для старых людей, а дорога к ней древней называется потому, что протоптали ее те, кому в старые годы без какого-нибудь дела жить совсем невозможно. А тут тебе все по руке: хочешь корову пасти да доить — пожалуйста, хочешь с хорошей девочкой посидеть, молочком ее попоить, сказки разные порассказать — выбирай себе девочку. Ну, я, конечно, только тебя выбрала бы.

Ляля съела тем временем кашу, допивала молоко, и Аграфена Петровна сказала еще:

— В четыре часа вторую кружку выпьешь. . . а корова у Веры Павловны еще ничего, смотри, сколько жирных пенок было, на этом молоке за лето хорошо вырастешь, раз пообещала мне.

Ляля кивнула головой, потом сказала:

— Давайте, вверх и вниз поиграем.

— Это что же такое — вверх и вниз?

— Я научу вас.

Ляля принесла большую плоскую коробку, научила, как играть, и они принялись за игру.

— Это как же получается? — спросила Аграфена Петровна, когда выкинула кости и Ляля с торжеством спустила ее костяной кружочек до самого основания длинной лестницы.— Так и целой жизни не хватит, чтобы доверху добраться.— И она, пошарив в кармане своей юбки, достала очки. — Придется, видно, еще покарабкаться, время у меня есть.

И она стала снова взбираться по ступенькам крутой лестницы, а на самом верху была райская хижина со всем тем, что нужно человеку, прошагавшему из дальнего далека свой древний путь: и забота о ком-нибудь, и утешение, когда рядом с тобой сидит какая-нибудь

вроде этой Лялечки, заглядывает тебе в глаза своими чистыми глазами и обещает дружбу, пусть не на целую жизнь, а хотя бы до осени, когда пойдут дожди, но тогда родители увезут ее в город.

ОБХОД

Медицинская сестра собрала все, что нужно для обхода, и в стерильно белеющих халате и шапочке последовала за врачом, Евгением Васильевичем Сергеевым. В некоторые дежурства приходился обход больных, к которым Сергеев не был прикреплен как лечащий врач, и случалось, что иных, поступивших недавно, он видел впервые.

Было то серое утро, когда поздний октябрь стряхивает с деревьев в больничном саду листок за листком и все более голым становится пейзаж, нередко в соответствии с настроением не одного больного.

Сергеев обошел с сестрой палату, в которой лежало восемь больных, и прошел в следующую. Здесь первым от входа он увидел старого большеносого человека, заросшего серой, словно шерстяной, бородой, которому по его росту больничная койка была коротка.

Сергеев хотел было привычно взять руку больного у запястья, но вдруг задержался, и медицинская сестра подала ему историю болезни. После имени больного — Никиты Софроновича Хлебова — было записано, что привело его сюда, и большеносое лицо с курчавой бородой вдруг наподобие негатива проявилось вместе с именем.

— Так,— сказал Сергеев, подержав большую, тяжелую руку лежавшего и поглядывая на свои ручные часы.— Вы где работаете?

— Прежде служил в санатории «Сосновый бор», теперь на пенсии.

— «Сосновый бор»? — задумался на минуту Сергеев.— Это по Волоколамскому шоссе?

— По Волоколамскому. Бывали у нас? — спросил Хлебов, оживившись, и Сергеев как-то странно, словно сквозь завесу времени, глядел на его лицо.

— Вы врача Сергеева знали?

— Василия Николаевича? А как же... главный врач в нашем санатории был.

Что-то вдруг протянулось между ними, и Хлебов спросил глухим, ушедшим в глубину голосом:

— Как насчет меня скажете — совсем я на вымарку?

— Полечим,— ответил Сергеев неопределенно.

Он открыл черный плоский ящичек с аппаратом, обвил руку Хлебова у предплечья жгутом, проверил давление, потом снова накрыл одеялом длинное, с запавшими ключицами тело, а Хлебов смотрел ему вслед пустыми глазами.

Сергеев зашел еще в палату, где лежали двое, и вернулся в ординаторскую. Серый свет октября незряче стоял в окне, а большая береза время от времени роняла листок, словно срывая одну за другой странички календаря. Сергеев сидел за столом, курил в сторону открытой форточки, и дымок уплывал вместе с тем, что так неожиданно встретилось в это утро.

Три года назад однажды в поздний вечерний час, когда отец уже готовился ко сну, в санаторий явился запыхавшийся незнакомый человек, сказал, что неподалеку на шоссе сбит машиной пешеход. Отец оделся, хотя пройти почти километр до шоссе, да еще в темень, было трудно, однако Василий Николаевич Сергеев все же пошел. Из-за одышки он часто останавливался, а спутник негодующе торопил его. К месту, где был сбит пешеход, пришли с опозданием, какая-то проезжавшая машина, видимо, подобрала его, а человек, оказавшийся монтером районной электростанции, написал в московскую газету, что главный врач санатория «Сосновый бор» уклонился оказать первую помощь пострадавшему, сознательно медлил, рассчитывая, наверно, что обойдется и без него. Газета переслала письмо в Министерство здравоохранения, оттуда пошло в прокуратуру, и отцу пришлось доказывать, что оказать помощь срочно он не мог, так как в этот день машина санатория находилась на станции обслуживания, где чинили лопнувший лист рессоры.

Допросили и сторожа санатория Хлебова, показавшего, однако, что главного врача он в этот вечер не видел, хотя и дежурил у ворот. Все в конце концов благо-

получно закончилось, врач от помощи не уклонился, и впоследствии отец спросил Хлебова:

— Как же вы показали, Хлебов, что не видели меня, в то время как я прошел мимо вас?

Но Хлебов упорно настаивал, что никого не видел, и отец тяжело перенес, что ему пришлось защищать честь врача.

Сергеев курил, и дымок уплывал в сторону форточки. Год назад отец умер, все давно ушло, но теперь снова всплыло с Хлебовым, остро, до сердечной боли за отца, всплыло.

В четыре часа дня его сменил врач Михаил Игорьков, но Сергеев не снял с себя белого халата, а прошел в ту палату, где лежал Хлебов. Как-то мертво закинув голову, с большим кадыком на горле, Хлебов спал. Но едва Сергеев подошел к нему, открыл глаза, медленно перевел их на врача, и его губы как-то странно задергались.

— Узнаете меня? — спросил Сергеев.

— Постой... неужели — Женька? Я и утром глядел, думал — неужели Женька... Евгений Васильевич? Вы как только подошли ко мне, сразу показалось, будто знакомый. Вот ведь как получается — значит, по следу вашего папаши доктором стали?

И Сергеев впервые в такой близости увидел синие, почти васильковые глаза, присущие крестьянину средней России, а льняные волосы расческа только струит на прямые, отдельные пряди. Но волосы Хлебова стали серо-желтыми, а его огромный костяк как-то обреченно проступал под одеялом.

— Встреча, — сказал Хлебов. — И во сне не приснится.

— Да, встреча. Но раз уже встретились, Хлебов, хочется мне задать вам один вопрос: как могло случиться, что вы отца не заметили, когда он шел к сбитому машиной на шоссе? Ведь ваша сторожка у самых ворот была.

Хлебов ответил не сразу, лежал как бы уже покорившийся тому, что ждет его.

— Я тогда, дело теперь прошлое, выпивши немного был... подумал — еще запутают меня в это дело, скажу лучше — никого не видел и ничего не знаю. Только я Василию Николаевичу никакого зла не желал.

— А отцу это сердца стоило, — сказал Сергеев.

Он искал в себе ненависть или хотя бы презрение к этому в общем предавшему отца человеку, но что сейчас презрение или даже ненависть могли значить для Хлебова, когда он, видимо, уже почти обречен?

— Жена ваша жива? — спросил Сергеев.

— Один,— сказал тот,— один,— и, выпростав из-под одеяла худую руку, показал один палец.— Один, Женечка... уж позволь по-старому называть тебя, ты ведь из моей сторожки и не выходил маленький, что же забывать это? Один как перст, Женечка,— повторил он,— жена год назад померла, дочка Нюра в Сибири сейчас, отрезала от себя отца. Только когда я еще служил в санатории, приехала раз на побывку, в нашем парке летом хорошо... погостила недельку — и с тех пор ничего от нее, отрезала для себя отца, может, полагала, к старости в тягость ей буду. Но — ничего,— добавил он с какой-то отчаянной твердостью,— ничего. Теперь уже не много шагать осталось.

Он лежал — старый, запутавшийся в своей глухой жизни, никому не нужный, и Сергеев испытал вдруг только жалость к нему, а лечащий врач Михаил Иванович Игорьков, пожалуй, точнее скажет, сколько Хлебову шагать еще — и осталось ли шагать?

— Ты меня прости, Женя... Евгений Васильевич,— сказал Хлебов.— Я Василия Николаевича уважал, и в уме у меня не было сердце ему портить! Только об этом теперь что говорить... теперь я убитый своей жизнью, Евгений Васильевич. Жена померла — дочь даже на похороны не приехала, прислала двадцать рублей, подержал я тогда бумажки в руке, подумал — вот все, что у тебя от дочери осталось, две красненькие, а мы с женой растили ее, берегли. Я за дочь на каторгу пошел бы, а каторга сама собой, без всякой моей вины, получилась. Конечно, Евгений Васильевич, мне лучше, может быть, вам и в глаза не глядеть, но только не думал я, что так обернется. Когда же успел ты доктором стать, Женечка... проморгал я время, да и свою жизнь проморгал.

И Сергеев смотрел на него, все порастерявшего, а главное — себя порастерявшего, так что и оглянуться не на что...

— Сейчас отдыхайте, Хлебов,— сказал он.— Завтра повидаемся.

С санаторием «Сосновый бор», в котором отец почти четверть века служил главным врачом, было связано еще и другое. В этом санатории Сергеев сначала познакомился, а потом и полюбил медицинскую сестру Надю Кушнереву, вскоре женился на ней, Надя тем временем поступила во Второй медицинский институт, стала врачом, но сейчас была в отпуску: они ждали первого ребенка.

О Василии Николаевиче, отце мужа, Надя сохраняла глубокую память. Это он настоял, чтобы стала врачом и она, помог ей поступить в медицинский институт, все связанное с ним было дорого ей, и Сергеев, вернувшись, рассказал о встрече с Хлебовым.

Он рассказал еще, в какой пустоте и одиночестве находится тот сейчас, а его дочь — даже если сообщить ей о тяжелой болезни отца — наверно, и не приедет, как не приехала на похороны своей матери.

Надя всегда была с доброй душой и умела понимать многое.

— Знаешь, что я решил? — сказал он.— Попрошу лечащего врача передать Хлебова мне. Может быть, и удастся операция... одну почку придется удалить.

Он не добавил, что с ним, Женей, Женькой, которого в свое время и не вытащишь из сторожки, Хлебову полегче будет.

— Конечно, сделай так,— сказала Надя,— конечно, сделай так!

Она ждала ребенка, была уже с материнской душой, и Сергеев знал, что сказать иначе Надя не может. Он подумал при этом, что и отец, несмотря ни на что, поступил бы так же и, как рентгеновский снимок, посмотрел бы на свет жизнь Хлебова.

Сменяя на другое утро врача Игорькова, Сергеев сказал ему:

— Передайте мне одного вашего больного, Михаил Иванович. Дело в том, что я давно его знаю, он служил у моего отца в санатории.

— Это кто же? — спросил Игорьков.

— Некто Хлебов... случай, конечно, критический, но попробуем все-таки.

Медицинская сестра, сменившая вчерашнюю, приготовила все для обхода, и Сергеев пошел с ней к своим больным.

— Буду теперь вашим лечащим врачом, Хлебов,— сказал он, подойдя к его койке.— Вам, наверно, поспокойнее станет, если старый знакомый будет рядом.

Но Хлебов как-то испуганно посмотрел на него.

— Мне, конечно, поспокойнее, а тебе-то как, Женя... вам-то как, Евгений Васильевич? Я ведь сознаю, что вы против меня можете чувствовать.

— Чувствовать я могу только, что вы — больной, а я — врач. Значит, нужно лечить вас, а ваше дело — поправиться.

И синие, почти васильковые глаза Хлебова уже не испуганно, а скорее удивленно посмотрели на него, потом он закрыл лиловатые веки, а когда снова открыл их, лишь туманно, расплывчато видел врача.

Сергеев продиктовал медицинской сестре назначение, а Хлебов повернул голову в его сторону, смотрел ему вслед, и теперь врач Сергеев, Женя, Женька, Евгений Васильевич был виден уже не туманно, не расплывчато, потому что влага, стоявшая в глазах, потекла двумя серыми струйками и освободила место для зрения.

ДОМОВАЯ КНИГА

Не стали ничего объяснять, не сказали обидных слов, что устарел и не нужен новой жизни, просто пришли однажды утром бульдозеры, и хотя и стоял обреченный, с зияющими пустыми окнами без рам, все же не так-то легко проститься с тем, что вокруг, и он только вздрогнул сначала, когда с башенного крана ударила по верхнему этажу чугунная бомба, а потом крякнул, рухнул половиной стены своего верхнего этажа, открыл то, что всегда было скрыто от прохожих людей, и рассказал этаж за этажом, как начинал свою жизнь и кто и когда жил в нем, шестиэтажном доме, правда, своим красным, неоштукатуренным кирпичом похожим больше на казенное здание. Но это был жилой доходный дом, построенный в пору промышленного капитализма, зеленые наклейки с надписью: «Сдается внаймы» висели на его окнах и сдирались по мере того, как поселялся кто-нибудь.

Он рассказал, сотрясаясь от ударов бомбы и рушась, свою московскую историю, и возникали следы жизни его обитателей — комнаты, оклеенные разного цвета обоями: темно-коричневые были, наверно, в столовых, с цветочками — в спальнях или детских, а на обоях остались невыгоревшие следы висевших на стенах картин. . .

Верхний этаж, откуда чугунная бомба начала свою работу, состоял из мансард для художников, и дом рассказал, что в одной из этих мансард жил художник Семен Матвеевич Гутиков, некогда славно начинавший, участник многих выставок, но в голодные годы изнесчастившийся: шла гражданская война, было пока не до искусства, но как-то жить было все-таки нужно, и он стал писать копии с портретов Марата или Робеспьера, а букинист Михаил Иванович, торговавший старыми книгами в глубоких воротах одного из домов по Столешникову переулку, продавал эти копии, и написанные Гутиковым портреты деятелей Французской революции висели в покинутых бывшими владельцами особняках, где разместились клубы.

Но в один из январских, особенно лютых дней Гутиков не проснулся в своей мастерской, стены которой были покрыты инеем, и у букиниста в Столешниковом переулке еще долго висела в глубокой нише ворот копия с портрета Лафарга. . .

В мансарде поселился другой художник, Бойко, требовательный к своему искусству, не поддававшийся никаким соблазнам и в конечном счете не дождавшийся признания. Но признание все же пришло, хотя и с грустным опозданием: Бойко оценили, и не в одной картинной галерее нашли место его пейзажи старой Москвы, изображение того глухого начала века, которому суждено было стать веком новой мировой истории.

После мансард пришла очередь пятого этажа, стена фасада обрушилась сразу, но, увидев строгие серые обои, никто не узнает, конечно, что их подбирала Евгения Максимилиановна Шведе, историк по образованию, ученица Ключевского. Возле одной из стен ее рабочей комнаты, оставив след на обоях, стоял книжный шкаф, на многих книгах были авторские надписи, а на своей книге «История города Москвы» Иван Егорович Забе-

лин написал: «Учитесь по древностям познавать душу народа».

У Евгении Максимилиановны бывали литературные «четверги»: и, сухонькая, с седеющими волосами и бледно-синими, почти сиреневыми глазами, она прославляла красоту древнего русского слова, и нередко гусляр Северский, перебирая певучие струны своих гуслей, уводил в былинные дали. А вместе со следом от книжного шкафа в рабочей комнате Евгении Максимилиановны остались два больших четырехугольника от портретов Татищева и Ключевского.

Та часть дома, где жили Евгения Максимилиановна и Гречаников, сразу же стала походить на руину, трещина давно прошла по фасаду, дом считался аварийным и грустно доживал свой век, как осужденный тяжелобольной. Он не был памятником старины, его построили не Казаков или Жилярди, а опытный подрядчик в ту пору, когда в Москве один за другим возникали доходные дома, но богачи строили на Воздвиженке, Поварской или Спиридоньевке особняки в стиле мавританских или испанских дворцов, и не хватало лишь знойных улиц Толедо или Виченцы.

А этажом ниже сдавала комнаты с обедом вдова оперного певца Нина Ивановна Лещинская, некогда сама певшая в хоре оперного театра Зимина. После рождения двух детей она ушла из театра, а муж — певец Лещинский, хороший тенор — в одну из гастрольных поездок смертельно простудился, и перед Ниной Ивановной возник сразу вопрос: как жить с двумя детьми дальше? Она решила вернуться в театр, но хормейстер был уже новый, ее голос за это время несколько сдал, обратно в труппу не приняли, и она стала сдавать комнаты с обедом, с утра торопилась на рынок, почти полдня стояла у плиты, и театр уплыл постепенно навсегда...

Но годы идут своим порядком, дети выросли, выбрали тоже театральный путь: дочь окончила балетную школу, поступила в кордебалет Большого театра, быстро выдвинулась, и ее имя значилось уже в па-де-де. А сын стал реквизитором в одном из драматических театров, обзавелся семьей, и Нина Ивановна оставила свою квартиру, поселилась в маленькой комнатке в том же доме, пришлось понемногу расставаться с вещами, и однажды она отнесла в ломбард серебряный портси-

гар и золотой жетон, который муж получил на конкурсе певцов, вовремя не выкупила, и какая-нибудь женщина, может быть, переделала жетон на брошь.

На одной площадке с ней жили прежде муж и жена Гуляевы, добрые, сердечные люди, но Гуляев, инженер-электрик по специальности, погиб в конце первой мировой войны, почти накануне тех дней, когда солдаты вышли из окопов брататься. Веселая квартирка, которую обставляли с заботой, стала не нужна его жене, и она покинула Москву навсегда, уехала к сестре в Задонск и, наверно, никого и не искала для себя больше.

«Четверги» Евгении Максимилиановны Шведе постепенно кончились, многие из тех, кто бывал у нее, уже лежали в московской земле, а Евгения Максимилиановна еще не один год проработала в Историческом музее, стала легонькой, как перышко, и в одну из зим, когда гулял грипп, ее и унесло, как перышко.

Судьбу многих из тех, кто проживал в этом доме, хорошо знали Гафуровы: Вахит Гафуров служил в доме дворником, честный, степенный человек родом из Казани, и его жена Закира была тоже родом из Казани, в доме всегда сохранялся порядок, зимой лед на тротуаре перед ним был сколот, летом полит водой из лейки, а по пятницам, надев хороший костюм, Гафуров шел в Выползов переулок, где была мечеть, однако не молиться, а лишь повстречаться с земляками, поузнать новости и самому поделиться ими. . .

Открывая то, что было скрыто за его фасадом, дом порассказал не только о далеких страницах своего существования, он рассказал и о тех годах, когда на его стенах были расклеены плакаты: «Ты еще не записался в армию?», а из его окон высовывались трубы печурок, тех «буржуек», которые поддерживали жизнь людей в холодную зиму двадцатого года.

Он порассказал еще, старый московский дом, что во многих обитавших в нем семьях дела отцов переходили детям: так, Сергеевы были все металлургами, начиная от деда, профессора Ильи Ильича, до внуков Николая и Всеволода, строивших Магнитогорск и Кузнецк, в семье Пономаревых шло по учительской линии, две внучки — Тася и Лена — по следу своих матерей стали учительницами, а Стасевичи были все математиками, и Юра Стасевич тоже готовился стать математиком, но

однажды в жаркий июньский день, когда семья Стасевичей готовилась к поездке на юг, началась война...

Юра Стасевич стал артиллеристом, прошел почти всю войну, а незадолго до ее окончания пришло извещение, что майор Юрий Стасевич погиб при штурме Бреславля. Погибли в ополчении, обороняя Москву, и двое старых рабочих, живших в этом доме, а сын Егора Стегаева, линотиписта, убитого возле Сходни, Андрей Стегаев, ставший художником, приходил после войны зарисовать дом, в котором жила его семья когда-то...

Вахит Гафуров с женой и двумя сыновьями — студентами геологоразведочного и педагогического институтов — давно получил квартиру в новом районе, у Гафуровых есть уже внуки, и одного в честь деда назвали Вахитом. На подвал, в котором жили Гафуровы, обрушились кирпичи верхних этажей, долго стояла красноватая пыль, пока бульдозеры сгребали обломки, а в стороне уже начали выводить фундамент.

Через год или немного побольше подъедут к новому дому грузовые такси, а по сданной в архив старой домовой книге доищется один из исследователей, на каком месте стоял некогда дом, в котором бывали и Рахманинов, и Шаляпин, и историк Ключевский...

В грузовых такси вместе с другими вещами будут и детские колясочки, но к тому времени, когда вырастут те, для кого эти колясочки предназначены, новая домовая книга будет уже заполнена, и какая-нибудь девчушка с красным бантом в косичке, увидев человека с записной книжкой в руке — историка жизни Москвы или просто писателя, захотевшего написать московский рассказ,— спросит:

— Дядя, вы кого ищете?

— Может быть, тебя,— ответит он.— Наверно, именно тебя.

ГЕЛИОС

Зазвонил телефон, но Люба подошла не сразу, а подойдя, еще подождала: она боялась услышать женский, уже знакомый и страшивший ее голос. Но когда сняла трубку, в ней были только гудки, и Люба,

волнуясь, глубоко вздохнула, а сердце стало биться чаще. Минуту спустя телефон снова зазвонил, на этот раз она сразу взяла трубку и, несколько понизив голос, чтобы изменить его, сказала:

— Слушаю.

— Игоря Порфирьевича, пожалуйста,— попросил женский голос.

— Игоря Порфирьевича нет дома,— сказала Люба, а помедлив, добавила: — Он уехал.

— Уехал? — удивился женский голос.— Куда же он уехал?

— В Киев.

А в Киеве жила бабушка, Серафима Петровна.

— Как же так? — сказала недоуменно, а может быть, тревожась та, которой был нужен ее, Любы, отец.— Как же он мог уехать, ведь мы договорились, что я буду звонить ему вечером?

— Взял и уехал,— сказала Люба уже дерзко, но лицо ее горело, и она чувствовала, что оно горит.

Телефон позвонил еще несколько раз, но Люба трубки не подняла, щурясь, представляла себе, как волнуется, наверно, та, которой нужен отец, но он уехал... уехал в Киев.

Она на цыпочках отошла от телефона, словно женщина могла услышать ее шаги, села за свой стол, тетрадь с записями глаголов была открыта, но Люба смотрела поверх тетради, смотрела в свою двенадцатилетнюю жизнь, смотрела со страхом: как будет дальше и неужели эта женщина с ее хоть и вежливым, стеснительным голосом войдет в их дом, станет отцу женой, станет делать для него все то, что делает сейчас она, дочь, и уже ненужной окажется ее забота о нем?

Четыре года назад Игорь Порфирьевич потерял жену, дочери было тогда всего восемь лет, она лишь год назад пошла в школу, и Игорь Порфирьевич с такой душевной растерянностью смотрел на ту, которая осталась без руки матери... и что́ он, инженер-строитель Остафьев, занятый с утра нередко до позднего вечера, сможет дать дочери от своего уплотненного, беспокойного дня?

Первое время, когда окружающие еще горячо принимают к сердцу чужое горе, приходила его двоюродная

сестра Катя, помогала разрядить густую печаль в их доме, помогала Любе готовить уроки. Потом Катя, работавшая геологом, уехала в очередную экспедицию, и одинокие дни пошли один за другим. Любе стало уже девять лет, и, как это бывает с подростками, узнавшими первые испытания, она сразу как бы выросла и с той подсознательной женской верностью, которая рано просыпается в девочках, приняла на себя заботу об отце, словно он больше нее нуждался теперь в помощи. Но вместе с подсознательной женской верностью появилось и еще нечто вначале только умилявшее Игоря Порфирьевича, а затем начавшее и тревожить: это нечто — была ревность дочери, ревность еще более сильная, чем свойственная женщине...

Беспомощность и одинокость ускорили в нем потребность все же устроить как-нибудь жизнь, чтобы было кому позаботиться о дочери да и вести его дом. На службе к нему отнеслась с глубоким сочувствием, однако робким и ненавязчивым, молодая женщина, Елизавета Андреевна Лямина, работавшая в проектном бюро, его тоскующее сердце потянулось к ней. Однако Елизавета Андреевна как бы страшилась, что лишь случившаяся беда приблизила его, потом все стало крепнуть, хотя так туманно было, как сложится дальше?

Однажды Игорь Порфирьевич принес домой торт, сказал дочери:

— Сегодня к нам придет в гости одна моя сослуживица, ее зовут Елизавета Андреевна, это очень хороший человек. Накроешь на стол, будем пить чай.

Уже почти четыре года Люба делала все то, чему в свою пору научила мать: накрывала на стол, заваривала чай, по утрам, поглядывая на кухонные часы, варила яйца, непременно «в мешочке», как любил отец, она заменяла теперь мать, была хозяйкой в доме, а ее заботой был отец со всеми теми мужскими слабостями, которые уже научилась понимать... Она почему-то сразу почувствовала неприязнь к той молодой, красивой женщине, которая пришла к ним в гости, молча выпила чашку чая и ушла в свою комнату, а отец еще долго сидел с этой женщиной, потом крикнул:

— Люба, простись с Елизаветой Андреевной!

Она вышла, сказала коротко: «До свиданья», равно-

душно дала поцеловать себя, и Елизавета Андреевна даже не решилась поцеловать ее вторично.

— Это очень хороший человек,— сказал отец, когда та ушла.— Я хотел бы, чтобы вы подружились.— Но дочь молчала.— Разве она не понравилась тебе?

Люба снова ничего не ответила, и он не повторил вопроса. Но что-то возникло между ними, пугавшее Игоря Порфирьевича недетской зрелостью, а дальше ему стало казаться, что дочь испытывает его: неужели быстро забыл он мать и неужели еще кто-нибудь может быть нужен ему, когда она, дочь, со своей заботой рядом?

Но и Елизавета Андреевна, тоже многое чувствуя, не хотела вторгаться в хрупкую, настороженную жизнь девочки... но, может быть, осторожным сочувствием найдешь путь к этому маленькому сердцу?

Выбрав время и условившись с Игорем Порфирьевичем, она раз как бы случайно пришла в его отсутствие.

— Ну вот, посидим вдвоем, пока вернется папа,— сказала она.

— Я готовлю уроки.

— Хочешь, помогу тебе?

— Я всегда сама готовлю уроки.

— Но если бы жива была твоя мама, она, наверно, помогла бы тебе?

— У меня нет теперь мамы,— ответила Люба коротко и, наклонившись над учебником, стала быстро листать его.

Елизавета Андреевна посидела еще несколько минут, сказала: «Пожалуй, папы я не дождусь»,— и по тому, как девочка быстро взглянула на нее, было ясно, что она томится.

С работы они возвращались обычно в одно время, и Игорь Порфирьевич провожал до дому ту, с которой уже многое было связано по чувству. Они шли сначала по Комсомольскому проспекту, где находилось их управление, переходили Садовую, дальше была Метростроевская с остоженскими и пречистенскими переулками некогда, и по дороге грустно говорили о том, что все так непросто в человеческой жизни...

— У Любы прекрасное, доброе сердечко, сейчас, конечно, пораненное,— сказал Игорь Порфирьевич.— Попробуем, однако... попробуем.

И несколько дней спустя Игорь Порфирьевич сказал дочери:

— У нас с тобой на завтра билеты в новый цирк. Может быть, будет выступать Олег Попов.

Он сказал это оживленно, но Люба спросила:

— Мы вдвоем пойдем, папа?

— Конечно,— поспешно ответил он.

И на другой день Люба, тесно прижавшись к отцу, сидела в поезде метро, и Игорь Порфирьевич искоса поглядывал на маленькую руку, лежавшую на его предплечье, а в большом округлом фойе цирка им встретилась Елизавета Андреевна.

— Какая неожиданность! — сказал отец, однако неверным голосом.

Место Елизаветы Андреевны тоже неожиданно оказалось рядом с местом отца. Люба сразу как-то отъединилась, даже не смеялась, когда выступал Олег Попов со своей собакой, и ничего-то не получилось из того, что задумал Игорь Порфирьевич...

А на обратном пути Елизавета Андреевна вышла на станции «Парк культуры», и отец лишь смутно посмотрел ей вслед.

— Не так-то это просто, но все же, может быть, все же,— сказал он несколько дней спустя, когда они прощались в слабо освещенном подъезде ее дома.

Постепенно наступила весна, сначала на улицах продавали подснежники, потом гиацинты, и Игорь Порфирьевич, вернувшись однажды домой, когда Люба была еще в школе, увидел на ее столе рядом с фотографией матери веточку гиацинта, а рядом лежала раскрытая общая тетрадь, которую она забыла спрятать, и он прочел: «Скоро будут продавать ландыши. Мама больше всего любила ландыши».

В тот вечер, когда Люба сказала по телефону, что отец уехал в Киев, Игорь Порфирьевич, вернувшись, спросил:

— Никто не звонил?

— Никто,— ответила она.

— И Елизавета Андреевна не звонила?

— Не знаю.

— Как это — не знаешь?

— Звонила какая-то женщина.

— Любочка,— сказал он позднее, когда сели за ве-

черний стол,— за что ты не любишь Елизавету Андреевну? Она так хорошо относится к тебе... и что бы ты сказала, если бы в мой отпуск, а у тебя будут каникулы, мы втроем поехали бы куда-нибудь?

— Поезжай, папа,— сказала она.— А меня отправь к бабушке в Киев. Бабушка давно хочет, чтобы я приехала к ней.

— Что же, неужели мне и вправду нужно уехать в Киев? — спросил Игорь Порфирьевич, проводив в очередной раз Елизавету Андреевну, все в том же подъезде ее дома.

— Нам с вами этого не решить,— сказала она.

— А кто же решит это?

— Может быть, время.

Было еще светло, когда Игорь Порфирьевич вернулся домой, скоро у дочери последние экзамены, а там и его отпуск. На Арбатской площади он купил ландыши, еще первые, еще пахнущие недавними проталинами, принес их домой, отдал дочери, и она поставила их в стакан с водой рядом с фотографией матери...

— Давай пить чай, папа,— сказала Люба.

Она прошла в кухню,— чайник уже вскипел, и Люба достала стеклянную баночку с чаем, сполоснула чайник кипятком, засыпала две ложечки, возле прибора отца лежало ситечко, он не любил, чтобы в рот попадали чаинки, и она подождала, пока он нальет в свой стакан, а серебряный подстаканник они с матерью подарили ему в день его рождения.

— Папа, не читай газету за столом,— сказала она голосом матери, но вместе с тем как-то тревожно, как-то мучаясь смотрела на него с болью и, казалось, с виноватостью...

И Игорь Порфирьевич покорно отложил газету, стал пить чай из стакана в своем любимом подстаканнике, а чай Люба заварила, какой он любил, крепкий до красноты.

— Ты вырастешь, Любочка,— сказал он, помешивая ложкой в стакане и глядя куда-то поверх,— а я состарюсь постепенно... у тебя начнется своя жизнь, не век же ты будешь со мной. И разве помешает тебе как-нибудь, если бы Елизавета Андреевна разделила с тобой заботу обо мне... Подумай об этом, не лишай меня этого.

Она сидела, опустив глаза, и Игорь Порфирьевич придвинулся к ней и поцеловал влажный от волнения лоб.

— Ну, как же, Любочка? — спросил он минуту спустя.— Говорят, время самый лучший лекарь на свете, поверим и мы с тобой в него.

Но она только робко взглянула на него, и он ощутил в этой робости ту нежную слабость, ту несмелую надежду, что, может быть, время поистине лучший лекарь и будет еще другой вечерний чай, семейный чай, тихий чай примирения, и она стала еще дороже ему своим страхом за него, своим детским страхом, но по силе чувства женским уже. . .

— Поедем летом в Гурзуф,— сказал он,— в Гурзуфе знаешь как хорошо. . . море совсем рядом с домом, в котором проведем лето, и такое синее, такая ширь. . . полежим на песке, и солнце, знаешь, какое там солнце, его сам бог Гелиос держит в руке, как цветок.

И морской ветер с его соленой свежестью дохнул откуда-то, может быть, через открытую форточку, а может быть, был уже в них самих. . .

— Эх, доченька, доченька. . . — сказал Игорь Порфирьевич и, заглянув в ее мокрые глаза, прочел смятенное обещание в ответном взгляде.

БАБЬЕ ЛЕТО

Потом непогоду убрало, тучи, тяжело свисавшие над понурыми полями, погнало, может быть, на Урал, и встало бабье лето, возник золотой день сентября, золотой сверху донизу, к полудню уже чуть разомлевший, неизвестно откуда появилась бабочка, и даже большая стрекоза с перламутрово-прозрачными крылышками присела на желтый мохнатый цветок рудбекии, решив, наверно, погреть на солнце косточки.

Мать сказала:

— Отнеси цветочков Антонине Леонидовне, Витенька. . . сегодня день ее рождения, отнеси ей цветочков.

Ксения Владимировна сорвала в просыхающем саду

несколько георгин и флоксов, добавила для красоты букета ветку рябины с алыми, созревающими ягодами, и та, которую звали Витенька, а по-взрослому несколько горделиво — Виктория, понесла букет Антонине Леонидовне Свешниковой, старому преподавателю Высшей партийной школы на покое.

Она шла с рдеющей веткой рябины между георгин и флоксов, шла в своих красных туфельках, с двумя цвета пшеницы спелыми косичками, довольная, что мать поручила ей отнести в дом-интернат старых коммунистов цветы, и сначала тянулась золотая аллея с золотыми деревьями по сторонам, потом ярко освещенное вернувшимся после долгого отсутствия солнцем лежало поле впереди, а интернат был на высоком берегу темной, быстро текущей речки, похожий на за́мок своей остроконечной кровлей и каменным зубчатым забором.

С Антониной Леонидовной Свешниковой мать познакомилась несколько лет назад в одном из ялтинских санаториев. Сначала они были лишь соседками по столику в столовой, потом сдружились, и когда Антонина Леонидовна поселилась уже на все свои старые годы в интернате поблизости, Ксению Владимировну, работавшую концертмейстером в Московской консерватории, приглашали не раз в интернат поиграть на рояле в кругу седых голов слушателей.

И вот она, Витенька, добросовестно несет букет с веткой рябины между георгин и флоксов, немного гордая поручением и немного робеющая, что по дороге забудет, какие слова мать велела сказать.

Золото осеннего дня легло и на парк интерната, а на широкой террасе сидели две старые женщины и один высокий седой мужчина с длинным красноватым лицом, некогда участник гражданской войны, некогда комбриг Василий Дементьевич Савенко, писавший ныне воспоминания о боевой своей жизни. Рядом с Антониной Леонидовной, державшей книгу в руках, однако не читавшей, а смотревшей поверх страниц, покачивалась в качалке Ядвига Феликсовна Страшинская, прежде преподававшая в одной из военных академий английский язык.

— Какое это чудо — бабье лето,— сказала Антонина Леонидовна, глядя на ожившие после затяжных дождей газоны,— оно еще тенетником в народе называется. . . поглядите, сколько паутины летает.

И вправду, летала паутина, летал тенетник, который трудолюбиво и искусно сплетает паучок во славу золотой, сухой осени и, значит, и во славу того, что теплые осенние дни пробуждают даже в старой душе, а паутинка иногда шелковисто пристает к лицу...

И, может быть, обе женщины, а вместе с ними и Савенко — по-своему, по-мужски,— подумали о том вечном брожении, которое никогда не оставляет человека...

Они посидели в легком бездумье, которого так мало выпадало на их долю, Антонина Леонидовна, крупная, полная, с розовым пробором в седых волосах, и сухонькая, с острым личиком, даже в старости элегантная со своей польской кровью Ядвига Феликсовна. А Савенко в свитере, закрывавшем по горло его все более и более начинавшее зябнуть тело, закинувшись в плетеное кресло и вытянув длинные кавалерийские ноги, вспоминал, может быть, далекую осень поры гражданской войны где-нибудь в Сальских степях, порой читал очередную главу из своих воспоминаний, и похожей на былину казалась гражданская война...

Ядвига Феликсовна, у которой сохранилось острое зрение, увидела еще издали в конце аллеи маленькую девочку с букетом цветов.

— По-моему, это ваша знакомая, Антонина Леонидовна.

И Антонина Леонидовна, надев очки и вглядевшись, воскликнула минуту спустя:

— Витенька, прелесть моя!

А Витенька, забывшая все же, что́ ей наказали передать, сказала, вся порозовев:

— Мама посылает вам цветы с поздравлением вашего рождения!

— Подумать только, мама помнит день моего рождения!

И Антонина Леонидовна растроганно притянула девочку к себе и поцеловала в тугую щечку, а Ядвига Феликсовна сказала:

— Какая учтивость! Просто завидую вам, что у вас есть такая знакомая — такая Витенька.

Она тоже хотела было поцеловать девочку, но та жалась к Антонине Леонидовне, которую знала давно,

а эту сухонькую, чуть пахнущую духами видела только однажды.

— Между прочим, у меня такая же правнучка есть, — сказал Савенко, — живет в Красноярске. А может быть, заглянет еще как-нибудь к нам мать этой принцессы, в прошлый раз она так хорошо играла на рояле.

— Попросим Ксению Владимировну, попросим! А сейчас пойдем, деточка, поставим цветы в воду, угощу тебя грушей... мне хорошие груши привезли,— сказала Антонина Леонидовна.

Груши привез знакомый журналист Яшвин, приезжавший однажды в интернат прочитать свои воспоминания старого газетчика. Он тоже не забыл день рождения Антонины Леонидовны, привез цветов и фруктов, и в ее комнате нежно стоял праздник.

Антонина Леонидовна вымыла большую, спелую грушу, и девочка принялась есть, вытирая тылом ладони сок на подбородке.

— Передай маме большую мою благодарность,— сказала Антонина Леонидовна.— И тебе тоже благодарность, что не пожалела ножек, пришла ко мне. Ты этого не поймешь, конечно, но именно ради таких, как ты, я старалась всю свою жизнь.

Антонина Леонидовна говорила это для себя, а девочка ела грушу, старалась, чтобы сок не капнул на ее нарядное платье, потом сказала:

— Спасибо за грушу, Антонина Леонидовна. Я скажу маме, чтобы она пришла поиграть... мама дома часто играет, а живем мы теперь одни.

— Передай... не забудь, доченька! — сказала Антонина Леонидовна поспешно, чтобы девочка не стала объяснять, почему они живут теперь одни...

Она вытерла ей бумажной салфеткой подбородок, девочка из вежливости посидела еще немного, потом сказала:

— Теперь я пойду.

— Ступай, ступай, Витенька... только мост через реку осторожно переходи, а то иногда мотоциклисты выскакивают.

— Я около перил перехожу. А что вы будете делать сегодня, Антонина Леонидовна? — спросила девочка, по-

лагая, наверно, что день рождения должен быть праздником до вечера.

— Что я буду делать? — задумалась Антонина Леонидовна.— Почитаю книгу, потом посижу на скамейке в парке, стану думать о том, какая хорошая девочка побывала у меня сегодня, принесла цветы, поздравила. А что еще нужно человеку? Ты своим приходом принесла мой праздник.

— А у меня день рождения бывает только зимой. В прошлом году мама подарила мне лыжи, мы с ней в Измайловском парке катались, а прежде с папой каталась.

И Антонина Леонидовна снова не дала ей договорить:

— Я ко дню твоего рождения свяжу тебе белую лыжную шапочку, а твои щечки на морозе будут красненькими, станешь как снегирь. Пойдем, Витенька, провожу тебя до ворот, а дальше не смогу, плохие у меня стали ноги.

Они вышли с бокового крыльца, пошли по аллее, золотые пятна шевелились на ней, и по временам деревья, клонясь, расчищали солнечную дорожку.

— Ты на мосту сначала в обе стороны погляди,— напомнила Антонина Леонидовна,— а то еще выскочит на мотоцикле какой-нибудь шалый, я их боюсь.

И она постояла еще у ворот, а девочка шла в своих красненьких туфельках, с косичками, похожими на витые хлебцы, и со всем тем, что́ принесла с собой и от чего даже усталые легкие с их эмфиземой словно расправились.

День тем временем разгорелся, что-то туго жужжащее пронеслось вдруг мимо самого лица, а на террасе еще сидели Ядвига Феликсовна и Савенко.

— Такие-то дела, Василий Дементьевич,— сказала Антонина Васильевна, садясь в кресло-качалку.— Такие-то дела,— повторила она, слегка покачиваясь в ней,— вот встретишься с тем, чему, собственно, и отдала свою жизнь, все незадачи и трудности уходят в сторону, а их хватало. Да ведь и вы, если поразобраться, именно за это воевали.

— Что ж,— согласился Савенко, подумав,— пожалуй. . .

Потом все трое сидели молча, а серебряно ожившие паутины носило по временам, как маленькие ковры-самолеты, тот скромный, предвещающий сухую осень тенетник, сплетенный умельцем, понимающим, как нужно человеку тепло хотя бы и убывающих понемногу его дней.

ИЛИАДА

И вот пошла гулять старость, стала шнырять по домам многих близких или друзей, с которыми прожил свою жизнь, в жестокой планомерности одних покалечила, а других и совсем унесла, и когда Ивану Платоновичу одна девушка уступила место в вагоне метро, но он поблагодарил и остался стоять, держась за поручень, то понял, что в глазах этой девушки он уже старик, хотя еще и не сгорбленный и высокомерный в своей несдающейся мужской гордости. . .

Открытие это было хоть и не внезапное, однако не ахти какое радостное,— в общем, пора переходить на зимнюю форму одежды, и если за последние годы была в его жизни переменная облачность, то теперь, пожалуй, и совсем затянуло.

Вернувшись домой, он мысленно обратился к тому, что́ уже сделано и что́ пропущено и что хоть и сделано, но не так, как нужно: это несколько походило, как если бы стал перебирать нанизанные на нитку сушеные грибы, а потом узнавать по сморщенной шляпке, где и когда нашел этот гриб, и хотя это было лишь воображение, все же наплывали в памяти дни осени, тишина леса да и многое другое из прошлого. . .

Был он некогда молод, Иван Платонович Кораблев, любил свою науку — историю, однако не совсем, видимо, знал ее законы со сменой нравов и обычаев, потому что совсем недавно, когда сын Всеволод зашел к нему, Иван Платонович, критически оглядев его, спросил сам себя: неужели это его сын — несколько долговязый блондин с гривой, оканчивающейся полукругом, и в какой-то распашонке с рисунками, похожими на скальные изображения?

— Ангел,— сказал Иван Платонович безжалостно,— ангел. . . правда, уцененный, но все же — ангел.

— Новый век, папа,— ответил сын снисходительно.

И получалось так, что, может быть, и поотстал он, Иван Платонович, пропустил в своем всеведении многие исторические перемены в жизни. . . Однако Всеволод хорошо учился в Художественном институте, и его картины на выставке молодых понравились Ивану Платоновичу некоей лирической задушевностью.

— Ладно, ангел,— сказал он мирно,— не будем дискутировать, особенно в воскресный день, когда тебе позарез нужны десять рублей, и если я ошибаюсь, можешь назвать меня плохим историком.

— Нет, ты не ошибаешься, папа,— ответил сын,— но я скоро получу за одну проданную картину, тогда верну с прежним своим долгом.

— Это что же — также новый век? — осведомился Иван Платонович.

— Но я все-таки немного зарабатываю, папа,— сказал Всеволод с достоинством.

И хотя сын и закатился куда-то на весь воскресный день, наверно с какой-нибудь тоже ангелоподобной в брючках, Иван Платонович выговорил себе:

«Историк Кораблев, не пропустите в вашем критическом рвении некоторые страницы истории: мода — это еще не нравы, и художник в расписной распашонке — это не петиметр восемнадцатого столетия. Правда, Льву Толстому, может быть, и не понравилась бы такая распашонка, но ведь и толстовская блуза тоже вызывала в свое время некоторое удивление у многих, и поддевки с сапогами, которые носили весьма прославленные писатели, тоже вызывали удивление».

Размышляя так, Иван Платонович как бы перебирал на нитке сушеный гриб за грибом, вспомнил дни осени, когда, испытанный грибник, бродил по лесу с корзинкой и в старой ковбойской шляпе, Всеволоду было тогда всего пять лет, и пока он не начал ходить в школу, можно было подольше пожить на даче и подышать воздухом, настоянным на опавших листьях с их лекарственными запахами.

— Жалко, Севка насчет грибов слаб, ленится собирать их,— сказал он жене как-то.

— Зато он любит рисовать. . . и тебя изобразил в грибном твоем походе.

Правда, на рисунке Севки больше всего была похо-

жа ковбойская шляпа, но все же это был он, отец-грибник.

И вот пятилетнему Севке двадцать девять лет, а жены уже нет... она давно ушла со своими материнскими руками и материнской душой, но это уже не страницы истории хотя бы собственной жизни, а кусок его сердца, все еще сочащегося кровью.

Над столом Ивана Платоновича висел написанный сыном «Портрет матери», Всеволод сумел хорошо передать ее образ, и она всегда была рядом, внимала ему и поддерживала в минуты слабости духа.

Однажды, когда Иван Платонович уже с привычной сноровкой готовил обед, сын вышел в кухню, постоял у плиты, а Иван Платонович помешивал в кастрюльке.

— Без женской руки плохо, Севка,— сказал он.— Не пора ли тебе подумать об этом?

— Обойдусь пока... не хочу никому портить жизнь.

— Почему же портить? Можно ведь и наоборот — обогатить друг друга. Я, например, всю жизнь любил только одного человека — твою мать, да и она меня одного любила... и такими богачами прожили мы с ней всю жизнь, такими богачами!

Сын ничего не ответил, задумался, его длинные волосы на этот раз не показались Ивану Платоновичу похожими на женские, что-то он продешевил, назвав как-то сына уцененным ангелом, что-то пропустил, и так не по-отцовски поверхностно. Они больше ничего не сказали друг другу, а грибной суп, который Иван Платонович варил, напомнил ему один уже столь далекий денек, когда, закончив свою монографию, над которой работал не один год, и не сказав об этом жене, Иван Платонович взял корзиночку и в душевной истоме, какая бывает всегда, когда завершился еще один цикл, побрел по лесной просеке. Корзиночку он захватил с собой лишь по привычке, ничего не искал, но на опушке березовой рощи, почти фосфоресцировавшей своими стволами, увидел вдруг могучий боровик. Иван Платонович, скрывая от самого себя свое торжество, раздвинул траву вокруг, срезал гриб, ножку которого едва могла охватить согнутая ладонь, и понес его, держа в вытянутой руке, как трофей.

— Ну-ка, взгляни на грибок,— сказал он скромно, ждал, когда жена воскликнет от восхищения, и лишь

тогда признался, что закончил сегодня свой труд, а гриб достался ему как награда.

Впоследствии он получил за свою монографию премию, а боровик жена не нанизала на нитку вместе с другими грибами, а положила в коробку из-под серебряного подстаканника, и большой сушеный гриб лежал в голубой атласной выемке.

— Никогда не выкидывай его, а тем более не вздумай кинуть как-нибудь в суп,— наказал он сыну как-то.— Уважь блажь отца... видишь, почти в рифму получилось.

— Я не варвар,— ответил сын,— я — художник.

Всеволод продолжал стоять у плиты, как-то странно смотрел на него, даже обошел с другой стороны, чтобы приглядеться.

— Буду писать твой портрет, папа,— сказал он вдруг.— Я думал, у тебя лицо попроще, а оно, оказывается, посложнее.

И день спустя он начал писать его портрет, всматривался в лицо отца, по временам поднимал брови или щурился, снова наносил мазок, работы, однако, пока не показывал, сразу же отодвигал мольберт в сторону, и к «Портрету матери» должен был присоединиться вскоре и «Портрет отца»...

А наутро после того воскресного дня, когда, заняв десять рублей, Всеволод закатился куда-то и Иван Платонович представлял себе его ангелоподобную спутницу в брючках, сын поставил в угол дивана написанный им накануне этюд — тихий затон с темной прудовой водой.

— Это ты где же писал? — спросил Иван Платонович.

— Нашел одно местечко неподалеку от Москвы... там еще одно чудо сохранилось — водяная мельница. Правда, она не действует, но я изображу ее в действии... художник должен уметь оживить неподвижность.

— Историк тоже должен уметь оживить неподвижность, — отозвался Иван Платонович, подумав. — Факты — это еще не история... прозрение историка — вот что такое история.

А позднее он поговорил и с самим собой, поговорил о том, что боровик, лежащий в углублении для серебряного подстаканника, повел за собой целую цепочку,

однако не сушеных грибов, а воспоминаний, напомнил, что суть не в том, носит ли сын кудри и распашонку с наскальными изображениями, а в том, что он написал «Портрет матери», как пишет ныне «Портрет отца»...

— Итак,— произнес Иван Платонович, но уже вслух, словно перед ним была аудитория,— итак, факты — это еще не история, прозрение историка — вот что такое история... а применительно к личной жизни — это проверить для себя, что ты хотел сделать, но не успел, в чем ошибся, что растерял, что не нашел, хотя и искал, но что все-таки — и нашел. Все это в совокупности — твоя Илиада, твоя неповторимая Илиада.

КОЛЕЧКО

В Москве было холодно, шел тусклый дождь. Приехавшие с чемоданами в руке или налегке торопились: видимо, одновременно пришли дальний и подмосковный поезда.

С дальним поездом прибыл и он, Тимофей Кузьмич Коломийцев, прибыл без приглашения, просто невмоготу стало жить одному в Ельце. Он не известил сына Виталия о своем приезде, представлял, как скажет оживленно: «Хотел сделать тебе сюрприз, Витюша»,— так и поступил, добрался в метро до неведомой улицы Сеславина, а станция метро, до которой доехал, называлась «Багратионовской».

Сын несколько лет назад окончил радиотехнический институт, женился, прислал как-то фотографию, на которой снят был с женой, и, должно быть, красивой была она, Антонина, если судить по высокой прическе и полуобнаженной руке, лежавшей на плече мужа.

Тимофей Кузьмич нашел подъезд, поднялся в лифте на седьмой этаж, нашел нужную ему двести семьдесят третью квартиру.

— Наверно, вы и есть Антонина? — спросил он открывшую дверь женщину, однако не сразу впустившую его.— А я отец Витюши.

Он вошел в комнату с широким окном, в котором видно было большое серое небо.

— Очень рада,— сказала женщина сдержанно.— Только Витя ведь на работе, он раньше семи вечера никогда не возвращается.

— Я и не рассчитывал застать его... днем делами буду занят,— сказал Тимофей Кузьмич.— Чемоданчик, если позволите, у вас пока оставлю, а корзиночку захвачу.

— Жалко, что так получается, но я тоже тороплюсь на работу... я в Институте красоты работаю.

— Красота людям нужна,— сказал совсем ни к чему Тимофей Кузьмич.— Я свой приезд хотел к субботе приурочить, да с билетами трудности. Значит, в семь часов буду как штык,— и это тоже сказал совсем ни к чему.

Он оставил чемоданчик, захватил круглую корзиночку и отправился по делам, хотя никаких дел у него не было, но одно нужно было все же выполнить.

Свыше десяти лет назад жене пришлось уехать в Елец, где тяжело болел ее отец, оставшийся к старости совсем одиноким, и не могла она, Варя, не помочь больному отцу. А некоторое время спустя перебрался в Елец и он, Тимофей Кузьмич, поступил на работу в типографию, где печаталась областная газета, а там затянуло, и остался он на постоянно в Ельце.

В свое время, еще до их женитьбы, Варя сказала ему:

— У меня, Тимоша, есть одна обязанность: после моей покойной сестры осталась дочь Клавдия, сестра завещала мне беречь ее, будем помогать ей по возможности.

Клавдия рано, еще девятнадцати лет, вышла замуж за электрика Вострова, время от времени писала в Елец письма, сначала все шло как будто по-хорошему, а потом можно было понять, что своего счастья Клавдия не нашла, муж выпивает и безобразничает, так что только одни обиды и слезы.

После смерти отца жены остался в Ельце его домик, и вместо московской жизни пошла теперь елецкая жизнь, а газета «Красное знамя», в типографии которой работал Тимофей Ильич, считалась хорошей.

Но три года назад стала побаливать и жена, первое время еще перемогалась, работала в кружевной артели, а потом пошло совсем плохо, и в больнице, куда поло-

жили Варю, врач сказал как-то, участливо глядя на Тимофея Кузьмича сквозь очки:

— Порадовать вас, к сожалению, ничем не могу.

И Тимофей Кузьмич узнал позднее, что жить Варе осталось недолго, операцию делать уже поздно, все распространилось внутри.

Оставшись один, он написал директору типографии, в которой прежде работал, что хотел бы вернуться в Москву, и директор выразил согласие принять обратно на работу хорошего линотиписта. Однако не так-то просто вернуться в Москву, с пропиской строго, и разве только если сын приютит у себя на время, а дальше можно поискать кого-нибудь, с кем обменяться жильем: некоторые ищут тишину наместо столичного шума.

И Антонина, может быть, почувствовала что-то, отчего сразу забеспокоилась, но он объяснил — приехал только по делам, а в чемоданчике, который оставил, как и в корзиночке, были яблоки из того задонского царства, которое всегда славилось своим белым наливом и антоновкой. . .

Он доехал в метро до Комсомольской площади, а Клавдия жила на Новорязанской улице, где ее муж работал в троллейбусном парке.

Во дворе большого дома сушилось на веревке белье, какая-то женщина ощупывала, просохли ли простыни, и Тимофей Кузьмич еще издали узнал Клавдию. Он подошел, положил ей сзади руку на плечо, Клавдия испуганно оглянулась, потом воскликнула: «Тимофей Кузьмич. . . боже мой!» — и, привстав на цыпочки, обняла его за шею и заплакала.

Клавдия была дома одна, ее смена начиналась в три часа, и они сели в ее комнате.

— Так я рада вам, Тимофей Кузьмич, так рада. . . вы для меня всегда как родной были, и жалею я вас с вашей одинокостью, а другой такой, как тетя Варя, не найдешь.

— Обо мне — ладно, — сказал он. — У тебя как?

— За последнее время совсем плохо, пьет он, Николай, и на службе ему два раза предупреждение было. . . а я для него — хоть бы и не было меня совсем. Я уйду от него, хоть на край света, но уйду, это я твердо для себя решила!

Тимофей Кузьмич страдальчески покряхтывал, и то, зачем приехал в Москву, как-то отошло вдруг в сторону, стало второстепенным в сравнении с другой задачей.

— Куда ты на край света пойдешь? — сказал он.— Куда ты на край света пойдешь?

Клавдия глядела перед собой, жидкая прядка волос лежала на ее щеке.

— Тимофей Кузьмич, можно я вам одну вещь скажу? — спросила она робко.— Только вы по-хорошему поймите меня, ради бога... была у меня одна думка: трудно вам одному, без тети Вари, а если ничего другого не имеете в виду, пожила бы я возле вас, вы уж ухоженный были бы, не сомневайтесь, я никакой работы не боюсь. А здесь приберешь — вернется, все пораскидает, будто ему мой порядок поперек горла, и никакой другой жизни для меня не предвидится.

Она жалко ждала, что он ответит, но теперь и Тимофей Кузьмич смотрел на пол перед собой.

— Я тебя жалею,— сказал он,— но сразу пообещать ничего не могу... у меня другие планы были, так что пока ничего пообещать не могу. Я тебе яблочек привез, белый налив.

Он достал из корзинки большое желтое яблоко, Клавдия рукавом кофточки отерла его, откусила кусочек, а слезы капали на яблоко в ее руке.

— Я в прошлом месяце пятнадцать рублей от вас получила,— сказала она,— спасибо. Только не посылайте мне больше почтой, а лучше как-нибудь при случае. Николай почтовое извещение нашел и так плохо сказал, будто я где-то на стороне прирабатываю, так плохо сказал, что и повторить не могу.

— И не повторяй... Зачем чужую скверну повторять? В общем, ладно, повидал тебя, удостоверился. Мы с тобой лет шесть, наверно, не виделись?

— Больше — восемь,— сказала она, словно вела счет их разлуке.

— Я из Ельца напишу тебе до востребования... твое почтовое отделение какое?

— Двести двадцать восьмое, — ответила она поспешно. — И вот еще какая к вам просьбица, Тимофей Кузьмич... подарила мне в свое время тетя Варя колечко, я его берегу, только на груди приходится носить в ладанке, а увидит — отнимет.

Она вытянула за тесемочку ладанку, и Тимофей Кузьмич подержал в руке колечко с красным камешком.

— Ладно, сберегу... может, и на руке еще носить станешь.

Он поднялся, Клавдия, привстав на цыпочки, снова обняла его за шею, накололась о подбородок, а побриться после дороги он не успел.

И вот снова Москва перед ним, до семи часов вечера еще целая вечность, и Тимофей Кузьмич, доехав в метро до площади Свердлова, свернул вскоре на улицу, где была типография, в которой прежде работал. Он дошел до большого серого здания, над которым плыли тяжелые сизые облака, в бюро пропусков, конечно, сразу же выдадут пропуск, а директор типографии скажет: «Старому полиграфисту привет! — Может быть, добавит: — Поработайте снова у нас». Но Тимофей Кузьмич не зашел в подъезд, где было бюро пропусков, а лишь постоял вдали... что-то еще не осознанное им удерживало его, и он вспоминал намокавшую от слез жидкую прядку волос на щеке Клавдии, а ее слезы капали и на яблоко.

И, постояв в стороне, он повернулся, пошел обратно, зашел по дороге в булочную-кондитерскую, где, стоя за высоким столиком, выпил чашку чая с пирожком, зашел и в парикмахерскую, дождался своей очереди, спешить некуда, до вечера еще много времени. Кепка постепенно стала тяжелой от дождя, но Тимофей Кузьмич шел не торопясь, зашел в кинотеатр, посидел в полутемном фойе, а на экран затем почти и не смотрел, вспомнил, как в вагоне поезда пожилая, с полным добрым лицом проводница Екатерина Гавриловна разрешила ему посидеть в ее служебном отделении, поинтересовалась:

— Надолго в Москву?

— Сына повидать, а дальше как получится.

— А я сегодня же с вечерним обратно, такая наша жизнь на колесах.

И они поговорили еще немного, поезд шел, за Ефремовом была Тула, а наутро — и Москва.

Тимофей Кузьмич пришел к сыну уже в сумерках.

— Дел столько, что в один день и не управиться,— сказал он, целуя сына в щеку.— Ну, что у тебя?

— Работаю помаленьку,— ответил Виталий, но как-то выжидательно: что-то, видимо, беспокоило и его, как Антонину.

— Я по нашим типографским делам... со шрифтами у нас плохо, некоторые гарнитуры совсем сбиты.

— Ты как же теперь справляешься один? — спросил Виталий, когда жена ушла в кухню.

— Справляюсь.

Но о том, что стало невмоготу одному и что, может быть, удастся с обменом жилья как-нибудь, а в типографии, где прежде работал, его ждут,— ничего этого Тимофей Кузьмич не сказал сыну. Он все ждал, что тот поймет, как трудно ему одному, сам предложит перебраться обратно в Москву, первое время можно будет у него пожить, но сын явно дожидался, когда Антонина позовет обедать, и они сели за стол.

— Не предупредил о приезде, и выпить нам с тобой нечего.

— Еще выпьем. Приезжай в Елец как-нибудь рыбу половить, в Сосне окуней много... ты рыбную ловлю когда-то любил.

— Забросил.

И как-то совсем пусто стало на миг, словно не только рыбную ловлю, но еще и многое другое забросил сын.

— Помогает тебе кто-нибудь? — спросил Виталий.

— Мир не без добрых людей,— отозвался Тимофей Кузьмич уклончиво.

И они посидели минуту в молчании.

— Ты когда обратно?

— Завтра уеду, у меня командировка всего на два дня. Нужно еще в Комитет по делам полиграфии заявиться.

— Может, успеешь заглянуть еще разок... я тогда пораньше вернулся бы.

— Днем в бегах буду, а поезд в восемь пятьдесят вечера уходит.

Но он уехал не с завтрашним поездом, а с сегодняшним. Поезд уже стоял, готовый к отходу, и Тимофей Кузьмич поспешно прошел по перрону, нашел вагон номер тринадцать, а у ступенек вагона стояла знакомая проводница Екатерина Гавриловна.

— Я билета купить не успел,— сказал Тимофей Кузьмич.

— Садитесь пока в мое отделение, свободные места будут, по дороге оформлю.

Он сел в ее служебное отделение, полчаса спустя поезд шел, Екатерина Гавриловна оформила билет, кипятильник уже грелся, и погодя они вместе пили чай.

— Повидали сына?

— Как же... он хорошо живет, инженер-радиотехник, и квартиру в новом районе получили с женой. Приглашает в Москву переехать, только вряд ли получится.

А за вторым стаканом чая Тимофей Кузьмич рассказал и о Клавдии, как плохо иногда получается в жизни, да и безответная она, Клавдия. Правда, была у него мысль переехать обратно в Москву, обменяться с кем-нибудь жилищем, а как тогда с Клавдией будет?

— Вот и думаю к себе ее, может быть, выписать, пускай при мне поживет пока, а там, глядишь, свою жизнь еще устроит, ей тридцать четыре года всего. Так что вот какой оборот с моей задумкой насчет переезда в Москву получился.

— Что ж,— сказала Екатерина Гавриловна,— может, и правильный оборот.

А третий стакан чая выпили молча, уже прошел Серпухов, и темная ночь бежала за окнами.

— Купе ваше четвертое, место пятнадцать, верхняя полка слева,— сказала Екатерина Гавриловна.— Ложитесь, а то не выспитесь.

Тимофей Кузьмич прошел в четвертое купе, взобрался вскоре на полку, позади было то, с чем он ехал в Москву, но взамен пришло другое, может быть, более нужное, и под стук колес можно подумать о городе, в котором останется жить, о Сосне с оливковой ряской на заводях и о том, как переменна в своем ходе жизнь человека.

Он нащупал в жилетном кармане колечко Клавдии и усмехнулся вдруг, вспомнив какую-то старую сказку о волшебном колечке, которое лишь повернуть на пальце — и весь белый свет с его ясными далями перед тобой...

ВОКЗАЛЬНЫЙ БУФЕТ

Мальчик подошел к железнодорожной насыпи, уперся руками в землю, на четвереньках взобрался на откос, посмотрел сначала в одну сторону путей, потом в другую и, осторожно переставляя через рельсы ноги в сношенных рубчатых кедах, привязанных к щиколоткам веревочкой, чтобы не спадали, перешел на другую сторону, сполз по откосу, и теперь можно было спокойно идти к станции.

Станция была большая, с буфетом и рестораном, а мать однажды сказала отцу: «Уходи, ради бога... уходи на все четыре стороны»,— и отец ушел на все четыре стороны, мать поступила мыть посуду в станционном буфете, стала судомойкой, а отец прислал со своих четырех сторон письмо:

«Как устроюсь, начну посылать денежное вспомоществование», но, должно быть, так и не устроился, не стал посылать денежное вспомоществование или забыл, а мать сказала:

— В бутылке оно у него, наше с тобой денежное вспомоществование.

Бутырева стали разыскивать через суд, но куда ни писали, приходил ответ: «Выбыл в неизвестном направлении», и теперь только на ней, Фросе, лежала забота о сыне...

— Я тебя Христом-богом прошу, не приходи ты в буфет, не лазай через пути... ты мне сердце надрываешь, Леня, а оно у меня и без того надорванное. Я тебе еду оставляю, в будущем году, бог даст, в школу пойдешь, тогда все-таки полдня за тобой присмотр будет, а сейчас тарелки из рук валятся, когда подумаю о тебе.

Но он все-таки шел в станционный буфет, доходил до железнодорожной насыпи, Алексей Бутырев, взбирался на откос, оглядывал по обе стороны пути, перешагивал через рельсы, сползал с насыпи, а дальше можно было спокойно идти в своей кепочке с пуговкой, в отцовском пиджаке, который мать хоть и укоротила, и рукава укоротила, но в ширину не укоротишь... а не пойти на станцию — значит, ничего для тебя, никакой радости. И в станционном буфете все уже знали, что явится он,

Алексей Бутырев, явится, засунув руки в обвислые карманы отцовского пиджака, а обвисли они от того, что отец носил в них, и никто не упрекал его, что растравляет он сердце матери, а говорили:

— Вот и Алексей явился! — или чуть насмешливо: — Без тебя и не знаешь, с чего день начать,— и все жалели Фросю Бутыреву с ее плохой семейной жизнью и надорванным сердцем.

Мальчик подошел к перрону станции, поднялся по ступеням лестницы, на перроне, как всегда, сидели на скамейках уезжающие с корзинами или чемоданами, и в зале вокзала тоже сидели уезжающие, а у дверей ресторана швейцар Андрей Прокофьевич в фуражке с золотым галуном говорил одному дяденьке:

— Сколько можно повторять — свободных мест нет,— а дяденька канючил: — Ну, пусти! — и Андрей Прокофьевич повторил: — Сказано — свободных мест нет,— но, увидев мальчика, стал боком, чтобы тот мог пролезть, а дяденьку отстранил и запер дверь в ресторан.

Андрей Прокофьевич был высокий и сумрачный, с сильными, сухими руками, к нему и не подойдешь, но он, Алексей Бутырев, знал, что Андрей Прокофьевич только с виду сумрачный и всегда найдется, о чем им поговорить.

— Опять ты пришествовал,— сказал Андрей Прокофьевич, однако не с укором, а с сочувствием: он понимал, что сидеть дома одному скучно, да и в игры играть одному скучно, и что за игры могут быть у него, на какие деньги покупать игры?

Однажды один из посетителей ресторана забыл коробку с деталями и инструкцией, как построить модель самолета,— должно быть, купил для своего сына, но не донес, и долго, почти целый месяц, Андрей Прокофьевич ждал, что посетитель явится за позабытой коробкой, но он не явился, тогда Андрей Прокофьевич отдал ее Алексею Бутыреву:

— Может быть, летчиком станешь или инженером.

И Алексей Бутырев пообещал, что станет летчиком, два дня не являлся, был занят самолетом, а потом то ли построил, то ли надоело, и он снова был здесь во всей своей видимости, а матери сказал: «Мне без тебя скучно»,— и хоть и надрывается сердце, что ходит по путям,

но если скучно без матери, как за это упрекать его, и Фрося повторила лишь:

— Надрываешь мое сердце!

В станционном буфете кроме Андрея Прокофьевича знали его, Алексея Бутырева, и повариха Прасковья Игнатьевна, и официантки Маруся и Нюра, сажали где-нибудь в сторонке за столик, приносили тарелку борща или щей и котлетку с гарниром, словно заказавшему обед пассажиру, и Прасковья Игнатьевна всегда наливала тарелку до краев, клала в борщ или щи большую ложку сметаны, и гарнира к котлетке обычно было столько, что сиди целый час и ешь. Но Маруся и Нюра всегда торопили:

— Ты поскорей управляйся,— а то явится какой-нибудь ревизор, спросит: «Чей это мальчик?» — тогда поди докладывай о судьбе Фроси Бутыревой, скажет строго: «Непорядки у вас».

И Фрося всегда опасалась:

— Не приваживайте его... я просто Христом-богом прошу — не приваживайте!

Но Прасковья Игнатьевна, широкая и полная, как и полагается поварихе, с красноватым от плиты лицом, сказала ей:

— Авось малый не объест ресторан... а твое положение только глухой не учтет, однако не все люди глухие, слава богу.

И она давала Фросе с собой кастрюльку с оставшимся гарниром, а то и с котлетой или куриной ножкой, говорила сурово: «Мальцу на утро оставишь», — чтобы Фрося не стала возражать, и это была помощь ей, и от Маруси и Нюры, которые усадят сына в станционном ресторане, тоже была помощь, а Андрей Прокофьевич всегда чуть посторонится: «Ныряй, Алексей»,— отстраняя при этом какого-нибудь дяденьку, уверяющего: «Мне только поесть»,— скажет: «Сколько можно повторять — свободных мест нет!»

Алексей Бутырев привычно нырнул в щель, оставленную для него Андреем Прокофьевичем, минуту спустя уже сидел в гардеробной, и Андрей Прокофьевич сказал:

— С самолетом у тебя не получилось, видно... маловат ты еще, начнешь в школу ходить — тогда уж. Я лучше один свисточек подарю, в наследство от моего

папаши остался, он обер-кондуктором был. Обер-кондуктор в прежнее время самым главным человеком в поезде считался, без него поезд с места не стронется. А свисточек этот такой, что свистнешь — сразу к тебе все паровозы сбегутся. Насчет тепловозов не могу обещать, у них другие правила, а паровозы сбегутся, это точно. Станешь дома в железную дорогу играть, а через пути не ходи, мать принесет что поесть. И Прасковья Игнатьевна, и Маруся, и Нюра на этот счет постараются, а отца у тебя словно и не было.

— Он на все четыре стороны ушел,— сказал Алексей Бутырев.

— Такие, как он, только на все четыре стороны и уходят.

Наверно, пригляделся Андрей Прокофьевич к тем, кто будто только поесть в ресторан просятся.

— А может, ты тоже железнодорожником станешь, повадился на железную дорогу являться. Будешь паровозы или электровозы водить.

Андрей Прокофьевич поглядел вдруг на кеды мальчика, привязанные веревочкой к щиколоткам:

— Да, обувка у тебя. . .

Мальчик тоже посмотрел на свои кеды, сказал:

— Это мамкины,— и Андрей Прокофьевич отозвался как-то загадочно:

— Ладно, возьмем на заметку.

У Андрея Прокофьевича сын был тоже железнодорожником, водил дальние поезда: Москва — Хабаровск, или Москва — Владивосток, или Москва — Комсомольск-на-Амуре, и Андрей Прокофьевич смотрел на ноги мальчика в кедах, о чем-то думал, потом сказал:

— Я своему внуку такого же калибра, как ты, обновку одну послать хотел, да ладно, отложу до Октябрьских праздников.

Он полез куда-то за вешалку с одеждой, достал коробку, вынул из нее связанные за шнурки башмаки, немного полюбовался на их глянец, сказал как-то в сторону:

— Ну-ка, померь.

Но мальчик лишь испуганно покосился на башмаки.

— Не надо, Андрей Прокофьевич. . . мамка заругает.

— Ничего не заругает. Померь, тебе говорят.

И мальчик торопливо стал развязывать веревочки,

скинул свои кеды, и как раз такого же калибра, какого был внук, оказался Алексей Бутырев.

— А свои ошметки курице какой-нибудь подложи, пусть несется в них,— сказал Андрей Прокофьевич.

Но мальчик сидел потупившись, его путаные, давно не стриженные льняные волосы свисали с висков и на затылке, и Андрей Прокофьевич сказал еще:

— Франт, а лохматый... ты и не причесываешься, видно, никогда.

— Не, мамка причесывает,— ответил мальчик неуверенно: наверно, не каждый день в своей спешке причесывает она.

— Ну-ка, обожди,— и Андрей Прокофьевич зашел на минуту в залу, вернулся с официанткой Марусей, маленькой и живой, с веселыми черными глазами.

— А... Алексей явился, значит, можно начинать день.

Но сказала она это не насмешливо, а добро.

— Отлучись на минутку, Маруся... отведи его к Моисею Семеновичу, пусть распашет немножко.

Моисей Семенович был парикмахером в вокзальной парикмахерской, и Маруся ответила весело:

— Можно.

Моисей Семенович, высокий, с длинным лицом, в очках, добривал какого-то, понимающе кивнул головой, а Маруся сказала:

— После стрижки не уходи, я за тобой явлюсь,— и заторопилась обратно в ресторан.

Моисей Семенович добрил одного дяденьку, посадил мальчика в кресло, накинул на него простыню, сказал:

— Ай-ай-ай, как зарос... целый лес,— и, пропустив пряди через пальцы, стал стричь, щекотно поводил машинкой у висков и на затылке, потом нажал несколько раз на резиновую грушу, запахло цветами, и Моисей Семенович разделил на пробор льняные волосы.

— Теперь мальчик... мальчик первой категории,— сказал он,— а прежде знаешь кем ты был? Ты лешим был.

И он показал ему в зеркало, какого мальчика соорудил из лешего.

— Тебя мать и не узнает... только когда заговоришь, узнает,— и Моисей Семенович, казалось, сам был

доволен своей работой. — С вас три рубля, — сказал он, — и ни одной копеечки не дешевле.

Мальчик озадаченно смотрел на него, но Моисей Семенович смягчился:

— Отдашь, когда вырастешь... мне вдобавок к моей пенсии пригодятся.

И он нажал еще два раза резиновую грушу, а Марусе, забежавшей за мальчиком, сказал:

— Забирайте своего франта.

И Маруся повела своего благоухающего франта, такого причесанного, каким никогда еще не был, и даже чуть подавленного тем, что так причесан.

Маруся провела в ресторан, усадила за дальний столик, за которым сидела какая-то женщина с девочкой, чтобы получилось, будто женщина обедает с дочерью и сыном, принесла вскоре глубокую тарелку с борщом, а сметаны Прасковья Игнатьевна не пожалела, торчала в борще целой кочкой, и Алексей Бутырев размял сметану, а большой кусок мяса можно будет съесть потом, держа его на вилке и откусывая понемногу.

Женщина с дочерью заторопились вдруг, наверно к проходящему поезду, мальчик остался один, и Маруся принесла еще несколько маленьких котлеток с картошкой, сказала: «Покушай тефтелей», — и он покушал тефтелей, потом выпил сок из мисочки с двумя сливами — все по правилам. Сидел чинно, еще не опомнившись, как все произошло — и с башмаками, которые поднес Андрей Прокофьевич, и с целым садом, который развел на его голове Моисей Семенович, и с обедом по всей форме.

Потом Маруся сказала:

— Теперь пройди к Андрею Прокофьевичу, только не двигай стулом, когда станешь вставать.

И он неслышно сполз со стула и прошел через ресторан, чей-то красивый, надушенный мальчик в новых башмаках, только отцовский пиджак был не под стать, но он засунул руки в карманы и обтянул его на себе, чтобы казалось, будто мать купила немножко на рост.

Андрей Прокофьевич спросил:

— Фертиг? Теперь пройди к матери... только сразу не подходи к ней, а то еще испугается!

Андрею Прокофьевичу, наверно, самому хотелось посмотреть, как встретит Фрося своего нарядного и приче-

санного сына, но он не мог уйти и только посмотрел вслед, как мальчик шел через залу к служебному входу, который уже хорошо знал и откуда официантки приносили подносы с блюдами или уносили пустую посуду.

Мать стояла к нему спиной и мыла тарелки, целая гора вымытых была по одну сторону, а из других она вливала или скидывала в ведро остатки.

— Опять ты явился, — сказала она через плечо, — наказанье мое, господи!

Мать все же оглянулась на миг, посмотрела на своего постриженного, пахнущего цветами сына, посмотрела и на его ноги в новых башмаках.

— Что же это такое? — спросила она, сразу вдруг расстроившись.— Откуда это у тебя?

И сын рассказал, что башмаки подарил Андрей Прокофьевич, а насчет старых посоветовал отдать какой-нибудь курице, пусть несется в них, а парикмахер Моисей Семенович за стрижку потребовал три рубля, но обещал подождать, а Маруся покормила в ресторане и он сидел за столиком с какой-то тетенькой и ее девочкой.

Но мать не сказала: «Вот как хорошо получилось», — она сказала лишь:

— Что же это такое... и как отучить тебя шляться сюда, как отучить тебя от этого?

Мать мыла тарелки, стояла к нему спиной, но по тому, как подносила тылом руку к глазам, было видно, что она плачет.

— Ты чего? — спросил он и вдруг сам тоже заплакал.— Ты чего?

— Ничего,— ответила она, не повернувшись,— ничего. Хоть бы ты скорее в школу пошел, а то целый день один, думаешь — не болит у меня душа за тебя? И кругом сочувствие, все понимают, как трудно нам с тобой жить... и хоть и благодарность за сочувствие, но лучше бы, чтобы не было за что сочувствовать.

Но мать говорила это не ему, а самой себе, перемывала тарелки и вытирала глаза, а он, сын, словно виноват перед ней, что позволил посочувствовать и Андрею Прокофьевичу, и парикмахеру Моисею Семеновичу, и Марусе, которая накормила его.

Прасковья Игнатьевна, должно быть, услышала, о чем говорит Фрося сыну, спросила:

— Ты за что коришь его? Он без матери скучает, жить без нее не может, а ты за это коришь его.

— Да ведь страшно, Прасковья Игнатьевна, через пути шатается, я прямо сама не в себе делаюсь, как подумаю об этом. Ему шесть лет всего... совсем еще младенец.

Но он не был младенцем, оглядывал пути, прежде чем перейти, переходил только, когда зеленый огонь в семафоре, мать, однако, не хотела понять этого.

— Иди домой, Алексей,— сказала Прасковья Игнатьевна,— не расстраивай мать, она видишь какая, боится за тебя, ты, сын, должен понять. А это с собой возьмешь.

И Прасковья Игнатьевна ловко сделала из газеты фунтик и положила в него ватрушку и пирожок, ватрушка полагалась к борщу, а пирожок к бульону.

— Приваживаете его только, Прасковья Игнатьевна,— сказала Фрося.— Ему дай волю — он из станционного буфета и не вылезет, ночевать останется.

— Это если ты здесь, а без тебя и не заглянет.

И мать, наверно, согласилась с тем, что без нее и не заглянет, не из-за обедов сюда ходит, и она понимает это со своей судьбой, Фрося...

— Иди, сынок,— сказала она также,— иди, милый... я за отношение к нам, конечно, спасибо говорю. Нам с тобой за хорошими людьми далеко в лес не ходить, они для нас с тобой поблизости.

Мать провела еще раз тылом ладони по своим мокрым щекам, наклонилась и поцеловала в надушенную голову сына, и Алексей Бутырев пошел обратно через ресторан, Андрей Прокофьевич протянул ему связанные веревочкой его кеды, сказал: «Забирай для курицы»,— и мальчик перекинул веревочку с кедами через плечо и пошел сначала по перрону вокзала, потом спустился по ступеням, шел некоторое время вдоль путей и поднялся вскоре, цепляясь за кусты, на откос. Рельсы, голубовато отражавшие небо, уходили направо и налево,— налево была Москва, куда он ездил раз с матерью, а направо — все четыре стороны, куда ушел отец, и незачем искать его, раз они с матерью стали не нужны ему.

Мальчик посмотрел налево, где была Москва, потом направо, где были все четыре стороны, влажный зеленый огонь горел в семафоре, и мальчик осторожно перешел

рельсы, а спускаться в новых башмаках со скользкими подошвами побоялся, сел на землю, сменил башмаки на кеды, долго привязывал их веревочками к щиколоткам, сполз вниз, а новые башмаки связал шнурками, повесил через плечо, как висели кеды, но они еще послужат, и мать сказала раз:

— Небогатые мы с тобой, Лешенька, такие небогатые... нам и опорочки приходится беречь.

А Андрей Прокофьевич не обидится, если прийти попрежнему в кедах, поймет, что новые башмаки надевают только в праздники, но свисточек, на который сбегаются паровозы, он тоже пообещал подарить.

ПЕРВЫЙ ЛЕДОК

Пошли заморозки, и вода в пруду стала сначала темной и тяжелой, потом пруд мраморно затянуло, остались лишь полыньи, и Мелентьев, как и думал об этом все последнее время, решил написать этюд пруда с его уже зимней пустынностью и покинутостью. Белесые тучи висели низко, а первый ледок, пока лишь застекливший пруд, ждал утреннего морозца, и тогда сразу посинеет и окрепнет. Больше всего нужно было белил и ультрамарина, чтобы передать глубокую печаль зимнего пруда с мостками, на которых женщины летом полоскали белье, и с лодкой, лишь вытянутой на берег, но не опрокинутой днищем кверху, а внутри нее тоже лежал лед.

И Мелентьев установил на мольберте подрамник с холстом, открыл ящик с красками и начал писать не столько пруд, сколько самого себя со своими закраинами и полыньями...

Год назад, собираясь поехать на этюды, он сказал жене:

— Давно хочу написать северную природу... поеду в Вологду, а там доберусь, может быть, и до Великого Устюга.

— И я с тобой, — сказала Надя с живостью. — Я только читала про белые ночи на Севере, возьми меня с собой!

— Ну что ты, Надюша,— сказал он, сразу представив себе, как был бы связан в своей художнической работе,— мне предстоит ведь бродяжить.

— Ну что же... и я с тобой побродяжу. Мне ведь ничего не надо, только быть рядом с тобой.

— Посмотрим,— ответил он уклончиво.

Но посмотреть не пришлось, Надя сказала первой:

— Знаешь, ты поезжай... а я проведу свой отпуск у мамы в Ряжске.

— Это правильно,— обрадовался он.— Ты ведь сама понимаешь, что в моей поездке то ночевать будет негде, придется искать ночлег из милости, а то и в стогу проспишь, если целый день на природе.

— Да, конечно,— легко согласилась она.

И он принял эту мнимую легкость за мягкую уступчивость, но все оказалось не совсем так.

Он уехал в Вологду, бесплотный, волшебный город в пору белых ночей, от Вологды добрался по Северной Двине до Великого Устюга, написал не один этюд, был свободен и трудолюбив, как и полагается художнику. А Надя, работавшая в реставрационной мастерской, провела свой отпуск у матери в Ряжске, учительницы средней школы, он посылал Наде открытки с изображением памятников старины — и Туровца, и Тотьмы, и Великого Устюга, в одной открытке приписал: «Ужасно соскучился по тебе». Но Надя прислала лишь короткую телеграмму: «Все порядке», и он нашел эту телеграмму до востребования в Архангельске, где оказался в заключение.

Мелентьев вернулся из своей поездки усталый и похудевший, привез два десятка этюдов, расставил их в мастерской, ждал, что Надя восхищенно скажет что-нибудь, но она сказала только: «Ты хорошо поработал», — и что-то отдалявшее ее появилось в ней.

— Ты что, Надя? — спросил он.— Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось.

Но какой-то холодок отчужденности вдруг остро проник в сердце.

— Ты сердишься, что я не захватил тебя с собой? — спросил он.

— Я не чемодан, меня нельзя захватить с собой. Просто не поехала с тобой — и все... и я так довольна,

что провела отпуск у мамы, мы жили с ней на даче под Ряжском. Кстати, приезжал писать этюды художник Горелов... он сказал, что учился вместе с тобой в Суриковском институте.

— Горелов? — И он вспомнил веселого голубоглазого Колю Горелова, способного художника, к тому же отлично игравшего на гитаре.— С гитарой, наверно, приезжал? — добавил он, сам почувствовав, что несколько пренебрежительно отозвался о Горелове.

— Он хорошо играет на гитаре,— сказала Надя.— Однажды целый вечер играл у нас, маме очень понравилось.

— Тебе, видимо, тоже понравилось?

— Конечно, и мне понравилось.

Он больше ничего не спросил, но остался какой-то осадок.

Несколько его этюдов было выставлено на осенней выставке пейзажистов, один из них приобрела закупочная комиссия, и Мелентьев сказал Наде:

— Возможно, останется для Третьяковки... сама понимаешь, что это значит для меня.

Он хотел подчеркнуть, что правильно решил для себя побродить и потрудиться в одиночестве, но Надя, видимо, думала об этом совсем иначе, и в их отношениях появилась какая-то стылость, а потом стало затягивать и ледком...

Впрочем, было нечто и еще, сначала как бы прошедшее мимо, но впоследствии пришлось задуматься и над этим. Свыше года назад, сидя с ним зимним вечером рядом, Надя вдруг как-то зябко прижалась щекой к его груди, сказала:

— Знаешь, чего я хочу... я сынка хочу.

Она сказала это с тем женским порывом, который сразу нужно было не только понять, но и глубоко оценить в его сокровенности. Но он, Мелентьев, трезво и рассудительно сказал тогда:

— Рано нам сынком обзаводиться. Мне еще нужно на ноги прочно стать. Да и тебя это связало бы по рукам и ногам.

Надя ничего не ответила, но что-то словно прошло между ними, и он понял, что Надя никогда больше не повторит этого.

— Посуди сама, Надюша, можем ли мы с тобой позволить себе сейчас это? Стану преподавать где-нибудь, тогда уж.

И хотя и появился ледок, Мелентьев убедил себя, что это лишь следствие очередного женского настроения. Он часто задерживался то на каком-нибудь собрании, то на вечере в Доме художника, Надя ждала его в одиночестве, и когда возвращался, уже не хотелось ни о чем расспрашивать... и ледок нарастал и нарастал понемногу.

...Мелентьев выжал из тюбика почти половину, все вокруг требовало белил — и застывший пруд, и предзимняя туча над ним, и кисеево посыпавший вдруг снежок... Однако это была не пустынная, а лишь затаившаяся тишина, нужно суметь передать и это: чуть-чуть кобальта, чуть-чуть плоской кистью.

— Поедем в дом отдыха художников в Гурзуфе,— предложил он неуверенно в следующее лето.— Поработаю на юге, а то у меня все северная природа.

— Тебе одному всегда лучше работается, — сказала Надя.— А я обещала маме провести свой отпуск у нее.

И хотя он действительно признал для себя, что лучше поработает, если поедет один, сказал, однако — и так дешево, так неумно получилось:

— Или опять приедет Горелов со своей гитарой?

Но Надя ничего не ответила, и еще что-то прошло между ними...

Он поехал в Гурзуф, а Надя — к матери в Ряжск, в Гурзуфе с синим, почти неподвижным морем возле самого дома написал ряд этюдов, но однажды пошел дождь, море серо затянуло, и все стало сразу ненужным — и Гурзуф, и этюды моря, и он написал Наде:

«Погода испортилась, идет дождь, да и стало надоедать однообразие. Если не досижу, приеду в Ряжск, передай маме, что хочу повидать ее».

Вечером он спустился к морю, сводка погоды накануне предвещала пять баллов, море пока бежало вкось мелкими волнами в пенистых оборках, в Крыму стало сразу неуютно.

В Ряжск он, однако, не поехал, Надя сообщила, что мать нездорова, плохо с давлением, и он вернулся в Москву. Было еще жарко, в его мастерской и совсем душно, и он протомился целую неделю, пока приехала Надя. Однако на следующий день она уже пошла на

работу, и они даже не поговорили ни о чем друг с другом.

Еще с весны он начал преподавать в художественной студии Дома культуры одного из больших заводов, занятия были вечерние, и, вернувшись однажды из студии, он застал Надю как-то потерянно сидящей на диване в его мастерской.

— Знаешь, Миша,— сказала она, предупредив его вопрос,— за последнее время у нас с тобой пошло вкось, и лучше нам побыть врозь некоторое время. Тем более что в Фергане начнутся скоро реставрационные работы и я поеду с группой Шеврова.

— Вчера Горелов, сегодня Шевров... а Мелентьев где-то затерялся,— усмехнулся он.

— Он сам пожелал затеряться. Я хотела всегда быть рядом с ним, но то Север, то Юг, а впереди, наверно, еще Восток и Запад... а я только женщина, Миша, и мне нужны не север или юг, а близкий человек рядом. А ведь потерять так легко, найти — трудно.

...И еще немножко охры для мостков, пока их совсем не засыпало снегом, пока не совсем стала зима.

Он выдавил из тюбика охру, смешал с белилами, а в Фергане, наверно, еще тепло, лазурные черепицы блестят на осеннем солнце, и такая мягкая, пластическая, почти телесная округлость зданий...

И он приедет в Фергану, найдет мечеть, Надя работает наверху, на лесах, он окликнет ее: «Надя!» — и она сначала посмотрит вниз, потом спустится в рабочем халате и в косыночке, выйдет следом за ним из мечети, и где-нибудь на узенькой уличке с глинобитными, уцелевшими домиками он скажет ей: «Дураки мы с тобой, Надя, дураки... а я не могу без тебя, я люблю тебя!»

И снова посыпал тот мелкий снежок, который почти не виден, только так тихо становится вокруг, и это тоже нужно суметь передать, изображая пруд с первым ледком, а по существу изображая свою собственную жизнь со всеми ее закраинами и полыньями...

Нужно суметь передать также, как в конце марта пройдет по истончившемуся льду первая зубчатая трещина, потом однажды утром что-то хрустнет, началось таянье, пруд набухает, рощица на его берегу скоро ста-

новится по колени в воде, а еще через недельку-другую окунется в воду розовая утренняя заря, постоит в ней, оставит воду розовой почти до полудня, потом пойдет таинственное булькание, пойдут круги: может быть, движется щука подводным своим ходом или водяная крыса, вот и лягушиный счастливый хор, и запах первых ландышей, и торжество жизни на земле. . .

И он придет сюда, художник Михаил Мелентьев, придет со своей женой Надей, которую теперь уж не отпустит никогда, они придут с сыном или, может быть, с дочкой, а в пруду нагишом купается розовая заря, у мостков растут кувшинки, и он, перегнувшись к воде, сорвет одну для Нади, а сын или дочь скажут:

— Не утони, папа!

И он писал этот зимний пруд, Мелентьев, писал вместе с тем свой сегодняшний одинокий день, однако писал и завтрашний, полный, художнику дано волшебство преображения. И не печаль и одиночество увидит зритель в изображении пруда с первым ледком, а ясность весеннего дня со всеми его красками, с его лазурью и золотом, и кроме ультрамарина нужна еще золотая охра для передачи этого праздника.

ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ

Старый заведующий гаражом Михаил Иванович — дядя Миша — умер, и на его место поставили Гулькова. Михаил Иванович был добродушный, внимательный к людям, знал все горькие правды жизни, сам поднялся из слесарей, понимал, что у каждого — свое, и Гульков стал сразу же наводить порядок в несколько размягченном душевной простотой Михаила Ивановича хозяйстве.

Прежде шоферы и слесари не уходили в столовую обедать, садились на один из верстаков перекусить прихваченным из дома, всегда вокруг них кишели воробьи, жившие под застекленной крышей, и Гульков в первую очередь пресек это:

— Гараж не столовка, да еще воробьев в гараже разводить. . . так что, пожалуйста, сообразуйтесь.

Гульков был коренастый, чуть кривоногий, с такими черными волосами и усиками, словно чернил их, и его волосы скользко блестели на свету. Но в гараже помимо воробьев водилась еще и другая живность — водился кот, которого смолоду звали Васькой, а с годами более почтительно — Василий Кузьмич. Кот был большой и пышный, с сибирской кровью, стал всеобщим знакомым, а затем и всеобщим приятелем, и, принося еду, слесари прихватывали и для Василия Кузьмича что-нибудь, иногда даже жены клали в авоську пакетик:

— Для Василия Кузьмича.

Кот стал как бы эмблемой гаража, а медник Еременко смастерил для него из старого крыла машины нечто вроде удобного места для отдыха, и кот любил полежать в прохладе выгнутого крыла.

— А это что за сооружение? — спросил Гульков, наводя порядок.

Никто, однако, не решился сказать, что это однокомнатная квартира кота, и Гульков сам выволок квартиру и кинул ее во дворе в груду металлолома и старых покрышек.

Василий Кузьмич долго ходил вокруг того места, где был его дом, опечаленно забрался затем на верстак, казалось несколько утратив доверие к людям. Но и кот показался нарушением порядка в гараже, следствием распущенности, а про Михаила Ивановича Гульков сказал раз: «Привыкли к потакателям»,— и это означало, что Михаил Иванович со своей мягкотелостью приучал к непорядкам.

— Чтобы я этого кота в гараже не видел! — добавил он, кривя рот под своими угольными усиками.

И один из слесарей, носивший громкую фамилию Васильчиков, высокий и сумрачный, поглядев как-то свысока на Гулькова, сказал:

— Эх, товарищ Гульков... все тебе не по нраву! А этот кот семь лет в гараже живет, мышей душит, но не съест, только на порог положит, как санитарный инспектор, это заслуженный кот.

— Разговорчики! — может быть, служа в армии, слышал так, и Гульков уже начальнически поглядел на слесаря. — Я своих порядков никому не навязываю... желаете по-своему жить — пожалуйста, но только в любом другом месте.

Васильчиков сожалеюще посмотрел ему вслед, как тот на своих кривоватых ногах пошел в сторону, где шла профилактика двух стоявших на подъемниках машин.

— Эх, товарищ Гульков! — повторил он не то скорбно, не то иронически, но Гульков сделал вид, что не услышал, крикнул одному из слесарей:

— Ты чего же концы по всему гаражу разбросал! — и слесарь стал собирать замаслившиеся концы.

Но то, что Васильчиков сказал так про него, задело Гулькова, и день спустя, когда шофер Омельченко должен был поехать в Ярославль за запасными частями, Гульков подошел к его машине, хозяйственно потыкал ногой в баллоны, хорошо ли накачаны, затем, оглянувшись, чтобы никто не услышал, сказал добрым голосом:

— К тебе, Коля, одно деликатное поручение будет... ты парень толковый, я уже заметил это, на премию целишь и получишь, должно быть, да и машина у тебя всегда в порядке. Давай вместе наведем порядок.

— Это как же? — спросил Омельченко, готовый услужить да и сказать вовремя льстивое словечко, в пестрой рубахе с изображением каких-то цветов или драконов и с бачками по моде.

— А вот как: надоело мне смотреть, что воробьи, да еще кот в придачу нечистоту в гараже разводят. Воробьев я при случае истреблю, подсыплю им в корм чего-нибудь, а кота ты возьми на себя.

— Это как же? — повторил Омельченко все же несколько опасливо.

— А так: поедешь завтра, захвати с собой кота, выпустишь где-нибудь под Ярославлем, а хорошую службу я никогда не забываю.

— Это как же — захватить? — усомнился Омельченко.— Он в руки не дастся, характер у него строгий.

— Это не твоя забота будет. Твоя забота — мешок перед отъездом в машину сунуть, а что в мешке, ты и не знаешь.

Гульков давно заметил, что кот ночует в инструментальном складе на груде ветоши, склад был отгорожен от гаража сетчатой решеткой, но кот, распластавшись, пролезал под сеткой и там спокойно ночевал. Гульков еще с вечера приготовил мешок, и Омельченко перед выездом сделал все так, как было ему поручено.

Машина в Ярославль ушла на рассвете, а жизнь в гараже начиналась в восемь часов, и шоферов всегда первым встречал выспавшийся за ночь Василий Кузьмич, уже умытый и причесанный, кто-нибудь сразу же доставал из своей авоськи прихваченное, и уже давно стал он, Василий Кузьмич, составной частью жизни не только гаража, но и некоторых слесарей и шоферов в отдельности, — тех, кого Михаил Иванович учил, что у каждого — свое, и нужно уметь понять это свое. И хотя кот со всеми дружил, однако не любил, чтобы его брали на руки, а задушенную ночью мышь клал со скромным достоинством на одном и том же месте — на пороге вулканизаторской.

Но утром, когда слесари и шоферы пришли на работу, кот не встретил их, как обычно, сначала это не заметили, потом кто-то спросил: «Что-то Василия Кузьмича не видно?» — стали искать его, а один из слесарей, несколько смешливый и дурашливый, сказал: «Может, женился?» — но шутка была глупая, и никто не улыбнулся.

Кота искали несколько дней, спрашивали жителей поблизости, и последнее оставшееся от Михаила Ивановича с его пониманием, что у каждого — свое, ушло, а Гульков все-таки навел порядок: мазутные концы уже не валялись где попало, но как-то опустело в гараже, стало скучнее, и жены уже не совали своим мужьям в авоську: «Для Василия Кузьмича»,— о нем уже незачем было думать.

За сентябрем пошел октябрь с затяжными дождями, с серым небом, которое почти лежит на застекленной крыше гаража, а воробьев, хоть и не истребил их Гульков, стало меньше, на верстаке уже не оставалось крошек и воробьи давно искали на стороне. . .

А в один из особенно ненастных дней позднего октября, уже с ноябрем на подходе, кто-то из слесарей крикнул вдруг: «Васька. . . неужели ты?» — и все побросали работу и посмотрели в сторону открытых ворот гаража, откуда, хромая и спотыкаясь, шел именно он — Василий Кузьмич, худой и мокрый, такой худой, что кожа прилипала к ребрам, и такой мокрый, словно его вытащили из воды, а подушечки его лап были стерты до крови.

— Василий Кузьмич, батюшка! Откуда ты?

Васильчиков нагнулся, а кот уже не противился, чтобы его взяли на руки, он был худ и несчастен, его посадили на верстак, стали кормить, у кого что было, но он не ел, словно не верил больше в добро и сочувствие, раз его так предали, накинули на спящего мешок, а под вечер выкинули из машины где-то на окраине чужого города и он сидел и оглядывался, не понимая: где он и что произошло с ним?

— Где же ты пропадал, Василий Кузьмич? — спросил Васильчиков, но он понимал, что кот не сам ушел, сказал уверенно: — Гульков! Это ему кот поперек дороги стал.

Гульков опустился взглянуть, почему слесари прекратили работу, стоят вокруг верстака, увидел кота, сделал, однако, вид, что не заметил, а водитель Омельченко, не получивший в свое время обещанной премии, злой на завгара, сказал Васильчикову:

— Его, Гулькова, работа. Заставил меня кота под самый Ярославль завезти.

И это было чудом, как кот нашел обратную дорогу, как шел, стирая лапы, из Ярославля, и по какому пути шел, и как в Москве с ее движением, машинами и тысячами запахов — как нашел их гараж, в котором прожил семь лет, а для кота семь лет — это все семьдесят человеческих, и вот прибрел он все-таки домой, их старик, оборванный, мокрый, худой, но прибрел.

— Ладно,— сказал Васильчиков,— я с Гульковым поговорю. Ругаться не стану, я не ругатель, а поговорю.

Кот все-таки поел немного, и его отнесли в медницкую, где он прежде квартировал, а Васильчиков поднялся в кабинет Гулькова на втором этаже.

— Я к тебе поговорить, Гульков,— сказал он, хотя следовало обратиться — товарищ Гульков.

Гульков просматривал какие-то ведомости, дал сразу понять, что не так-то просто: зашел — и поговорил, а придется подождать, сколько следует, потом спросил:

— В чем дело?

— Дело в том, что ты — начальник, тебя подчиненные должны уважать, но тебя давно никто не уважает. Ты зачем кота в Ярославль отправил? Чем он мешал тебе, кот? Ты не по нему, а по нас ударить хотел.

— Вот что могу тебе посоветовать: лучше сам заяв-

ление об уходе подай... а то знаешь, какую характеристику я тебе напишу? — сказал Гульков.

— Может, лучше тебе заявление об уходе подать... а то весь коллектив тебе характеристику напишет. Даже такой, как Омельченко, уж на что приспособленец, и тот не уважает тебя. Как же ты можешь дальше работать у нас?

Гульков слушал, вжавшись в кресло, презрительно усмехался, потом сказал:

— Идите, товарищ Васильчиков. Идите! И больше никогда моего порога не переступайте. А ваше уважение как собаке пятая нога мне нужно. Так что — идите.

— Пойду, конечно... делать у тебя мне нечего, но только с рабочим нашим словом в случае чего посчитаются, ты задумайся над этим.

— Во-первых, попросил бы не тыкать, — вдруг взорвался Гульков, — мы водку вместе не пили.

— Помилуй бог, с таким пить — самого себя стыдно будет.

И Васильчиков ушел, а Гульков еще посидел в кресле, изображая для самого себя, будто продолжает просматривать ведомость, затем спустился в гараж. Две машины стояли на подъемниках, а из одной моторист Саблин доставал мотор.

— С клапанами — как? — спросил Гульков, но моторист не ответил, и Гульков повторил уже громче:

— Я спрашиваю, с клапанами — как?

Но Саблин и на этот раз ничего не ответил, повел рукой в сторону висевший на цепи мотор, Гульков хотел было крикнуть: «Отстраню! Отстраню от работы!» — но не крикнул, а в стороне спиной к нему стояли у своих станков два слесаря, стоял и Васильчиков, выправляя деревянным молотком помятое крыло, и лучше было бы, если бы кто-нибудь сказал резкое слово, но в тишине лишь глухо стучал молоток Васильчикова. Гульков постоял еще, будто наблюдая работу, отшвырнул носком башмака промасленный лоскут и пошел обратно к себе, на второй этаж.

А в медницкой на груде ветоши спал Василий Кузьмич, от электроплитки, которую Васильчиков включил для него, шло тепло, и, должно быть, он видел во сне, Василий Кузьмич, окраину Ярославля, видел и далекий путь через леса и поля, видел и московские улицы, по

которым пришлось пробраться с одного двора до другого, чтобы найти единственный двор с дорогими ему людьми... ведь никто еще не знает тайны, как может животное любить человека и как оно может быть обижено, если обманут его доверие? Конечно, думал об этом не Василий Кузьмич, а Васильчиков, выбивая помятое крыло и поглядывая время от времени на то жалкое, почти высохшее, что осталось от пышного сибирского кота.

— Ладно... подкормим тебя, Василий Кузьмич, вернем тебе твой блеск. А насчет стертых лап придется узнать в ветеринарной лечебнице, так что еще подавишь мышей, еще постараешься по своей специальности.

Васильчиков говорил это самому себе, а Гульков, может быть, пишет по начальству о падении дисциплины в гараже и насчет моториста, который на заданный дважды вопрос не ответил, тоже напишет.

В обеденный перерыв Васильчиков купил в соседнем гастрономе печенки, но один из слесарей сказал:

— Сразу много не давай... ему к питанию привыкнуть нужно.

И все подумали о том, как же питался он все-таки, Василий Кузьмич, на долгом пути от Ярославля, полевую мышь не сразу поймаешь, да и отощал для охоты... значит, надеялся, что дойдет до верных людей. А надежду впереди ни одно зло не одолеет.

Но Василию Кузьмичу не дано было думать, он ощущал лишь, что сыт, обсох, размяк от тепла электроплитки, а если мог бы помнить что-нибудь, то разве только то, как нацелился в поле на воробья, прыгнуть на слабых ногах, однако, не сумел, и воробей смеялся над ним... но он даже этого не мог помнить.

РОЗА ВЕТРОВ

В те закатные годы, когда краски заката нередко умиляют или даже утешают своей возвышенной красотой, человек, однако, думает о том, что как бы мудр ни был закат, все в жизни подчинено тем не менее страстному закону восхода.

Была когда-то у него, старого синоптика Акинфиева, проработавшего не один год в управлении гидрометеослужбы, знавшего по своим плаваниям крутой нрав Баренцева или Карского моря, была у него когда-то своя семейная жизнь. Но ничего этого не стало, жена умерла свыше десяти лет назад, детей у них не было, и не существует таких синоптических таблиц, чтобы можно было вычислить, сколько попутных, но чаще встречных ветров суждено человеку, которые, несмотря ни на что, нужно все же преодолевать. . .

В один из тех декабрьских дней, когда с утра серо и день нехотя возникает и быстро уходит, Акинфиеву стало невмоготу просидеть долгий зимний вечер в одиночестве, а Москва, засыпанная снегом, как бы празднично белела, но ее зимний праздник был для других.

Приемная дочь Тоня давно вышла замуж, жизнь ее с мужем, однако, не сладилась, теперь Тоня жила вдвоем со своей дочерью, работала в научной библиотеке, виделись они редко, лишь обменивались открытками к тому или другому празднику, и, в сущности, уже совсем далекой стала Тоня ныне. . .

Но сейчас, в декабрьскую предвечернюю пору, думая о своей прошлой жизни, он вспомнил о Тоне и обрадовался мысли, что можно поехать к ней, хотя так давно они не виделись.

Тоня жила близ Покровских ворот, в обветшавшем трехэтажном доме, позади которого был построен большой современный дом, дожидавшийся лишь, когда снесут загораживающего его фасад старика.

«Ремонтировать наш дом не собираются,— приписала Тоня в поздравительной открытке к Октябрьским праздникам,— говорят, через годик-другой снесут, тогда окажемся, наверно, в далеком районе, а мы с вами, Василий Иннокентьевич, и так почти не видимся. День уходит за днем, не успеваешь оглянуться. Варенька уже в девятый класс перешла, обнаруживает, между прочим, хорошие способности в школьном драматическом кружке».

Дочь Тони Акинфиев тоже не видел несколько лет, и хотя от Сивцева Вражка, в котором он жил, до Покровских ворот в общем рукой подать, однако по ходу жизни это рукой подать оказывалось таким далеким, словно он с Тоней жили в разных городах. . .

Он собирался возможно оживленнее сказать Тоне, что был поблизости, у одного из прежних сослуживцев, решил заглянуть к ней по дороге, все-таки нехорошо, что они так подолгу не видятся. Но дверь открыла высокая, чуть скуластенькая девушка с живыми карими глазами, не сразу узнавшая в пришедшем Василия Иннокентьевича Акинфиева.

— Ну, Варенька, не ожидал от тебя, что ты за несколько лет так вымахнешь! — сказал Акинфиев.

Он поцеловал девушку, косвенно приходившуюся ему внучкой, и что-то нежное и утешительное поднялось вдруг из глубины.

— Наверно, совсем забыла старого предсказателя погоды?

— Ну что вы, Василий Иннокентьевич!

Конечно, она не забыла его совсем, но уже давно все стало немного походить на сны детства.

— Ладно, предположим, что не совсем забыла меня,— мирно согласился Акинфиев.

Он снял свой повидавший виды кожушок, в котором стоял не раз на палубе научного судна, а Карское или Баренцево море обдавало холодными брызгами, нередко с налетавшими снежными зарядами.

— Жаль, мама сегодня поздно придет, у нее собрание, — сказала девушка.

— Я ведь мимоходом... соберусь как-нибудь и поосновательнее.

— Мама часто вспоминает вас. Как вы себя чувствуете, Василий Иннокентьевич?

— Как молодой бог. По утрам пью нектар, а на ночь вредно. С годами все понемногу становится вредным, особенно воспоминания. Однако с этой полынью все чаще приходится теперь иметь дело.

Но что́ она со своей юностью могла знать о той душевной тревоге, когда сорвешь вдруг с вешалки кожушок, а идти некуда...

— Мы с мамой давно собираемся к вам.

— Приходите, угощу эскимо... в последнее плавание отломил кусочек от льдины в Баренцевом море.

— Непременно приду попробовать.

И какое-то позабытое тепло мягко приблизило ее.

— Ты куда же норовишь после школы?

— Хочу поступить в театральное училище.

— Актрисой, значит, заделаешься? Тогда не забудь обо мне, старом зрителе... я на аплодисменты горазд.

И он вспомнил, как пришел поздравить Тоню с дочкой, в плетеной корзинке лежал сверточек, в котором краснело сморщенное личико... а теперь Варя была уже русской красавицей.

— Так обидно, Василий Иннокентьевич... у меня на семь часов билет в кино. Я не пошла бы, но меня будут ждать у входа.

— Тогда идем... скоро семь.

Сверчков переулок был засыпан снегом, плечи Грибоедова на бульваре были тоже в снегу, а у входа в кинотеатр Варю дожидался какой-то юноша, несколько смутился, увидев, что она не одна. Слегка смутилась и Варя.

— Познакомьтесь, Василий Иннокентьевич... это Костя Трегубов.

И Акинфиев познакомился с Костей Трегубовым.

— Какой же фильм вы идете смотреть? В кино, между прочим, я лет десять, наверно, не был.

— Хотите пойти с нами? — предложила Варя, может быть пожалев оставить его одного.— Правда, пойдемте, Василий Иннокентьевич... мне будет так приятно!

И он малодушно поверил, что Варе будет приятно, а Костя Трегубов расторопно достал билет для него, уговорил кого-то поменяться местами, шла кинокомедия, но Акинфиев хоть и смотрел на экран, но видел совсем другое, такое далекое и позабытое... А по окончании сеанса неожиданно для самого себя предложил:

— Давайте-ка поедем ко мне... покажу кое-какие картинки из своих странствий. У меня сохранились хорошие диапозитивы.

И Костя Трегубов с необыкновенным проворством подхватил проезжавшее такси, а вскоре они были уже в Сивцевом Вражке.

Варя лишь смутно помнила рабочую комнату Василия Иннокентьевича, книги в шкафах, какие-то непомерные áтласы на стеллажах, а на стене висела метеорологическая карта с похожим на паутину рисунком, и Акинфиев, разъясняя, что роза ветров изображает повторяемость различных направлений ветра в данном месте Земли, хотел было добавить, что и в жизни человека существует своего рода повторяемость радостей

или неудач, но этих стариковских мыслей молодые люди не поняли бы...

— Посмотрим теперь то, что обещал вам.

Он зажег лампу над пирамидальным ящиком стереоскопа, и бурный простор Баренцева моря, и лихтеры в бухте Провидения, и лежбища котиков на Командорах, — все странствия Василия Иннокентьевича как бы проходили чередой, и он не удержался и сказал все-таки:

— Уделом старости являются обычно северные ветры с дождем, а то и с мокрым снегом... к счастью, это не бесспорное правило: например, никак не полагал, что столь погожим будет для меня сегодняшний вечер. Кстати, а вы куда собираетесь поступить после окончания школы, уважаемый Костя? — поинтересовался он.

— Хочу вместе с Варей попробовать поступить в театральное училище.

— Значит, возможно, и выступать будете вместе впоследствии?

И что-то добавилось еще к его недавней сентенции.

— Для мамы будет такая приятная неожиданность, что мы увиделись, Василий Иннокентьевич,— сказала Варя.

— Какой я для тебя Василий Иннокентьевич, между прочим? Я твой дедушка... а времени все же мы не дадим расправиться с нами, зажмем его, чтобы оно и не пискнуло!— сказал он больше самому себе.

Но, может быть, не только сцена соединит Варю и Костю Трегубова, найдется тогда и для него местечко поблизости... и как хорошо, что есть эта юность, этот блеск карих глаз, эта нескрываемость чувств, это вечное чудо жизни!

— Скажи маме, что не грех было бы и ей заглянуть ко мне... а ты, надеюсь, дорожку в Сивцев Вражек уже обновила.

Оставшись позднее один, Акинфиев еще постоял у окна, зимний праздник с крахмально белеющими улицами был и для него, и тихий снежок падал тоже для него.

— Так-то, миленькая, не все тебе норд-осты нагонять, поработай и с зефирами... они нужны людям, зефиры! Ох как нужны! — сказал он, поглядев в сторону изображения розы ветров.

ТРОСТНИКОВАЯ ДУДОЧКА

К старому московскому адвокату Собольщикову пришла на прием в консультацию женщина. Собольщиков, пепельно-седой, несколько старомодно кудрявый, в очках на мясовитом носу, однако мужественно-красивом именно своей мясовитостью, с обычной профессиональной зоркостью взглянул на посетительницу. Женщина была еще молодой, с бледным, фарфорового оттенка лицом, а в ее больших темных глазах Собольщиков сразу прочел некую смятенность.

— Простите, не знаю, как обратиться к вам: товарищ юрист — как-то неловко получается.

— Меня зовут Александр Юрьевич.

Он выжидал, а женщина явно волновалась.

— Все в моей жизни сложилось так, что и не знаю, с чего начать,— сказала она наконец.— В общем, я была замужем, с мужем у нас все шло хорошо сначала, у меня сын, ему девять лет, перешел в третий класс. А в отношении мужа я сначала стороной, а потом и прямо от него узнала, что он любит другую женщину и ничего не может поделать с собой. Мы решили разойтись, и я предупредила его, что с сыном он не должен встречаться, нельзя уродовать жизнь мальчика. Но я узнала, что он все же встречается с сыном, характер мальчика стал портиться, он скрывает от меня и лжет мне иногда, и у меня такое чувство, что я теряю сына постепенно. Я хочу добиться своего права по закону.

Она достала платочек и вытерла глаза.

— Простите, ваше имя и отчество? — учтиво осведомился Собольщиков.

— Юлия Павловна.

— Видите ли, Юлия Павловна,— сказал он возможно мягче,— адвокат вступается только тогда, когда есть какие-либо правовые нарушения. Но чем должен руководствоваться человек в своих чувствах, закон предусмотреть не может. Так что юридически я не могу вам помочь, а по-человечески могу посоветовать.

Женщина взглянула на него, ее ресницы были еще мокры.

— На мой взгляд, вам не следовало запрещать сыну встречаться со своим отцом. Правильнее было бы, если бы вы прямо сказали ему, что отец оставил вас и теперь вся надежда только на него, сына,— может быть, мальчик и сам не захотел бы встречаться с отцом. Детская душа такая тонкая вещь.

— Я не хочу, чтобы он встречался с отцом... лучше в другой город перееду, меня сестра зовет в Киев.

За много лет адвокатской практики Собольщикову пришлось столкнуться не с одним характером, услышать не одну исповедь, и все же жизнь подкидывала новые задачи. Но с помощью какого юридического мышления подскажешь оскорбленному человеку логику его поведения?

— Дело это неподсудное, Юлия Павловна,— сказал он,— единственный суд — это совесть. Считайте, что вы пришли не к адвокату, а просто к человеку, который и сам пережил многое.

И что-то как бы прошло между ними поверх синих папок с надписью «Дело» и перекидного календаря на столе с размеченным на сегодня порядком.

— Извините меня, пожалуйста,— сказала женщина.

Но это относилось лишь к тому, что отнимает у него много времени, а может быть, ощутила, что и у него не все шло ладно в жизни.

После ухода женщины пришли двое со своими жилищными делами, и Собольщиков обстоятельно побеседовал с ними, дал нужный совет, но чем-то потревожено было все же деловое течение адвокатского дня, какой-то след оставила в его душе оскорбленная женщина...

К пяти часам его дежурство закончилось, августовский солнечный день еще по-летнему лежал на улицах, в киосках продавали цветы, и он купил букетик настурций.

Двадцать два года назад,— целую жизнь назад, если призадуматься,— жена призналась ему, что встретила на курорте Паланга одного человека и, хотя тяжело признаться в этом, лгать, однако, она не может. Дочери Люде было шесть лет, для нее уже купили форменное школьное платьице, и такой славненькой была она в нем со своим черным фартучком. И он подумал тогда о том, что готов к самым трудным душевным лишениям, лишь бы не омрачить ее детства...

— Что же, Лиза, — сказал он жене, — догонять ушедший поезд не стану, да и бесполезно это. Но жизнь Люды мы с тобой не имеем права ломать, пусть внешне все останется как есть.

И они договорились оставить все внешне как есть, ради дочери он примирился с тем, что у жены своя жизнь, летом она уезжала к морю с другим, а он снимал у вдовы знакомого адвоката две комнаты на ее даче в Апрелевке, и обычно они жили с дочерью вдвоем. Тем временем Люда стала учиться и музыке, и когда после работы он возвращался домой, в квартире звучали гаммы, а затем пьески и каватины.

Однако несколько лет спустя он сначала лишь ощутил, а потом и уверился, что поезд, с которым уехала жена, сначала где-то задержался в пути, а следом и вовсе сошел с рельсов.

— С этим все кончено,— сказала жена однажды,— а твоего благородства я никогда не забуду.

— Не нужно ничего ворошить,— ответил он, они и не стали ничего ворошить, и дочь не знала, что́ было в их жизни.

А три года назад жена умерла, он с дочерью проводили ее, дочь плакала, и он тоже плакал. Обо всем этом, однако, никому не расскажешь, дочь давно замужем, у него есть внучка, тоже Людочка, а все, что связано с жизнью родителей, для дочери по́лно и свято.

Вот идет он по залитой августовским солнцем улице, старый московский адвокат, несет в одной руке портфель, в другой у него букетик настурций, идет не спеша, довершив свой рабочий день, и тем двоим, которые приходили по жилищным делам, он поможет; а уж как вести дело в народном или городском суде — знает.

«Вот так-то, Александр Юрьевич,— сказал он мысленно себе,— хорошо все-таки, что существует и закон совести с его высшим решением, не подлежащим никаким кассациям, и правильно было бы, если бы женщина, приходившая сегодня со своим оскорбленным самолюбием, поняла это!»

Он миновал Каляевскую улицу, уже тридцать пять лет жил он с семьей в одном и том же доме по Четвертому Вятскому переулку, и Люда родилась в этом доме, и все, что произошло затем в его жизни, было тоже связано с этим домом.

Он поднялся на второй этаж, открыл ключом французский замок входной двери, дочь была уже дома, вернулась из музыкального училища, в котором преподавала, внучка еще гостила у бабушки, матери мужа, вернется к началу занятий, а муж — геолог — был с экспедицией.

— Твой любимый овощной суп, папа, — сказала дочь, когда сели за стол.

Она налила ему полную тарелку, и он ел суп, а дочь походила на свою покойную мать, и внучка тоже немного походила на бабушку.

— Ну, какие были у тебя сегодня дела? — спросила дочь: он всегда рассказывал ей, как прошел день в консультации или в суде, если выступал.

— Жилищные дела главным образом... приходила еще одна женщина, однако искать защиту нужно нередко у самого себя, только не каждый сознает это.

Давно следовало бы все-таки приняться за книгу о законе совести — основе всех законов на земле.

— Сыграй что-нибудь, — попросил он дочь, когда та убрала со стола,— у меня сегодня музыкальное состояние духа. Сыграй «Перекличку птиц», я эту вещь люблю.

Дочь подошла к роялю, минуту смотрела куда-то поверх, он всегда дивился, что музыкант может хранить в памяти даже целые концерты,— а потом птицы перекликались под руками дочери, наверно, на утренней заре, когда все вокруг обрызгано росой, перекликались голосами флейт или тростниковых дудочек.

ТЫ ПРОСТИ, ПРОЩАЙ

Тихая седая женщина сидела на вынесенном из дома стуле и вязала. Сквер возле нового дома еще не успели разбить, и лишь с десяток наскоро посаженных голых деревцов намечали будущий порядок. Бледное лицо женщины казалось полным сосредоточенной печали, ее губы, считая петли, шевелились, и клубок шерсти на коленях по мере того, как она вязала, тоже шевелил-

ся. Двери подъезда дома были сплошь стеклянные, качающиеся в обе стороны, казалось, недружелюбно встречавшие каждого постороннего.

Возле дома еще лежали большие керамические трубы, дом был построен недавно, и рядом строился новый корпус. После сентябрьских дождей стало снова тепло, мягко расположилось бабье лето, розовые, правда, быстро тлеющие краски заката теплели на широком, с вышками башенных кранов небе.

Было что-то одинокое в фигуре вяжущей женщины, а вынесенный из дома стул как бы еще больше подчеркивал ее одиночество, и Нине Васильевне Щербатовой, старой московской ткачихе, всегда, когда она видела эту женщину, хотелось подойти и поговорить с ней.

По опыту своей жизни, да и по женскому чувству она понимала многое, знала, что без согласия сына, научного работника Адриана Алексеевича Болохова, приехала его мать, и совсем неудобно получилось, видимо, в той новой квартире, куда недавно переехал сын с его женой.

Квартира была двухкомнатная, с утра залитая солнцем, если был ясный день, но от широкого неба за окнами было светло даже в пасмурный день, и далеко уходил пустынный простор только застраиваемого района.

Ольга Андреевна Болохова жила прежде с дочерью в Челябинске, но муж дочери, горный инженер, получил назначение в далекий Норильск, и дочь, обеспокоенная новым устройством, сказала матери:

— Мы, наверно, всего годика два пробудем в Норильске, Мишу посылают только наладить кое-что в горнометаллургическом комбинате, зачем тебе забираться с нами в такую даль? Поживи это время у Адриаши, тем более он недавно получил новую квартиру, ему и самому будет, наверно, приятно, если поживешь у него.

Но все получилось совсем иначе, так что даже далекий Норильск казался близким в сравнении с тем, как получилось.

— Как же, мама, так, даже не списались? ..— сказал сын, когда она приехала.

А его жена Зоя стояла в утреннем халатике, с завитушками в темных волосах, маленькая и хорошенькая, но с тем неопределенным выражением лица, что ничего не прочтешь на нем, смотрела кругленькими, черными

глазками, как эта седая тихая женщина, оставив в прихожей чемоданчик, стояла, как бы виноватая в том, что так получилось.

— Разве Надя ничего не написала тебе?— спросила она сына.

— Писала, что ее муж получил новое назначение, а больше ни о чем не написала.

Но Зоя любезно сказала:

— Раздевайтесь, Ольга Андреевна, позавтракаем вместе. Адриан сейчас к защите готовится, так что пока работает дома.

И Ольга Андреевна сидела за столом, пила кофе, чувствовала себя совсем лишней здесь со своим несвоевременным приездом.

Позднее, когда надо было все же выяснить, как будет дальше с ней, Ольга Андреевна сказала:

— Я, Зоенька, совсем не собираюсь стеснять вас... у меня в Москве одна давняя моя сослуживица живет, мы с ней в Челябинске вместе в одной больнице работали, тоже медицинская сестра, как и я. Она звала меня пожить у нее, но только после Нового года, у нее сейчас племянница гостит, после Нового года уедет, тогда я к Вере Петровне переберусь. Уже начало октября, так что всего месяца два неудобство для вас будет, что ж теперь делать.

До войны у Ольги Андреевны была в Москве своя комната, а с эвакуацией все нарушилось, уехала в Челябинск с дочерью, а там пошли годы, дочь кончила школу, вышла замуж, и вот уже скоро начнет ходить в школу внучка Леночка, которую увезли от нее в Норильск.

— Мы, конечно, очень рады вам,— сказала Зоя,— но беда в том, что у нас всего две комнаты, в одной Адриан работает, я мимо его двери на цыпочках прохожу, а другая комната — моя, вместе с тем и наша столовая.

Адриан, видимо, чтобы самому не сказать это, ушел в свою комнату, и Ольга Андреевна сквозь открытую дверь увидела его рабочий стол и папки с завязанными тесемочками...

А далее по тому закону, какой действует в поездах дальнего следования, когда необходимо как-нибудь устроиться, чтобы доехать до нужного города, для Ольги Андреевны выдвинули в кухню кресло-кровать,

совсем не к месту вставшее в весело блистающей кухне с газовой плитой и красивой кухонной мебелью — белым шкафом с посудой и красными табуретками.

Медицинская сестра Вера Петровна Оскочинская, с которой Ольга Андреевна прежде работала, действительно приглашала пожить у нее, если случится побывать в Москве, но, конечно, лишь на короткий срок, и Ольга Андреевна на другой же день своего приезда поехала к ней в Боткинскую больницу, где та сейчас работала. Она нашла в глубине двора хирургический корпус и попросила вызвать медицинскую сестру Веру Петровну Оскочинскую.

— Оленька! — воскликнула та еще издали, спускаясь по лестнице.— Какими судьбами?

И Ольга Андреевна рассказала ей, какими судьбами она в Москве и какие вообще бывают судьбы, когда не сама распоряжаешься своей судьбой.

— Уж и не знаю как,— сказала Вера Петровна, маленькая и подвижная.— У меня еще племянница гостит, правда, скоро уедет... Конечно, если недельку-другую поживете у меня, ничего, кроме радости, не доставите. Вспомним наше с вами челябинское житье... я после Челябинска долго не могла к Москве привыкнуть, мы тихо там жили.

И еще о чем-то челябинском стала вспоминать Вера Петровна, потом спохватилась:

— Заговорилась я с вами... но так приятно было увидеть вас, Оленька! Так что после Нового года поживите у меня, по вечерам телевизор смотреть будем.

Ольга Андреевна еще с утра, пока в доме спали, превращала свою постель в кресло, сидела в нем с вязанием, дожидаясь, когда проснется Зоя, уходившая на работу к девяти в научный институт, где работала лаборанткой и где в свое время познакомилась с Адрианом. А сын вставал позднее, долго расхаживал в пижаме, позавтракав, садился за рабочий стол, и Ольга Андреевна тоже на цыпочках проходила мимо двери его комнаты, потом брала вязанье и венский гнутый стул, спускалась в лифте во двор, садилась в стороне и вязала. Сын ничего не говорил, но она чувствовала его недовольство тем, как все получилось, сестра не нашла даже нужным предупредить ни о чем, и Ольга Андреевна казалась себе виноватой во всем этом трудном для всех или даже

мучительном. Она собралась как-то к Вере Петровне, та пообещала помочь устроиться в Боткинскую больницу, а насчет того, чтобы Ольга Андреевна пожила у нее, промолчала: племянница еще гостила у нее, может быть, поживет и после Нового года...

— Все вяжете,— сказала Нина Васильевна, остановившись возле нее, а губы Ольги Андреевны шевелились, считая петли.— Вы, конечно, извините меня, я в чужую жизнь никогда не вмешиваюсь, но все-таки больно мне смотреть на вас. А к вам у меня такая просьба: вы ведь медицинский работник, моей сестре уколы прописаны,— может, не откажете делать уколы, раз в сутки только, а потом, врач говорит, можно будет два раза в неделю.

И Ольга Андреевна согласилась приходить в сто тринадцатую квартиру делать уколы сестре Нины Васильевны, тоже ткачихе, Антонине Васильевне, и так похожи были сестры своими несколько широкими, добрыми лицами, и трудовой своей жизнью, и всем тем, что дает человеку трудовая жизнь: в первую очередь, понимание чужой судьбы и сочувствие, если что-нибудь не так сложилось.

После укола Антонина Васильевна долго не отпускала ее, принуждала выпить чай, и о стольком находилось им поговорить.

— Что же теперь делать, миленькая,— сказала Антонина Васильевна раз,— не всем счастье полностью отпущено, приходится нередко со многим примириться.

Антонина Васильевна по своей деликатности не могла сказать большего, только жалела ее, поднявшую в самую трудную пору войны двух детей, а мужа убили, и медицинской сестре в военном хирургическом госпитале тоже немало пришлось испытать в войну...

— У каждого своя жизнь,— сказала Ольга Андреевна сдержанно,— и самое лучшее, конечно, жить так, чтобы никому не мешать.

Вера Петровна помогла устроиться в Боткинскую, но только с пятнадцатого декабря, когда одна из медицинских сестер уйдет на пенсию, а насчет жилья обещала поговорить с одной из нянечек, которая была не прочь пустить к себе жилицу. И хотя и далеко это, где-то в Люблине, лучше так, а здесь не раз замечала она недовольный взгляд Зои в сторону кресла-кровати, и вправ-

ду стоявшему не к месту в блистающей, веселой кухоньке.

— Я очень прошу вас, Ольга Андреевна,— сказала Зоя раз, и вся она со своими ямочками на щеках и улыбкой казалась расположенной к ней,— я очень прошу вас, Ольга Андреевна... зачем вы уходите с вязаньем во двор? Про нас с Адриашей злые языки и без того плетут невесть что. Неужели вам дома мало места? Или могу посоветовать: у нас в соседнем доме есть библиотека, почему бы в общественном порядке вам не помочь библиотекарше? Я уже поговорила с ней, она на выдачу книг приглашает вас, и интересную книжечку будет время почитать.

— Я, Зоечка, никому не хочу мешать... А что злые языки говорят — бог с ними,— сказала Ольга Андреевна.

— Как это бог с ними? — даже чуть возмутилась Зоя.— Каждому своя репутация дорога, я очень прошу вас все-таки посчитаться с этим.

— Станет похолоднее, я в красный уголок буду уходить, а пока хорошая осень стоит, свежим воздухом подышать хочется.

Она и в этот день взяла венский стул с его овальной спинкой, спустилась с ним в лифте, и холодная стеклянная дверь качнулась перед ней. Ольга Андреевна выбрала место в стороне от стоянки автомашин, возле облетающих деревцов, и деревца сыпали время от времени свои сиротские листочки на ее колени.

— Моя Антонина без ума от вас,— сказала Нина Васильевна,— так вы ей по душе пришлись, и от уколов ей лучше стало, у вас, видать, добрая рука.

Ольге Андреевне не раз говорили больные, когда им становилось лучше, что это от ее доброй руки, и она чуть усмехнулась.

— Я скоро опять начну в больнице работать, тогда в Люблино перееду, придется нам с вами разлучиться.

— Так жалко мне это, мы с сестрой уже привыкли к вам.

И Нина Васильевна, постояв еще возле, ушла, а Ольга Андреевна осталась сидеть со своим вязаньем, но подул северный ветер, стало холодно, и она сложила свое вязанье в сумку, захватила стул и поднялась вскоре в лифте на седьмой этаж.

— Это ты, мама? — спросил из своей комнаты сын: должно быть, загремела дверная цепочка.

Ольга Андреевна подошла на цыпочках к его комнате, постояла у двери, но сын больше не окликнул ее.

Как-то, сидя за вязаньем в своем кресле-кровати, которую раскладывала только тогда, когда в доме все лягут, она услышала, как Зоя вполголоса сказала сыну:

— Ужасное неудобство все-таки с кухней, а посуду нередко приходится в ванной мыть.

Ольга Андреевна всегда старалась сама вымыть посуду, но Зоя была все же права, что с кухней, в которой живет теперь мать, неудобство, да и все неудобство, даже то, что Ольга Андреевна уходит со своим вязаньем во двор, тоже неудобно, только повод злым языкам позлословить. . .

Она неслышно вышла из квартиры, спустилась вниз, погода, видимо, менялась, и деревца на том месте, где будет со временем сквер, гнулись под ветром. Некоторое время Ольга Андреевна помогала библиотекарше в соседнем доме, но библиотекарша, старая и глуховатая, всегда недовольная чем-то, сказала ей однажды с сердцем:

— Вы, милая, только карточки в картотеке путаете. . . потом и не разберешься.

И Ольга Андреевна перестала ходить в библиотеку.

Красный уголок при доме находился в полуподвальном помещении, в сводчатой комнате было уже совсем сумрачно, на столе лежали забытый кем-то журнал и шахматная доска, а шахматные фигуры насыпаны были в коробку из-под печенья.

Ольга Андреевна села в кривоватое от ослабевших пружин кресло, притянула журнал «Философська думка» на украинском языке и подержала журнал в руках, глядя поверх страниц. Потом, достав из сумочки вязанье, положила клубок шерсти на колени, и ее губы привычно зашевелились, считая петли. Она вязала, думала о внучке, которая уже пошла в Норильске в школу, думала и о том, что не дождется, когда снова начнет работать в больнице. За ее плечом вдруг засипело, оживился розовый пластмассовый динамик, кто-то произнес

вводное слово, а потом мужской голос запел: «Ты прости, прощай, милая», запел так, будто навсегда прощался с чем-то самым дорогим, самым нужным в жизни. Ольга Андреевна слушала, потом что-то защекотало ее щеку, но она, сама обманув себя, не отерла щеки...

ПЛАНЕТА

Перед тем, как должны были принести третью полосу, на которой шел материал его отдела, Костромин заходил обычно в соседнюю комнату, к международнику Ставицкому, которому тассовские последние известия передавали позднее, и оба отрывались на полчасика от редакционных дел и пили чай, принесенный буфетчицей Соней, стоявшей на своем посту чуть ли не с самой войны...

— Планета... — сказал Костромин, входя и как бы принюхиваясь к микроклимату международного отдела,— у тебя всегда планетой пахнет.

Ставицкий, полный и лысоватый, в больших очках с дужками шириной с палец, уже давно приросший к своему редакционному креслу, возле которого действительно как бы шумела по всем мировым каналам планета, снял очки, довольный, что можно отвлечься от воспаленных сообщений из множества стран — вековых или недавно возникших.

— Что ж, у планеты, несомненно, свой запах,— согласился он.— А у тебя что сегодня на обед?

— Суточные щи в сравнении с твоим телетайпом: фельетон по поводу неправильного распределения квартир в одном городе и стишок на подборку.

— Не так-то мало. Бывает, даже события мирового порядка возникают из кофейного зернышка... возьми на заметку.

Ставицкий всегда поучал хотя уже и не столь молодого, однако лишь несколько лет назад окончившего факультет журналистики Костромина, высокого, с бачками по моде и гривой черных волос, таких черных, что только невольно вздохнешь и проведешь рукой по своей лысине.

Он поднял трубку внутреннего телефона, сказал минуту спустя:

— Соня, чайку бы двум молодым энтузиастам.

И Соня, знавшая все редакционные новости, когда-то живая и розовощекая, а теперь уже несколько дородная, с перманентом в пепельных, прежде пшеничного цвета волосах, принесла вскоре поднос с двумя стаканами крепкого чая.

— Я пирожков с капустой захватила... а ватрушки вчерашние.

— Пирожок с капустой, например...— сказал Ставицкий, когда буфетчица ушла.— Что такое пирожок с капустой, кажется? Однако моя мать только в большие праздники пекла пирожки с капустой для трех безотцовых, а отец под Смоленском погиб. Тебе вот, Василий Никитич, фельетон насчет неправильного распределения квартир мелочишкой кажется: действительно, что такое в свете мировых событий судьба какого-нибудь инвалида войны, какого-нибудь ефрейтора Иванова, которого обошли с квартирой? Однако то, что мы с тобой сидим сейчас в тихом редакционном кабинете, пьем чай, вечером ты с женой пойдешь в кино, может быть, я со своей посижу у телевизора, а завтра с домочадцами намереваюсь провести воскресный день в Кратове, у матери жены,— кому мы этой благодатью обязаны? Тому же Иванову, в частности, которого обошли с жильем... но ты соедини воедино всех этих Ивановых, вспомни, что в мировую копилку они свою копеечку вложили, крепко кое-кого научили: лучше не ввязываться с нами в войну. Так что — побольше о человеке, о том, что ему не хватает или с чем обошли его! Механики могут тебе авторитетно сказать, что ни одно маховое колесо без подшипников не сдвинется.

Ставицкий несколько любил послушать самого себя.

— Мы живем в пору, когда примером устройства собственной жизни можно завоевать гораздо больше, чем оружием, и главари тех, кто полагал в свое время, что нас легко уничтожить, на всякий случай поручали дантистам заделать им в зуб капсулу с цианистым кали... хруст этих капсул мы слышали! — Он помолчал, поиграл толстыми пальцами по столу, сказал еще: — Видишь, как получается... начали с пирожков, а добрались до исторических масштабов.

Буфетчица Соня вернулась за пустыми стаканами, а жена Ставицкого, Сусанна Ивановна, работавшая прежде стенографисткой в редакции, уже звонила ей втайне от мужа по телефону:

— Сонечка, сегодня Иннокентию Витальевичу что-нибудь полегче, ночью у него опять разыгралась печень.

Соня ответила:

— Не беспокойтесь, Сусанна Ивановна,— и к завтраку, когда Ставицкий сел в буфете за столик, поставила перед ним блюдечко с обезжиренным творогом, доверительно сказала: — Рагу не рекомендую,— и Ставицкий послушно принялся за творог.

А вечером она принесет ему чай без обычного бутерброда с колбасой, только с миндальным пирожным — и принимайте на здоровье тассовские сообщения, Иннокентий Витальевич. Все-таки и она в редакции что-то значит, от питания многое зависит в работе сотрудников, всегда напряженной, когда каждое словечко на весу... а чуть свет — пойдет по всей стране это словечко.

Костромин вернулся в свой отдел, вскоре принесли сырую полосу с его материалом, и он принялся вычитывать очерк «Случай в лесу». В очерке описывалось, как школьники навели охотинспектора на след браконьера, убившего лося, и случай с убитым лосем разросся до темы о росте нравственного сознания юных граждан...

Он усмехнулся самому себе, покрутил диск внутреннего телефона и сказал Ставицкому:

— Пожалуй, я уяснил все-таки, чем пахнет наша планета,— озоном.

— А чем же ей еще пахнуть... именно в озоне вращается она, наша кругляшка. Правда, некоторым деятелям кажется, что она прежде всего пахнет нефтью... но это — возрастное, пройдет. Пройдет вместе с теми, у кого так устроен нос.

И Ставицкий сам остался доволен своей сентенцией, на столе у него лежала вычитываемая полоса, а в руке был красного цвета фломастер, которым удобно вносить поправки, подобно штурману, выверяющему в пути курс.

КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА

Машина шла по вечерней кольцевой дороге в красном пунктире идущих впереди машин или с белыми снопами встречных,— шла по дороге, опоясывающей Москву, соединяющей все ее далекие районы, соединяющей и Внуковский аэропорт, куда прилетел он, Дмитрий Ксенофонтович, еще засветло. Но пока выбрались на кольцевую дорогу, стемнело, был уже конец сентября, и, глядя на встречные или уходящие впереди огни автомашин, Дмитрий Ксенофонтович как бы читал свою собственную жизнь со всеми ее уходящими или ушедшими огнями, а встречные мало что сулили, только ослепляли по временам.

Он думал о том, что уже почти десять лет не видел сына, почти десять лет прошло с тех пор, когда повел он в школу похожего на девочку своим робким характером Юрочку, несколько писем от него были написаны еще совсем детским почерком, а потом писем больше не было: наверно, мать сказала, что не к чему писать тому, кто оставил их, а может быть, сказала, что отец бесследно пропал и незачем писать в неизвестность. . .

Красные огоньки впереди шли двойным рядом, у каждого из едущих, несомненно, была своя цель, а он, Дмитрий Ксенофонтович Скалдин, инженер-нефтяник, строивший нефтепровод «Дружба», едет теперь без всякой цели по этой уже почти ночной кольцевой дороге. . . однако все же с тайной целью для себя.

По временам, освещенные матовыми сильными огнями, проходили посты ГАИ, а дальше снова тянулась цепочка идущих впереди машин.

Не было писем и от жены, только однажды она написала ему по деловому поводу, и, думая о сыне, Скалдин прикинул, что он уже в девятом или десятом классе. . .

Машина свернула в сторону развязки и пошла вскоре по другому, некогда столь знакомому Минскому шоссе: он получил тогда квартиру в стандартном доме для строителей, год спустя родился сын, и по выходным дням катал он колясочку с сыном, а старый машинист Савельев, водивший прежде составы с нефтью из Баку

или Грозного, сидел с газетой в палисаднике, говорил: «Наследника обкатываете?» — и это все тоже прошло в темноте шоссе.

Потом свернули в сторону, проехали леском, и вот снова было перед ним то жилье, в которое когда-то, вернувшись с женой из родильного дома, поднялся он с их первенцем на руках.

Он расплатился, взял свой туго набитый портфель, а чемодан оставил в камере хранения аэровокзала. Одно окно его бывшей квартиры светилось, и Скалдин поднялся по деревянной лестнице на второй этаж.

— Кто? — спросил почти мужской голос за дверью.

— Впусти, Юра,— сказал Скалдин неуверенно.

Сын стоял в дверях, уже рослый, уже с темным пушком на верхней губе, но не посторонился и не впустил пришедшего.

— Мамы нет дома,— сказал он, не то узнав, не то не узнав отца.

— Но ты-то ведь дома... а я твой отец все-таки.

Скалдин слегка отстранил сына, вошел в прихожую, а в комнате на письменном столе, некогда принадлежавшем ему, горела лампа под зеленым колпаком и лежали тетради и книги.

Сын угрюмо и выжидательно молчал, и неприязненное или даже враждебное встало между ними.

— Конечно, не удивительно, что ты не сразу узнал меня... я уезжал, когда ты еще совсем махоньким был,— сказал Скалдин, садясь на диван, который когда-то служил ему постелью.— Что было делать, Юрочка... не мне одному пришлось по моей работе уехать далеко. Теперь зато я навсегда перевелся в Москву.

Но юное, однако уже с мужскими чертами лицо сына оставалось чужим.

— Поймешь со временем, что не всегда получается, как хотелось бы,— сказал Скалдин еще.— Но я постоянно думал о вас с мамой. Кстати, привез тебе одну вещицу в подарок... японский транзистор: малыш, а ловит весь мир.

Он достал из портфеля транзистор, но сын лишь покосился на него, и, хотя Скалдин настроил волшебный ящичек и сначала была музыка, потом английская речь, как-то некстати прозвучало это. Он выключил транзистор, и на минуту совсем пусто стало в комнате.

— В котором часу возвращается мама?

— А вам зачем? — спросил сын неуважительно, и Скалдин посмотрел на его крепкую — наверно, занимается спортом — грудь.

— Что это за вопрос? Все-таки я не в гости приехал, а к себе домой.

— У мамы ночное дежурство, она вернется только утром.

— Жаль... придется, значит, мне переночевать у вас. Давай поужинаем, еда у меня есть.

И Скалдин достал из портфеля сверток, в котором были вареные яйца и колбаса.

— Нет, пожалуйста,— сказал сын поспешно,— пожалуйста! Вернется мама, она как хочет, а я не могу, пожалуйста.

— Что значит — пожалуйста? — спросил Скалдин, раздражаясь.

— Завтра мама будет дома, она как хочет, а я не могу. Если вы останетесь, я пойду ночевать к товарищу.

— Весело,— усмехнулся Скалдин,— куда как весело! Или нам будет тесно вдвоем? Не думал я, что у меня вырастет такой сын... не думал.

— Завтра мама будет дома, она как хочет, а я не могу.

Уши сына горели, а губы с темным пушком дергались.

— Что ты заладил — не могу, не могу? Кажется, никто вас обижать не собирается.

— Не знаю, только ночевать у нас нельзя... мама возвращается с работы усталая, так что — пожалуйста, прошу вас!

Он как бы загораживал собой мать от того, кто причинил им столько горя.

— Ты все-таки сообрази, куда я на ночь глядя денусь?

— У нас на углу всегда бывают такси.

Скалдин сидел сгорбившись, сложив руки между колен, а на полу лежал знакомый коврик, только уже обветшавший.

— Смотри, Юра, раскаешься когда-нибудь... еще как раскаешься!

Но сын стоял в такой напряженности, что Скалдин представил себе, какую провел бы ночь, оставшись.

— Ладно, переночую в гостинице аэропорта. А маме я расскажу, как ты обошелся с отцом.

— Знаете что — не трогайте маму... мама давно сказала, что с прошлым все кончено.

— Рановато тебе рассуждать об этом.

Однако не о чем было больше говорить, и Скалдин, помедлив, сунул сверток с ненужной едой обратно в портфель.

— Конечно, следовало бы тебя проучить, да ладно уж.

Он надел в прихожей пальто, стал спускаться по ставшей еще более скрипучей лестнице, сын шел позади и, еще издали увидев зеленый огонек, заторопился к машине.

— Что это? — спросил Скалдин, когда сын протянул ему какой-то предмет.

— Вы забыли ваш транзистор.

— Так... — задумался на минутку Скалдин, — так.

Он взял транзистор, подумал еще минуту, но ничего не сказал.

Машина пошла по Минскому шоссе, на развилке свернула в сторону кольцевой дороги, и сипучий голосок вдруг запел на мотив старенькой полечки: «Что имеем, не храним»,— на мотив такой старенькой полечки, и шарманка с ее гугнивыми всхлипами была старая, и то, что произошло с ним, горькое, как полынь или хина, было тоже старое по однообразному повторению обстоятельств, когда ничего, кроме опавшей листвы, в пустоте не нашаришь... а по кольцевой дороге можно только кружить. Ну, и кружи, если у тебя много времени!

Но Скалдин сказал это мысленно не только за сына, но и за самого себя.

— Не опоздаем? — спросил водитель.

— Успеем.

Водитель достал из ящичка пачку сигарет, привычно придерживая руль локтем, чиркнул спичкой, и в машине запахло табаком.

А полчаса спустя Скалдин увидел в небе красный проблеск огоньков на крыльях идущего на посадку самолета, и вскоре, сделав полукруг на площади, такси подъехало к аэровокзалу.

ВОСХВАЛЕНИЕ ОСЕННЕГО НЕНАСТЬЯ

Переулок, называвшийся Дачным, оказался узеньким, расплывшимся в глине проулком, и Зимин, держась возле заборов и по временам хватаясь за поперечины штакетника, чтобы не поскользнуться, добрел до крайнего дома, за которым сплошь укрытое сизой сеткой дождя лежало поле. Было то осеннее, безрадостное ненастье, когда весь мир кажется глухим и нелюдимым, словно у него нет никакой жалости к человеку.

И, остановившись у палисадника дома, Зимин вспомнил такое же голое, залитое дождем поле...

Зенитная батарея, которой тогда он командовал, охраняла железнодорожный мост через Южный Буг, на мост по нескольку раз в день налетали немецкие бомбардировщики, почти все ближние дома были разбиты, и лишь несколько уцелевших ждало своей участи.

В одном из домов жила тогда та, по письму которой приехал он сейчас сюда, учительница Анна Павловна Стогова с пятилетней дочкой Катей. Заглянув на ходу в этот дом, Зимин сказал:

— Оставаться здесь нельзя... переберитесь хотя бы в одну из ближних деревень.

— Нас еще третьего дня хотели эвакуировать, но не нашлось машин, должно быть... может быть, завтра нас вывезут.

Женщина была беспомощна, и он подумал тогда, что завтра, возможно, будет уже поздно...

— Щели у вас, по крайней мере, выкопаны?

— У нас под домом убежище.

И он подумал еще о том, что, даже если бомба разорвется поблизости, ничего от дома не останется.

Он принял тогда близко к сердцу судьбу учительницы с ее дочкой, решил, что в крайнем случае посадит их в машину, которая пойдет за снарядами, только бы не оказалось роковым следующее утро.

И, глядя сейчас на осеннее мокрое поле, он вспомнил и Южный Буг, и ту сердечную боль, какую испытал при виде молодой женщины с ее дочкой...

— Прошу вас, запишите номер полевой почты... дайте знать моему мужу, инженеру второго ранга Анд-

рею Николаевичу Стогову, что мы ушли, если только успеем.

Женщина кусала губы, чтобы не заплакать, а он, Зимин, подумал, что, если и напишет инженеру Стогову, дойдет ли его письмо в сумятице отступления... а может, уже и не существует тот, кому он должен написать...

— У меня к вам тоже просьба: окажетесь в тылу, напишите по этому адресу моей жене, что повидали меня.

Он достал из полевой сумки блокнот, записал адрес, а когда вернулся к своей батарее, темнота вскоре розово осветилась заревом пожарища, бомбили железнодорожную станцию, начались глухие взрывы, видимо, от загоревшегося состава с боевыми припасами, а на рассвете тяжелые «юнкерсы» налетят, наверно, и на мост.

Отрытая неподалеку от моста землянка встретила после осеннего холода теплом, и он прилег и сразу заснул зыбким, готовым при первой же тревоге прерваться сном. Но было тихо, и он лишь под утро проснулся от какого-то ровного шума, словно шел поблизости тяжело груженный поезд. Он толкнул дверцу землянки и увидел, что над Южным Бугом, над степью, над всем миром, казалось, льет плотный, сплошной дождь...

После войны, когда все пережитое и выстраданное на ней разворачивало по временам в обратном порядке свой свиток, он неожиданно получил письмо из того, казалось, навсегда ушедшего мира:

«Пишет вам наудачу ушедшая, наверно, из вашей памяти учительница, у которой вы побывали в начале войны. Помните железнодорожный мост через Южный Буг и то, как вы зашли в наш дом, а моя дочка была тогда еще совсем маленькой? Война унесла многое из моей жизни, унесла и мужа, погиб, когда строилась переправа через Ингулец. Я с дочкой, после того как вы побывали у нас, прожила еще два дня в нашем домике, а потом нас эвакуировали. И вот через столько лет, что, кажется, прошла целая жизнь, пишу по оставленному вами когда-то адресу в надежде, что вы уцелели в этой проклятой войне.

Я сейчас учительствую в одной поселковой школе недалеко от Москвы, поселок наш называется Березово.

Сообщаю вам, если захотите ответить, свой адрес. Живу со второй Катенькой, моей внучкой, а дочь, которую вы видели когда-то, стала геологом, сейчас со своим мужем в экспедиции, вернутся только к Новому году. Я своей внучке часто рассказывала о войне, рассказала и о том, как ваша зенитная батарея защищала мост через реку, и, наверно, именно ей мы обязаны, что не погибли при первой же бомбежке. В представлении моей внучки вы — особенный человек, защищавший ее мать и бабушку в моем лице. Если это письмо дойдет до вас и вы вспомните минувшее, напишите ответ. С годами все чаще перебираешь свои дни, как четки, и то, что было хорошего в них, вспоминаешь с особенной яркостью».

И Анна Павловна Стогова написала еще немного о себе, а он, Зимин, некогда командир зенитной батареи, затем командир зенитного полка, уже давно носил звание профессора, заведовал в одной из военных академий кафедрой, обращаясь к самому себе, думал не раз о том, что в свое время, понадеявшись на более спокойное будущее, они с женой опоздали с детьми и теперь некому собраться возле семейного камелька...

Написать письмо по адресу, который дал он тогда, учительница смогла лишь много позднее, оно пришло в пору, когда при отступлении долго не было вести от него, и жена никогда не забывала, как всколыхнула ее в свое время эта весть.

Он показал жене письмо Стоговой, и жена сразу сказала:

— Непременно съезди к этой учительнице, пригласи и ее побывать у нас. Ее письмо так поддержало меня тогда, когда ты совсем потерялся где-то.

Он наметил день, чтобы поехать в поселок Березово, выбрал субботу, написал предварительно Стоговой, что собирается посетить ее. Но в конце недели пошел дождь, началась непогода, однако, подумав, что его будут ждать, он поехал все же.

...Он стоял у калитки палисадника, смотрел на поле в такой слякотной, унылой печали, а когда поднялся на крыльцо, дверь почти сейчас же открыли.

— Спасибо,— сказала женщина, видимо поджидавшая его,— спасибо, что приехали!

А он смотрел на нее, искал в этой уже почти седой ту молодую сероглазую женщину, которую впервые увидел в домике на берегу Южного Буга.

— Постарела? — спросила Стогова с той как бы виноватой улыбкой, с какой стареющая женщина встречает испытующий взгляд знавшего ее молодой когда-то...

— Я тоже свои годы не как выслугу ношу,— сказал он.

А возле Стоговой, держа ее за руку, стояла девочка и смотрела на того, о ком бабушка говорила не раз, что он своими пушками защитил их, мать и бабушку, он был из легенды, Зимин, сказочный стрелок по воздушным целям, сказочный защитник их дома.

— По совести, я поколебался было ехать в такую погоду,— сказал Зимин, снимая с себя мокрый плащ.

— А у меня к осеннему ненастью навсегда осталось особое чувство: помните, как оно укрыло нас от самолетов тогда? Заходите же, порасскажем немного друг о друге.

И Стогова рассказала ему, что после гибели мужа она не вернулась в родные места, осталась под Москвой, растила дочь, теперь растит внучку. А девочке он, видимо, сразу внушил доверие, потому что она принесла показать тетрадку со своими рисунками цветными карандашами, на одном рисунке был домик с дымом из трубы, а в нескольких голубых полосках речки плавала уточка... но это мог быть и Южный Буг.

— Подари мне на память, в этом домике жили когда-то твоя мама и бабушка.

— Возьмите,— сказала она готовно.

— Спасибо, Катенька.

— Давайте пообещаем друг другу, что будем все-таки видеться время от времени, — сказала Стогова позднее, когда он собрался уходить. — Мне так дороги эти наши с вами давние странички!

— Непременно будем видеться.

И Зимин вскоре снова шел по глинистому проулку. Поле в его конце сизело под густым дождем, которому, однако, и он, Зимин, обязан был этими давними страничками... И, ощущая колкие капли на своем лице, он подумал, что стерильнее такого дождя даже родниковая вода не бывает.

АТОЛЛ

Жена сидела с книгой в лоджии, той полукруглой нише, откуда почти до самого горизонта видно было опаловое к полудню море, и Ставников постоял рядом в раздумье.

— Хочешь пройтись до обеда?

— Нет, лучше почитаю.

Вера Евгеньевна, в своем легком платье с открытыми до плеч рукавами, осталась читать книгу, а Ставников спустился сначала в парк дома отдыха, где отдыхали больше всего архитекторы со своими семьями, потом по сходням, проложенным через дюны, спустился к морю, почти неподвижному, и только мелкие плоские волны набегали по временам к кромке высохших водорослей и осыпи ракушек.

Все с женой давно шло в той примиренности, когда чувство заменилось привычкой, и хоть можно пойти и вдвоем, однако неплохо побродить и одному, и нередко возникает даже необходимость в этом.

Несколько лет назад они с женой мирно отпраздновали ту годовщину, которая именуется серебряной свадьбой, выпили наедине по бокалу шампанского, жена — несколько нехотя, так как от шампанского у нее всегда болела голова, и они, немолодые супруги, лишь побездельничали в этот день: он не пошел в свою архитектурную мастерскую, а жена, работавшая модельером, не пошла в свое ателье, сготовила хороший обед, и двадцать пять лет отплыли не спеша и скрылись где-то за излучиной. . .

Дом отдыха несколько романтически назвали в свое время «Атоллом», и группа молодых архитекторов постаралась над некоторой экзотикой, раскрасила в разные цвета вестибюль с пальмами и агавами в кадках, чтобы приехавшим казалось, будто они отдыхают где-то в тропиках.

И Ставников побрел вдоль серо-голубоватого моря, чайки по-куриному ходили по песку, временами лениво взлетая, дома отдыха и санатории тянулись над дюнами, а на берегу было царство женщин и детей, малыши пересыпали песок, а их орехово загорелые матери, казалось, навсегда распростились с городом.

Но и он сам, Ставников, ощущал такое же освобождение от обычных дел, брел не спеша по сыровато-упругому песку, потом присел в стороне на скамейку, а рядом сидел человек в темных солнечных очках.

— Наверно, архитектор? — спросил тот.

— Да, грешу этим. А вы?

— Театральный художник.

— Готовите что-нибудь новое?

— Собираюсь писать эскизы декораций к «Антонию и Клеопатре» Шекспира. Одна сцена происходит близ Мизенского мыса, а другая на палубе галеры, так что поищу вдохновения у моря.

— Поищу и я вдохновения у моря: строим один новый район, а море первый враг скученности.

И они несколько лениво поговорили еще о своих профессиях.

— Ну вот и за мной,— сказал художник.

Сверху по сходням спустилась молодая женщина с девочкой за руку, и Ставников со странным, внезапно возникшим чувством поглядел на женщину, поразившую смутным сходством с кем-то. . .

— Папа, обедать.

Художник поднялся, взял девочку за руку, сказал Ставникову: «Наверно, еще не раз встретимся»,— и они втроем стали подниматься по ступенькам, а Ставников посидел еще минуту в какой-то тревожной, неосознанной смятенности. . .

Он вернулся в дом отдыха, жена была уже готова к обеду, в голубом легком костюмчике с брючками, еще красивая и моложавая, хотя уже не так-то легко давалось это, и они спустились на второй этаж, в столовую. Ставников еще издали увидел художника с его семьей, и когда знакомая официантка наклонилась, ставя перед ним блюдо, вполголоса попросил ее:

— Узнайте, пожалуйста, фамилию того человека.

Он кивнул в сторону, и официантка, когда принесла очередное блюдо, сообщила также вполголоса:

— Художник Ясенев.

Ставников не притронулся к мисочке, в которой плавало несколько слив, только машинально поворачивал их ложечкой, а на дне мисочки лежало то, что сразу возникло, когда молодая женщина с девочкой спустилась по дюнам. . .

Жена после обеда обычно отдыхала, он довел ее до лифта, сказал:

— Ты полежи, а я позвоню из почтового отделения в Москву.

Но он пошел не в сторону почтового отделения, а спустился к морю, долго шел берегом, пока дома отдыха и санатории не остались позади...

И из таких морских далей, из таких далеких стран возникло то, что никогда не уходило в своем мучительном воспоминании. Еще молодым архитектором он встретил милую, тихую девушку, молодую художницу Олю Ефремову, и почти сразу соединившее их казалось навсегда счастливо найденным. Но по распределению он попал в один из больших волжских городов, где шло строительство новых районов, встретил там более настойчивую и смелую женщину, именно ту, с которой отпраздновали они недавно свою серебряную свадьбу, однако было это не праздником долгой любви, а скорее праздником долгой совместной привычки...

Впоследствии он узнал, что Оля вышла замуж за художника Олега Николаевича Ясенева, преподававшего в институте, где она училась, стала и сама художницей, и однажды ему попалась в руки детская книжка с рисунками художницы Ольги Ясеневой.

И хотя давно уже запорошило то, что пришло в его жизнь когда-то, но навсегда осталась нежная память сердца вместе с чувством виноватости, однако прежде всего перед самим собой...

Он стоял на берегу, смотрел на море, думая о том, что́ потерял и что́ нашел в своей жизни, и может ли спокойствие мерного хода дней заменить взволнованную молодость?

Пошла вдруг мелкая косая волна, море было уже не вяло-сиреневым, а посиневшим, к вечеру, наверно, наберет возвещенные накануне сводкой погоды четыре балла. Он поднялся на дюны, прошел улицей городка, выпил в кафе чашечку черного кофе и две рюмки коньяку, а жена, когда он вернулся, спросила:

— Ну что слышно в Москве?

— Говорят — жарко, а в остальном — порядок. И вообще — порядок, Вера, образцовый порядок.

Она несколько удивленно посмотрела на него:

— Ты не выпил случайно?

Он дыхнул, и жена почувствовала запах коньяка.

— Совершенно зря. К морю приезжают отдыхать, а не пить коньяк.

Это было тоже разумно и правильно, и он повторил:

— Порядок. Ты умница, Вера.

Но жена была действительно умница, она сразу почувствовала что-то, коньяк Ставников не любил и почти никогда не пил, да и по многому другому, что за четверть века совместной жизни умеешь понимать, она почувствовала что-то...

— Встретил кого-нибудь? — спросила она прозорливо.

— Кого же я мог встретить... чайку?

— С тобой всегда что-нибудь не так,— сказала она недовольно,— с тобой всегда мучение.

И наверно, ей тоже казалось теперь, что все в ее жизни пошло иначе, чем она хотела.

— Чепуха, Вера,— вздохнул он.— Чепуха.

Больше они ничего не сказали друг другу, позднее Вера Евгеньевна ушла на берег, а он спустился в вестибюль, который с фантазией оформили молодые художники: в кадках стояли пальмы и агавы, а на большом, во всю стену, плафоне изображены были коралловый атолл и лагуна, над которой летела какая-то морская птица.

Но к вечеру, когда Вера Евгеньевна вернулась, освеженная морским крепнущим ветром, был уже действительно порядок, и, переодевшись, можно было идти ужинать.

Они спустились в столовую, не спеша поужинали, просмотрели меню на завтра, заказали обед, он — биточки, жена — курицу с рисом, а в сторону, где сидел художник Ясенев со своей семьей, Ставников не глядел, и в коралловой тишине атолла стояли тихие тропические сумерки... но море — другое дело, на нем были уже полные четыре балла, а по телевизору бюро погоды объявит, может быть, что завтра ожидается шторм.

Художник Ясенев со своей семьей пошли к выходу, его дочь даже не взглянула на незнакомого ей и совсем ненужного человека — архитектора Дмитрия Алексеевича Ставникова, о котором и не слышала никогда... а ее мать — почему не была она с ними, или, может быть, уже нет на свете той, которую он не забывал никогда?

ЭХО

Иван Лукич надел свое брезентовое, лубяно заскорузневшее пальто, которое — если скинуть на пол — постоит, только чуть скособочившись, свою защиту от дождя, ветра и снега еще с той поры, когда был он ездовым в артиллерийском полку, сражался сначала на Дону, потом и на Буге сражался, а сорвавшиеся от разорвавшегося поблизости снаряда кони с полкилометра волокли его на вожжах, и сухожилья в ногах навсегда остались растянутыми.

Он надел свою брезентовую защиту, надел картуз, взял посох и корзинку для грибов и пошел в лес, уже безлиственный, уже глубоко видный в желто-рыжей своей сердцевине, и осень не по-сиротски, а царственно стояла в его глубине. Он шел, несколько через силу переставляя ноги в резиновых сапогах, а сухожилья схватывало по временам.

Это был их кочаровский лес, глухой бор некогда, а теперь уже давно с полянами и мелколесьем на месте порубок.

Некогда вот так же с сыном Григорием уходил он по грибы, говорил жене: «Готовь уксусу, мать»,— и правда, целую зиму стояли в банках соленые или маринованные, собранные им с сыном грибы, грибок к грибку, боровичок к боровичку, масленок к масленку...

А теперь никого не было, кроме тризны по тем, кого не стало, памяти о них, однако то и дело приходилось смирять ее, чтобы не задушила тоской, особенно ночью... И хотя далеко ушла война, почти сорок лет наросло, как курган, но она была с ним и в нем, Иване Лукиче Ларичкине, в войну — ездовом в артиллерийском полку, а в мирной жизни — стороже при складе лесных материалов, потом подошло и к пенсии.

Некогда таким же осенним днем, если оставалось время, а сын пораньше вернулся из школы, шли они, грибники, в те заповедные места, где домовито прятался на опушке боровичок, который и рукой не обхватишь, сам просился в их корзинки, и счастье было в его доме, Ивана Лукича, жена была, сын был, дочь была, и сам он в ту пору нравился людям своей складностью, своей широкой грудью, своей готовностью помочь другому, ес-

ли тот нуждается в помощи. А там и сын подрос, окончил школу, в лесотехнический метил по лесной семейной их склонности, но война все начисто смахнула. И в те минуты, когда кони волочили его на вожжах, а он изо всех сил упирался ногами в землю, стараясь коней сдержать, зашлось как-то его сердце, а в дальнейшем пришлось сердцу зайтись и от большего.

Сын по окончании школы сразу попал на войну, оглянуться в мирной жизни не успел, а потом и его, Ивана Лукича, когда стали брать кто постарше, призвали, и начали они вместе с сыном воевать, только сын под Москвой воевал, а его, Ивана Лукича, в крутую даль понесло.

О гибели сына он узнал не сразу, жена не сообщила, что после солдатского последнего треугольника, в котором Григорий бодро писал им, отцу и матери: «Воюем, дорогие родители»,— жена не сообщила, что после этого треугольника никакой вести от сына больше не было, а потом пришло то страшное, чего она больше всего на свете боялась, и, хотя сказано было, что пал смертью героя, с этим в материнское сердце не проникнешь...

И ничегошеньки не осталось от того прежнего, только корзинки для грибов остались, некогда доверху полные их с сыном добычей. Эти мысли всегда приходили, когда шел он, Иван Лукич, в лес, по привычке с корзинкой, но кому нужны теперь грибы, если даже и попадется боровик, только поглядеть на него со своими печалью и воспоминаниями.

В лесу они с сыном расходились в разные стороны, нередко далеко расходились и, чтобы не потерять друг друга, перекликались, тогда лес оживал в своей глухоте, и такой мальчишески звонкий был голос у сына, что сразу навстречу ему дрогнет сердце отцовской нежностью. И Иван Лукич, углубившись несколько в лесную глушь, подальше от дач, которые после войны построили на месте порубок, побрел дальше, шарил своим посохом в сухой, опавшей листве, но листва только глухо шуршала, не было и грибов, словно все одно к одному переменилось в его жизни.

Он жил теперь один, жил бобылем, не стало ни жены, ни сына, а дочь только в праздник пришлет открыт-

ку из Ижевска, где живет со своей семьей: «Поздравляю, папа»,— значит, и дочери как бы не стало... а открытка — что ж, разложит он открытки иногда, как карты, поглядит на них, полюбуется Ижевском и сложит открытки обратно.

В том месте, где лес поредел совсем, уходили в линялое небо просеки, а птиц уже не было, увели в южные края свои семьи, и только дятел один старается в тишине леса. А потом наплыло еще, как возвращался он раз с сыном, набрав грибов, шли рядом, по обочинам уже не шарили, и Иван Лукич сказал тогда сыну:

— Вырастешь, женишься, но мы с тобой все-таки нашего дела не бросим, по-прежнему будем за грибами ходить.

И Григорий, которому было тогда лет двенадцать, ответил звонким своим голосом:

— Мы с тобой, папа, всю жизнь будем вместе грибы искать... без тебя и не найду ничего.

Он сказал это для отцовского утешения, но, может быть, был уверен, что так оно и будет, почему же не быть этому, пока жив он, отец? И вот получилось, что жив он, отец, а того, кому только жить бы и жить,— того уже не было, того уже свыше тридцати пяти лет не было...

Иван Лукич шел по лесу, медленно переступал своими больными ногами, пошевеливал иногда носком ноги в резиновом сапоге жесткие, сухие вороха, не находил ничего, а может быть, стал уже плохо видеть, и, приостановившись, чтобы дать отдых ногам, он поднес руку ко рту и крикнул в глубину леса, как кричал когда-то сыну, чтобы не потеряли друг друга: «Эге-ге!» — и вдруг услышал ответное: «Эге-ге!» — услышал мальчишеский, звонкий голос сына, оповещавшего, что он здесь, неподалеку. Это был его голос, Гриши, он не мог ошибиться, отец, и кому же, как не ему, мог Гриша откликнуться, успокоить, что здесь он, вместе с ним, в их лесу, сойдутся на полянке, оглядят корзинки друг у друга, и его сердце тяжело билось от тоски и радости. Иван Лукич снова крикнул: «Эге-ге!» — и тот же звонкий голос сына ответил ему, ответил через все годы его опустевшей жизни, и через годы войны, и через годы, когда был он, Иван Лукич, еще молодым отцом, и через тот год, когда

схоронил он жену, остался бобыль бобылем со своими поврежденными сухожильями, с открыточками от дочери, которые раскладывал иногда на столе, и со всем тем, что осталось от его жизни, и со всем тем, чего не осталось. Он поднес левую руку ко рту, крикнул еще раз: «Эге-ге!» — и голос ответил ему.

Иван Лукич вышел на просеку, пошел по ней, а где просека кончилась и шла поперечная просека, уже давно были построены дачи, и у одной из калиток стоял мальчик и смотрел на него смелыми серыми глазами, такими же, как и у сына, когда ему было двенадцать лет.

— Это вы аукали, дедушка? — спросил мальчик. — Я думал, кто-нибудь заблудился.

— Зачем же заблудился... шел на голос своего сына,— сказал Иван Лукич.— У меня такой же, как ты, шустрый был, только нет его теперь, Гриши.

— А где он? — спросил мальчик.

— В далекой дали,— ответил Иван Лукич,— в такой далекой дали...

Он смотрел в белесую синеву неба в конце просеки, мальчик тоже посмотрел туда, может быть, что-то понял, сказал:

— Меня Славой зовут. Папа в прошлом году построил эту дачу, но мы сейчас уже в городе, только на субботу и воскресенье приехали.

Он был немного конопатый, Слава, подзагорел за лето и от своей летней свободы не все еще отдал начавшимся занятиям в школе. Через плечо у него висела кошелка для грибов, и он сказал хозяйственно:

— Совсем грибов нет. Вы тоже грибы искали?

— Я своего сына искал,— ответил Иван Лукич,— и вот подумать только — почти сразу нашел. Не ушел он от меня, мой Гришенька, мы с ним пообещали друг другу, что всю жизнь будем вместе грибы собирать. Куда же он мог уйти от меня?

Мальчик несколько недоуменно, уже чуть тревожась, смотрел на него: может быть, старик был немножко не в своем уме, наверно хотел с некоторой опаской спросить, где же его сын, но Иван Лукич сказал:

— Ты на моего сынка так похож, будто я его и нашел. И откликнулся, как он откликался... я поначалу

думал, что эхом откликается, а потом — нет, слышу — свежий голос, я на твой голос и пошел, и спасибо тебе, Слава, за нашу встречу.

Мальчику стало словно неловко отчего-то, он не знал, что ответить, смотрел своими ясными глазами на брезентовое пальто Ивана Лукича, на картуз, к которому пристал бурый листок, на свалявшуюся, серую, похожую на мох бороду...

— Осенью всегда — крикни, обратно приходит, — сказал он. — Я сначала подумал, что это мой голос обратно приходит.

— И я насчет своего голоса подумал так... а видишь, как получилось, радостно получилось, я такой радости не смел и ожидать для себя.

Мальчику, видимо, хотелось, чтобы он не обманулся в своей встрече, предложил:

— Хотите, я вам одну волнушечку отдам?.. Я две рядом нашел.

И он достал из своей кошелки лиловатую волнушку с ее округлыми краями.

— Возьму, — сказал Иван Лукич, — засушу на память о нашей с тобой встрече. Ведь это радость.

— Ну да, — неуверенно ответил тот, кого звали Славой и кого судьба, на удивление и утешение Ивана Лукича, привела в субботний день в их кочаровский лес, где некогда бродил он с сыном, надеялся, что станет тот подмогой ему, а там и защитником, когда совсем ослабеют его силы.

Он положил волнушку в корзинку, сказал:

— Грибов я сегодня набрал, мне и не снилось,— хотел было погладить по стриженой голове, но не осмелился, только молчал, а слеза, может быть, от слабого зрения, а может быть, совсем от другого, стояла в его глазах.

— А вы чем занимаетесь, дедушка? — спросил мальчик.

— Я, милый, теперь только своими мыслями занимаюсь... с ними беда, не сдержишь их — раскинутся во все стороны, для меня теперь только это занятие осталось.

И мальчик снова не понял его, а может быть, что-то и понял по-своему.

— Знаете что: когда будете уходить, покричим еще друг другу.

— Покричим,— согласился Иван Лукич.— Мне твоя отдача нужна. Я, может быть, и вышел искать ее и вот ведь как, подумать только, почти сразу нашел, для меня это утешение.

И он снова хотел было погладить коротко остриженную голову и снова не решился, спросил только:

— Ты в каком классе учишься?

— Я в пятый перешел.

— Пятый — это хорошо... это значит, что ты уже наполовину ученый человек, а дальше вторую половину отхватишь. Мой сын хорошо учился, пятерка к пятерке, как боровик к боровику, приносил, в лесотехнический метил. А ты куда после школы?

— Не знаю еще.

— Иди в лесотехнический... с лесом никогда не ошибешься. Видишь, он свел нас с тобой, лес.

Иван Лукич не добавил, что не пришлось сыну стать лесотехником, ничего не пришлось ему в молодой его жизни...

— Вот так-то, Слава,— сказал он напоследок,— так-то, сынок.

И он пошел дальше в глубину леса со своим посохом, едва волочил ноги в резиновых сапогах, и опавшая, мертвая листва расступалась под его ногами.

— Покричите, дедушка,— сказал мальчик вслед.

— Покричу.

И, углубившись еще немного, он крикнул: «Эге-ге!» — молодой, свежий голос откликнулся: «Эге-ге!» — откликнулся голос сына, откликнулся тем, что никуда не уходит, да не может уйти...

А в корзинке лежала всего одна лиловатая волнушка, но такой добычи, такой удачи Иван Лукич и не ожидал совсем. Пошел в лес от нечего делать, даже и не собирался искать что-нибудь, хотел лишь пошевелить палкой в опавшей листве с ее шорохом и запахом, а о том, что откликнется кто нибудь на его голос, и не думал... значит, не потерялся тот, кого он окликнул, выйдет вскоре вместе с ним на освещенную синим светом сентябрьского утра поляну и они вместе пойдут к дому.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НОЧЬ

Жена вернулась из города поздно, в девятом часу вечера, и Стрежнев дал ей отойти и умыться, зная, что после знойного июльского дня жена всегда утомлена и раздражена немного.

Он сидел на открытой террасе, в тишине и духоте вечера было как бы нечто затаившееся, и, наверно, позднее надвинется гроза.

— Боже мой, какая духотища в городе! — сказала Евгения Николаевна, выходя на террасу и оттягивая от разгоряченного тела прилипавшую ткань халатика.— Да еще всегда что-нибудь задержит.

Жена работала на телевидении, с передачами нередко случалось то, что на языке телеработников называлось «накладкой», выходили из графика, задерживал матч в хоккей или футбол, или какой-нибудь прибывший произносил приветствие на аэродроме, и тогда корреспонденты совали ему почти в рот, как эскимо, трубочку микрофона.

— И вообще все глупо,— сказала жена, томясь уже не от дневной жары, а от того тяжелого, что стояло в воздухе и предвещало грозу.— Могла взять отпуск на июль и провести его где-нибудь на Балтийском море.

— Напрасно не взяла.

— А тебя оставить одного? — сказала жена так, словно именно он был виноват, что она целый день протомилась в московском пекле.

— Кажется, мы с тобой уже раз навсегда договорились, что я не маленький.

— Ладно, не будем углублять.

И они минуту молчали, а жена, которую многие в студии называли на иностранный манер «Дженни», покачивалась в плетеной качалке, и каждое движение приносило навстречу лишь душную истому вечера.

— Будем чай пить? — спросил Стрежнев кротко.

— Я уже холодного молока выпила.

И он так же кротко согласился:

— Что же, можно и без чая.

Получалось все же, что Евгения Николаевна никуда не поехала лишь потому, что у мужа шло горячее строи-

тельство, уехать в отпуск он мог лишь перед зимой и косвенно был виноват и в том, что жена устала за зиму, через месяц на Балтику уже не поедешь, а юг жена плохо переносила.

Тем временем небо из линяло-голубого стало белесым, на западе в насыщенном воздухе все чаще и чаще, нервически освещаясь на миг, вздрагивали зарницы или это был отблеск молний, и Стрежнев, наблюдая, как жена по временам глубоко вздыхает от недохватки воздуха, чувствовал себя действительно виноватым, что не настоял на ее летнем отпуске.

— Все кругом шалые, кассирши в магазинах обмахиваются,— сказала Евгения Николаевна еще, словно втолковывая мужу, как душно и нестерпимо в городе, а он провел день на даче.

И Стрежнев как бы слышал и то, о чем жена не сказала, или сам сказал за нее жесткие, хотя и несправедливые, слова...

— Гроза будет,— и он поглядел на дрожавшее небо, а воздух с каким-то привкусом фосфора был уже густо насыщен электричеством.

Жена покачивалась с закрытыми глазами, ему было жаль ее, он хотел было предложить ей принять душ, вода в душевой установке была, наверно, теплая, однако еще простудится, и он промолчал, а жена по временам оттягивала от тела пристававшую ткань своего халатика.

Побелевшее небо теперь почти беспрерывно вздрагивало, белые зарницы на несколько секунд задерживались, освещая уже потемневший сад, Стрежневу самому становилось все труднее дышать, и он проводил временами рукой по влажной шее.

— К ноябрю сдадим дом, сейчас же возьму отпуск, поедем вместе куда-нибудь... тепла, конечно, уже нигде не найдем, но ведь и у зимы своя прелесть.

Но это было еще далеко, в июле не думают о зиме, в июле просто жарко, а он со своим эгоизмом не хочет и думать об этом,— мысленно подсказал он жене.

И они сидели на террасе, оба томясь и чуть раздражаясь, что нечего, в сущности, друг другу сказать, не все же ей жаловаться на духоту, а ему словно оправдываться за выпавший свободный день.

— Я все-таки поставлю чайник.

Стрежнев прошел на кухню, зажег газ и постоял в

одиночестве, уже с недовольством думая, что жена постоянно не в духе и ему нередко приходится по-мальчишески оправдываться в том, в чем не виноват.

«Может быть, стареем? — сказал он мысленно себе.— Стареем, быстрее устаем, быстрее раздражаемся... но из-за чего, в сущности? Живем, как все люди живут, и слава богу».

Он стоял со своими мыслями, вялыми и как-то недодуманными, чайник вскипел, и Стрежнев заварил чаю и прошел с двумя чайниками на террасу. Но жены уже не было, она капризным голосом сказала из своей комнаты: «Устала. Не хочу чая»,— и он налил лишь себе, пить, однако, уже не хотелось, но он все же выпил чашку, спустился в сад, одиноко посидел на скамейке, а вслед за сполохами где-то далеко прочертил зигзаг молнии.

— Митя,— сказала жена из своей комнаты,— закрой окна.

Он вернулся в дом, закрыл окна, закрыл балконную дверь, поднялся затем наверх, в свою рабочую комнату, на его большом столе лежали прихваченные чертежи и расчеты, и он вспомнил, что хотел проверить один свой расчет, и достал справочник. Но из притихшего сада вдруг рванул порыв ветра, следом за ослепительной молнией обрушился двойной громовой удар, Стрежнев поспешил закрыть окна и, стоя у одного из окон, стал наблюдать, как надвигалась, росла, полыхала насыщенная электричеством ночь, а при каждой вспышке молнии как-то сжималось под ложечкой, словно и сам насквозь был насыщен электричеством. Теперь за строем всполохов, похожих на высланный авангард архангелов, надвинулась и ее величество гроза.

За окном, освещаемым мгновенным огнем, возникали силуэты деревьев с пригнутыми купами, превращенных со всеми своими ветвями в единый ствол, и Стрежнев смотрел на действие грозы во всем ее величии...

Потом, будто надвинулся поезд или низко прошел самолет, тяжело загудела крыша, платиново в свете молний кипевшая от дождя над видной сверху пристройкой, и почти сейчас же он услышал, как по внутренней лестнице поднимается жена.

— Митя, ты не спишь? — спросила она в темноту.

Он знал, что жена не любит грозы и боится ее, мысленно усмехнулся: «Бедняга»,— ответил:

— Наблюдаю молнии.

— Какая страшная гроза! — и жена села в кресло подальше от окна.— Особенно страшно, когда в доме пусто,— добавила она.— Были бы дети, не казалось бы так пусто.

— Детей ты не хотела.

— Нет, это ты не хотел детей! — сказала она уже зло.— Но что это за жизнь без детей?

Он молчал.

— Я спрашиваю тебя: что это за жизнь? — крикнула она уже несколько истерически.

— Женечка, теперь уже поздно думать об этом, — отозвался он возможно мирно.

— Легче всего отмахнуться,— сказала она с усмешкой,— и я, конечно, дура, что говорю с тобой об этом, ты никогда не поймешь меня или делаешь вид, что не хочешь понять.

Огромное огненное корневище молнии, огневой тысячелетний дуб из Апокалипсиса возник на миг за окном, постоял несколько секунд, рухнул, и сразу хлынул апокалипсический ливень.

— Боже мой,— сказала жена,— боже мой. . .— и по ее голосу он понял, что она плачет.

— Ну что такое, Женечка?

Он подошел, хотел обнять ее, но она уперлась ему в грудь рукой.

— Не трогай меня... не хочу тебя! — и он почти ужаснулся ненависти в ее голосе.

А минуту спустя стало пусто, жена толкнула дверь, спустилась по лестнице, и он грустно и недоуменно постоял в гуле ливня, еще исступленно бившего по крыше, однако уже глуше. Небо еще разверзалось за окном, вервия молний переплетались, но гроза уже уходила к Москве, и львиные рыки грома тоже удалялись.

Он открыл окно, ночной влажный воздух хлынул в комнату, сразу стало почему-то так грустно, и Стрежнев еще ощущал на своей груди упершуюся руку жены и слышал ее полный отчуждения голос. . .

— Нельзя стареть,— сказал он самому себе,— нельзя стареть!

Но ничего с этим не поделаешь, ничегошеньки, Дмитрий Алексеевич Стрежнев, заслуженный строитель.

Он не зажег лампы, привычно постелил постель на диване и лег, заложив руки за голову, из раскрытого окна густо шла ночная прохлада, а гроза шумела уже, может быть, над проспектом Калинина или над Ленинградским шоссе.

Они жили с ней вместе девятнадцать лет, в свое время упустили, недосмотрели, что вслед за молодостью приходят годы, когда упущенного уже не вернешь, и, конечно, жена была вправе упрекать его, женщина создана для материнства, без чего она никогда не будет полностью счастлива.

Наверно, с этими мыслями он заснул, а когда проснулся, из раскрытого окна шло дыхание обновленного мира во всем его блеске, сиянии и утоленности после ночной грозы.

Была суббота, жена в город не едет, пусть несколько подольше поспит, и он неслышно спустился вниз, умылся, поставил чайник, накрыл для утреннего завтрака стол на террасе и вышел в сад.

Словно от гигантского аккумулятора все было заряжено озоном эфирной чистоты и свежести, а на мокрой траве и цветах солнце уже зажгло те изумруды, рубины и сапфиры, про которые поется, что не счесть алмазов, они были на каждой травинке и цветке, и этот мир полыхал, подобно всполохам, лучился и гаснул, как бы передавая огонь от одной капли другой. . .

Но и в воздухе тоже уже шло движение, один цветок затрепетал, пчела осторожно, словно боясь замочить лапки, теребила бутон, как бы раскрывая его своими усилиями. Потом затрепетала крылышками та беленькая скромная бабочка, которая именуется капустницей, тоже присела на цветок и, сложив крылышки, превратилась в маленький парус.

А когда Стрежнев вернулся на террасу, жена уже хозяйничала, она выспалась, была розовая со своей еще молодой кожей и красивая новой красотой.

— Выспалась?

— Ужасная гроза была,— сказала она, как бы винясь в своем ночном страхе. — Особенно я испугалась одной молнии... Мне показалось, что она попала в наш дом.

— Кругом высокие деревья... они прежде притянули бы ее. Трусишка ты у меня все-таки,— добавил он с нежностью.— А какой воздух... какой воздух! Июль грозником в старину называли, я где-то вычитал.

И они пили утренний кофе, а за первой пчелой прилетела и другая, ночные цветы уже раскрылись, незачем было расталкивать тугие бутоны.

— Митя, я хотела вот о чем с тобой поговорить,— сказала Евгения Николаевна неуверенно. — Не знаю, как ты отнесешься к этому. Что, если бы на недельку приехала бы к нам погостить моя племянница Оленька со своей дочкой? Сейчас она одна...

Евгения Николаевна не договорила: она еще не знала, надолго ли уехал муж племянницы или навсегда уехал, кажется все же — навсегда.

— Конечно,— сразу согласился Стрежнев,— конечно, пусть поживут... а Оленька славная. Конечно, пусть поживут,— повторил он. Однако неужели это правда?

Он тоже не договорил, но было так жаль эту милую, тихую, не сумевшую, наверно, постоять за себя Олю Тверитину, лишь два года назад ставшую учительницей английского языка.

— И в английском поупражняюсь немного, а то совсем стал забывать.

— Оля хорошо говорит по-английски.

— Вот и станем беседовать с ней.

И Евгения Николаевна была благодарна за то, что он сразу согласился, и за то, что сказал об Оле хорошо.

— Давай проведем сегодня день по-умному... пойдем на речку, ты выкупаешься, а у меня немного горло побаливает, зря съела вчера на работе мороженое. Вернемся — позавтракаем, есть цветная капуста. А потом будем целый день отдыхать, ты — читать, а я повяжу немного, хочу сделать подарок дочке Оли, через несколько дней ей исполнится два года, такая прелестная крохотулечка.

— А мне набрюшничек не свяжешь?

— Нет, миленький... ты стал полнеть, на тебя много шерсти уйдет.

— В самом деле, стал полнеть,— согласился он.— Нужно побольше двигаться. А какая электрическая ночь была... я такой мощи и не видывал. Одна молния на ствол дуба походила.

— Наверно, ее я и испугалась.

Они допили кофе, Евгения Николаевна убрала со стола, потом спустилась в сад, присела рядом с мужем на скамейку, а по траве словно пробегала алмазная дрожь — просыхали капли ночного дождя и еще сверкали мгновение, прежде чем погаснуть.

— Как зовут дочку Оли? — спросил он вдруг.

— Валя. . . Валечка. А что?

— Так, ничего.

И они помолчали, а присевшая на цветок настурции бабочка распустила свой парус и минуту спустя бросила якорь на другом цветке.

ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ЯШМЫ

В микрофоне крахмально прошуршало, женский голос скучно сказал: «Отправление самолета рейс сто двенадцать задерживается»,— и Садовников, встрепенувшийся было, снова завалился в угол дивана, держа в руках номер вечерней газеты, ставший за время его ожидания вчерашним.

Телеграмма от жены только с заранее условленным словом «пора» пришла утром, и за день нужно было успеть сообщить начальнику археологической группы о своем вызове,— впрочем, о возможности такого вызова он предупреждал,— достать билет на самолет, в городской кассе не оказалось, пришлось ехать в аэропорт, а к отлету в двадцать три тридцать снова быть в аэропорту. . .

Условленное «пора» означало, что уже близко к родам, и Надя должна была послать телеграмму ему в Ташкент и своей матери в Томск. Они с Надей договорились, что она даст телеграмму за несколько дней до того срока, какой определит врач, теперь, видимо, пришел этот срок, а Москва не принимала, и что там, в темноте последних дней сентября?

Он притянул к себе уже дважды прочитанную газету, прочел пропущенную заметку «Случай в тайге», а потом женский несколько оживившийся голос сказал в микрофон:

— Граждане пассажиры, отбывающие рейсом сто двенадцать, пройдите на перрон.

И он поспешно кинул в угол скамейки прочитанные газеты, взял свой чемоданчик и сумку с большими грушами и вышел на перрон. Однако и ташкентская ночь была уже с холодком, и пока шли к самолету, холодок охватил плечи под легким пальто.

В самолете сразу встретило обжитое тепло, покатые кресла, обещавшие путевой сон, а в Москве к прилету будет уже утро. Самолет, однако, еще долго стоял неподвижно, потом побрел в сторону, постоял еще и там, прежде чем глухо дрогнуло в нем, потом звук усилился, перешел в гул, самолет побежал, и по тому, что толчки под колесами прекратились, можно было понять, что он уже в воздухе, небо в звездах стало косо, и самолет летел прямо в это небо. . .

Садовников сел поглубже в кресло, посасывая кислую конфетку, которой угостила стюардесса перед взлетом, стал думать о том, что, если родится сын, нужно с самого раннего детства приучать его к технике, купить ему набор «Юный строитель», а если девочка, тут будут уж куклы. . .

Но эти мысли сейчас же заступила тревожная мысль — лишь бы с Надей было благополучно, а мать, Анна Петровна, может и не успеть из Томска.

За круглым окошком неслась сначала ташкентская ночь, следом карагандинская, потом он заснул, а когда проснулся, небо стало уже розовым и хлопковое поле облаков под самолетом было тоже розовым.

В Москве встретил сентябрьский нарядный денек, все было в лазорево-блестящей эмали, а полчаса спустя Садовников уже ехал в такси из Домодедова. . .

Год назад, когда только получили квартиру в новом районе, он сказал Наде: «А вдруг нам станет тесно со временем?» — и Надя ответила беспечно:

— Ну что ж, потеснимся.

Он еще не успел освоиться в их новом районе, с улицами пока без названия, и водитель не сразу нашел улицу, правда уже носившую имя академика Владиславова.

— Обождите минутку, только наведаюсь,— сказал Садовников водителю, на всякий случай не отпуская машину.

Он поднялся в лифте на пятый этаж, на двери его квартиры была приколота кнопкой написанная рукой жены записка: «Зайди напротив», и он с тревожно забившимся сердцем позвонил в соседнюю квартиру. Пожилая женщина в фартуке, наскоро вытирая руки, открыла ему дверь.

— Вы Дмитрий Алексеевич? — спросила она сразу.— Немножко припоздали, вчера вечером началось. Меня зовут Валентина Тихоновна.

— Где жена?

— В родильном доме... это близко, Вторая улица Строителей. Вы не волнуйтесь, что немножко раньше времени началось, это бывает.

И уже несколько минут спустя водитель вез его на Вторую улицу Строителей.

Родильный дом был только недавно построен, в приемной, томясь в ожидании, сидело несколько таких же, как и он, молодых мужей, а таинство было на верхних этажах, куда по временам поднимался лифт с нянями, медицинскими сестрами или врачами, и некая стерильность была, казалось, даже в самом воздухе здания.

Он осведомился у дежурной, та, заглянув в ведомость, переспросила:

— Садовникова Надежда Сергеевна? Третья палата.

— Записку можно послать?

— Пишите.

И он присел за столик, вырвал из записной книжки листок и написал: «Надя, я здесь внизу. Как ты?» — хотел было дописать: «Ради бога, как ты?», но дописал только: «Митя».

Няня поднялась в лифте с его запиской, а он сидел и ждал, и все, что было в их с Надей жизни, прошло чередой, как в документальном фильме. Но по телевизору показывают большие события, а в его с Надей жизни все было просто: поступила как-то в археологический институт, где он работал, еще совсем юная лаборантка, только два года назад окончившая среднюю школу, Надя Нелидова. И сначала они лишь познакомились, потом повлекло их друг к другу, и, провожая раз Надю, он сказал ей:

— Давайте поженимся, Надя?

Но что-то, видимо, обидело ее, она сухо ответила:

— Не провожайте меня дальше, Дмитрий Алексеевич,— и ушла, но он нагнал ее.

— За что же вы рассердились, Надя? Неужели вы думаете, что я просто сболтнул?

И хотя он не сболтнул — она действительно была по душе ему,— Надя отнеслась к этому со строгостью, однако больше порадовавшей, чем разочаровавшей, его.

— Я подумала тогда, что ты просто не уважаешь меня,— сказала она позднее,— ну как ты мог так сразу?

Они были уже больше года вместе, в его паспорте появилась отметка «женат», а еще год спустя получили квартиру в новом доме. Но когда въехали, была не только квартира, но еще и другое, огромное, сразу все заполнившее, и Надя сказала раз:

— Видно, и вправду придется нам скоро потесниться.

И она как-то растерянно взглянула на него, а он поцеловал ее в мокрые глаза.

...Няня вернулась без ответной записки:

— Еще не могут написать. Обождите немножко, спустится врач.

Он, волнуясь, ходил по приемной, потом из лифта вышел врач, немолодая, с утомленным лицом женщина, спросила:

— Вы Садовников? У вас сын. Приходите завтра в часы приема. Ничего не приносите, разве только фрукты.

Он стоял, прижав руку к горлу, и врач улыбнулась слегка.

— Приходите завтра, молодой отец. Все будет хорошо, хотя роды были трудные.

А день спустя его пустили к Наде. Она лежала вся какая-то новая, с необычным выражением лица.

— Так уж случилось, Митя,— сказала она виновато.— Я сразу дала тебе телеграмму, и мама тоже не успела приехать.

— Я перед тобой в долгу, теперь расплачиваться надо.

— Расплатишься... за тобой не пропадет.

И когда принесли сына, Садовников лишь искоса посмотрел на то — еще непонятное, еще необъяснимое,— что называлось его сыном, а Надя держала его возле груди уже материнским полуоборотом руки.

— Мне, наверно, придется пробыть здесь еще несколько дней,— сказала она.— Как ты будешь один? Соседка Валентина Тихоновна обещала присмотреть за тобой. А мама, наверно, только завтра приедет, врачи не позволили ей лететь из-за сердца... и вообще, сколько хлопот я всем доставила!

— Ничего, теперь у нас с тобой есть новый хозяин, попробуй только ослушаться его! Кстати, при раскопках недавно нашли замечательное ожерелье из яшмы... может быть, молодой муж подарил своей жене, когда она родила ему сына. Нужно и мне призадуматься над этим.

Пришла няня, пора было уходить, он поцеловал Надю в лоб, сказал:

— До завтра. Ожерелье из яшмы, может быть, не найду, но какой муж приходит без цветов? Олух только.

Он шел сначала Второй улицей Строителей, потом по улице еще без названия, а дома, едва повернул ключ в замке, дверь соседней квартиры открылась.

— Заходите, Дмитрий Алексеевич, я для вас обед сготовила, Надежда Сергеевна наказала мне.

И он узнал, что даже в спешке, со внезапно начавшейся болью, Надя успела условиться с этой, видимо, доброй и хозяйственной Валентиной Тихоновной, значит, даже в самые свои трудные минуты Надя думала прежде всего о нем...

— Ну как, повидали сына? — спросила Валентина Тихоновна.

— Герой,— сказал Садовников.

— Ну и хорошо, что герой. Вы украинский борщ любите? Мне Надежда Сергеевна наказала для вас борщ сготовить. У меня есть тоже сын, только чуть постарше вас, горный инженер, сейчас на Урале.

— А мой сын, видимо, авиаконструктором станет... все-таки я на самолете летел к нему.

— Что ж, дай бог. Сегодня на второе для вас макароны с сыром, а завтра курочка будет. Мне Надежда Сергеевна подсказала, что вы любите.

— Я все на свете люблю,— ответил Садовников,— все на свете.

А десять дней спустя он уже улетал в Ташкент, раскопки продолжатся до самой зимы, и товарищам по

работе он тоже скажет, что родился сын, будущий авиаконструктор, но к тому времени, когда вырастет, модель самолета, на котором летел к нему отец, давно станет, наверно, музейным экспонатом.

А пока сын лежал в колясочке, почти целую неделю Садовников потратил на обзаведение для своего хозяина: сын потребовал и колясочку, и головные уборы в виде чепчиков, и какие-то младенческие колготки, и когда Садовников подошел к нему перед отъездом, наказал мужским голосом,— правда, он спал с пульсирующим кружочком соски во рту,— но Садовников услышал все же:

— Только не очень задерживайся... мне еще многое может понадобиться.

А Надя сказала:

— Сейчас же дай телеграмму... только срочную, слышишь?

— Как прибудем, пошлю... напишу только слово «пора». Значит, все благополучно и я на месте.

Самолет снова улетел в ночь, совсем черную, в Москве была уже поздняя осень, и летное поле мокро блестело.

На этот раз он, однако, не уснул в самолете, ночь долго лежала на его крыле за круглым окошком, потом стала постепенно отставать, и еще на рассвете потянулись лёссовые поля, хлопок был уже снят, а в Ташкенте шел теплый, парниковый дождь.

— Спасибо,— сказал Садовников стюардессе,— спасибо за ночную красоту!

Она несколько удивленно посмотрела на него, но улыбнулась все же по своей должности, видимо, чем-то довольному человеку, а может быть, даже и позавидовала, что бывают же счастливые люди на свете.

Садовников прошел через летное поле, зашел в аэровокзал, у окошка телеграфа взял бланк, написал после адреса только слово «пора» и подал бланк строгой, в очках, телеграфистке. Она дважды перечла телеграмму, чуть подозрительно взглянула на него, и Садовников предложил:

— Могу дописать: «хорошая пора»,

Но телеграфистка не была склонна к шуточкам, подсчитала количество слов, сказала коротко:

— Шестьдесят шесть копеек.

И он заплатил шестьдесят шесть копеек, так дешево, почти даром... шестьдесят шесть копеек за то, что стоит миллионы, и вообще ни за какие деньги не купишь того, что означает всего одно короткое слово, заключающее ныне в себе целую жизнь троих.

А Надя ждет телеграммы, ходит, наверно, по комнате с сыном на руках, поглядывает на стенные часы, десять часов утра, срочная телеграмма должна уже быть, и она в ожидании ходит с сыном на руках, потом кладет его, спящего, в колясочку, на цыпочках подходит к балконной двери, осенняя Москва лежит далеко внизу, а телеграммы все нет. Потом она слышит звонок, открывает входную дверь, какой-то старичок, пенсионер наверно, прирабатывающий к своей пенсии, протягивает ей телеграмму, и Надя тут же вскрывает ее, прочитывает, говорит, потому что нужно сказать это кому-нибудь:

— Муж сообщает, что благополучно долетел до Ташкента.

И старичок из далекой дали своих лет, в которых тоже, может быть, была счастливая пора, отвечает: «Ну, и слава богу»,— и он так похож на ее, Нади, отца, похож на всех отцов, и Надя спрашивает:

— Как вас зовут?

Старичок не удивляется, называет себя: «Матвей Иванович»,— и Надя говорит еще:

— Спасибо, добрый, замечательный, Матвей Иванович, спасибо, хороший человек!

Но старичок уже ушел, она говорит это самой себе, потом подходит к колясочке.

— Все благополучно, маленький... папа уже в Ташкенте,— осторожно вынимает из его спящих губ соску с костяным колечком.

А Садовников едет в такси ташкентского аэропорта, осень уже и здесь, деревья уже пожухли, и на отрогах Тянь-Шаня лежит, наверно, снег. Скоро зима спустится и в долины, в последний раз полюбовавшись на ожерелье из яшмы, по воздушному первопутку — в Москву, на улицу академика Владиславова, на пятый этаж нового дома, и сразу огромно встретит то новое, что пришло и теперь уже навсегда останется.

КОВЕР-САМОЛЕТ

Над Уралом самолет стал проваливаться, под ложечкой тошно замирало, и в Челябинск Аржанников прилетел усталый. В Москве стояла хоть и глубокая, но сухая осень, а Челябинск встретил предзимьем, по летному полю несло поземкой, и от черствого снега, пока шли от самолета к аэровокзалу, заломило лицо.

Зять, муж покойной дочери, должен был встретить его, но у выхода в вокзал, вглядываясь в лица прибывших, какой-то человек неуверенно спросил:

— Не вы будете гражданин Аржанников? Я водитель машины Александра Андреевича, у него срочная операция, не смог вас встретить.

Водитель дождался вместе с ним, когда по ленте конвейера подполз чемодан, понес его к машине на площади, и Аржанников вступил в челябинский, серо запорошенный мелким снегом туман.

— Александр Андреевич беспокоился — вдруг Челябинск не принимает, вчера сводку погоды передавали неважную.

— Нет, долетели... только поболтало немного.

— Я сейчас вас на квартиру Александра Андреевича отвезу... он наказал чайком напоить вас с дороги, а как освободится, прибудет.

— Как вас зовут? — поинтересовался Аржанников.

— Семен Кованько... Сеня.

— Значит, будем знакомы,— и, сидя рядом с водителем, он пожал ему локоть.

Аэродром был в стороне от города, сначала пошли печальные, уже припорошенные снегом поля, потом приблизился город со своей жизнью, о котором Аржанников знал прежде лишь, что в нем живет его дочь Анна с мужем, главным хирургом городской больницы Александром Андреевичем Шастьевым, и с сыном Ваней, побывал у них в свое время, но дочери уже почти семь лет не было, а внук за это время окончил институт, бывал зачастую на практике, и Шастьев оставался один, как жил один и он, Аржанников.

Водитель привез его на квартиру зятя где-то в самом конце проспекта Победы, и сразу наплыли здесь воспо-

минания. На пианино стояла большая фотография дочери, и хотя кругом был порядок, однако тот лишенный тепла порядок, когда ощущаешь, что в доме нет женской руки. Чисто, но пусто, в кухне на плите одинокий кофейник, из которого забыли вытрясти гущу, а в столовой на столе лежала записка:

«К двум часам постараюсь вернуться. Извините, что не встретил, пришлось срочно ехать в больницу».

— Чайник горячий, только подогреть, я мигом,— предложил водитель.

— Не нужно, Сеня... сам похозяйствую, а вы поезжайте.

Он остался один, и не только воспоминания о дочери, но и мысли о самом себе тесно обступили, чай пить не стал, напоила в пути стюардесса, а полистал те страницы, с которыми был связан его приезд сюда, где прежде жила дочь — самое дорогое для него существо,— и вот уже только следы ее жизни.

Зять написал в письме:

«Пора бы нам свидеться, дорогой Константин Николаевич. Я собирался было в Москву, но заболел один из наших хирургов, приходится подменять его. Но если бы вы сюда выбрались, мы с вами отлично провели бы не один вечерок. Ваня сейчас на практике, строится новая электростанция, так что я в единственном числе».

И Аржанников ответил тогда:

«Поскольку и я в единственном числе, денька на два заявлюсь: все-таки двойка, если только не школьная, это лучше, чем единица».

По своей специальности агронома-статистика Аржанников любил те казавшиеся иным скучноватыми телепередачи, когда ученый комментатор сообщал, сколько миллионов гектаров уже убрано: это было результатом величайших трудов человека, а труд, в каком бы виде он ни выражался, вызывал в нем всегда глубокое уважение.

Дочь в свое время училась в Московском Первом медицинском институте, в котором учился и Александр Андреевич Шастьев, и все получалось по правилам жизни: оба медика уехали в Челябинск, куда по распределению направили Шастьева, пошла умная, полная со-

вместного труда жизнь, родился сын, этот славный, дорогой его сердцу Ванечка, а несколько лет спустя навалилось несчастье, и вот нет Ани, неудачно родившей второго ребенка, мертвую девочку, с которой ушла и сама..

Он написал тогда зятю:

«Мы с тобой, Саша, остались жить. Не станем вникать в то, что каждый из нас пережил. Вникнем в то, что нам по мере наших сил предстоит еще сделать. У нас с тобой в руках наш труд — и наши усилия лучшая память по Ане».

Над рабочим столом зятя большой портрет лобастого, мудрого Пирогова, а над его, Аржанникова, рабочим столом висел портрет почитаемого им агронома-статистика Фортунатова.

Зять вернулся к двум часам и, обнимая еще в прихожей Аржанникова, сказал огорченно:

— Специально освободил утро, чтобы встретить вас, а тут один маляр ухитрился упасть с четвертого этажа, изломался так, что не сразу найдешь, где сломано. Я рад, Константин Николаевич, что вы нашли все-таки время выбраться... а вчера вечером забеспокоился: по сводке погоды сообщали — шквальный ветер со снежными зарядами.

— Ничего, добрался, ни один заряд не попал.

И зять смотрел на него, гвардейца старика с седыми клочками бровей, с белой опушкой лысины, с розовой, почти молодой кожей, и не скажешь, что ему уже за семьдесят.

— Будем обедать,— сказал Шастьев, надев фартук,— я стал мастер готовить.

Он ушел в кухню, и полчаса спустя они сидели за столом, отбивные котлеты поскрипывали на сковородке, а суп был, правда, из пакета, но вполне хороший суп с вермишелью.

— По глоточку пропустим? Я сегодня потрудился все-таки над этим маляром-бедолагой.

— Ты хирург от бога, от твоего Эскулапа.

— Да ведь и вы от бога, Константин Николаевич. Как фамилия вашего бога?

— Фамилии не знаю, а по имени Осирис, так считается.

— Ну, значит, за Осириса и Эскулапа.

И они отпили по глотку белого вина за своих богов.

— А повидать вас, Константин Николаевич, я хотел и еще по одному поводу,— сказал Шастьев позднее.— Разговор пойдет насчет вашего внука... сейчас Ваня на практике, вернется не раньше чем через месяц, малый он хороший, честный, трудолюбивый. Есть одна девушка, я хорошо ее знаю, работает у меня медицинской сестрой... Ваня ей по душе, да и она нравится ему, и такая у меня мечта, чтобы он женился на ней. Будущей весной окончит институт, пошлют куда-нибудь по распределению — и все тогда может уйти. А это было бы таким счастьем для меня, если бы женская рука появилась в доме, тем более хорошая, проверенная рука. Но Ваня не решается... и еще одно, если по совести: такая охота стать мне дедом. Не потому, конечно, что старею, а потому, что доброе это занятие.

— А меня, значит, в прадеды метишь? Что ж, я не прочь. А Ване я напишу... напишу — человек нередко теряет то, чего больше уже не найдет, не знаю, мол, как у тебя складывается, но помни этот мой дедовский завет. Не теряй, Ваня, если что-нибудь хорошее возле тебя... у меня впереди сроки уже малые, дай мне порадоваться твоему счастью. Вот что я Ване напишу.

— Ваня вас очень уважает и любит,— сказал Шастьев.

— А если уважает и любит, то мое дедовское слово дойдет.

И они поговорили еще о том, что глубоко лежало в душе у обоих, а в соседней комнате стояла накрытая чехлом швейная машина, на которой Аня шила в свое время для сына рубашечки и брючки.

— И если поработает со временем на этой машине другая женская рука, это было бы в память Ани,— сказал Шастьев.

— Ты покажи мне все-таки эту девушку. Я приметлив — мне только одним глазком.

— Приходите ко мне завтра в больницу.

И ранний челябинский вечер кисеево наплыл, потом пошел снег, и, видно, не за горами зима.

На другой день Аржанников побывал в больнице, посмотрел издали на милую, видимо, старательную де-

вушку в белом халате и шапочке и, когда с зятем остались одни, сказал:

— Я Ване напишу еще, что видел у тебя в больнице одну девушку, и будь я молодым, не упустил бы ее... а деду он должен верить, дед слова на ветер не бросает.

В сущности, это было главное, для чего зять хотел повидаться с ним, и Аржанников оценил его доверительность.

А день спустя Шастьеву в больницу принесли заказанный им билет на самолет, в семь тридцать утра Аржанников должен был улететь.

— Надеюсь, на этот раз ничто не помешает проводить вас,— сказал Шастьев, и Сеня Кованько повез их на аэродром.

Но самолет улетел только в девять часов, видимо, не принимала Москва.

— Ну, будь здоров, Саша,— сказал Аржанников, когда объявили посадку.— Часы идут своим ходом, только не нужно забывать завести их вовремя... и еще одно: напиши, когда твой бедолага маляр начнет поправляться.

— Не скоро еще будет, но напишу,— пообещал Шастьев, не удивившись: он знал строй мыслей этого знатока земли со всем тем, что она приносит человеку.

— Нет, в прадедах я походил бы,— сказал Аржанников тоже по строю своих мыслей.

Четверть часа спустя, уже в сплошном снегопаде, самолет пошел по летному полю. Аржанников сидел у окна, огромное крыло самолета покрывалось снегом и, казалось, леденело под ним. Но когда самолет с нарастающим гулом двинулся, снег на крыле сразу смело, потом стало светлеть, показался серебристый отблеск, а еще несколько минут спустя самолет пробил снеговую тучу, и чистое небо простерлось над ним в своей вечной голубой молодости до самой Москвы... а там пробьет снова тучу, внизу покажутся очертания земли,— и вот он, Константин Николаевич Аржанников, дома, но телефон на его столе не будет вечером зловеще молчать, позвонит из Челябинска зять, спросит, как он долетел, и Аржанников скажет: «Как Иван-царевич»,— имея в виду ковер-самолет со всем тем волшебством, какое несет он с собой, когда знаешь, куда и зачем летишь...

ВРЕМЯ ЗВЕЗДНЫХ ДОЖДЕЙ

Человек, сошедший с пригородного поезда, легко зашагал в полутьме густеющего августовского вечера. Он шел, сам радуясь своей легкости и тому, что снова здесь, где прошла его юность со всеми ее все же не обманувшими обещаниями. . .

В свою пору, после смерти отца, мать занимала в этом поселке Панютине половину маленькой дачки, а в другой половине жила добрая соседка, пианистка Вера Клавдиевна Ковригина, некогда ученица Игумнова, затем сама педагог. В ту пору она уже отошла от преподавания в консерватории, но со всей присущей ей страстностью принялась обучать его, Сережу, ныне Сергея Александровича Станеева, ставшего уже известным пианистом.

Он давно собирался побывать в Панютине, всегда, однако, что-нибудь мешало, но на этот раз, вернувшись из гастрольной поездки по югу, решил непременно побывать у той, которой три года назад написал письмо из Читы, ответа не получил, и всегда страшно думать, что в годы заката все так непрочно для человека. . .

Еще перед отъездом из Адлера он предназначил плетенку с виноградом и грушами для Веры Клавдиевны, нес сейчас эту плетенку, а подмосковная осень уже пахла палой листвой.

На знакомом угловом доме прежде висела табличка с названием улицы — «Луговая», но теперь на ее месте значилось «улица Космонавтов», и он даже усомнился: не забыл ли дорогу?

В окнах той половины дачи, в которой жила Вера Клавдиевна, был свет, и Станеев поднялся по ступенькам крыльца. Дверь открыла высокая молодая женщина, внимательно оглядела его, и он, страшась, как это нередко случается, когда долго не видишь человека, спросил:

— Веру Клавдиевну можно видеть?

— А вы кто? — осведомилась женщина.

— Скажите, из дальних странствий прибыл Сергей Станеев.

Женщина, однако, не улыбнулась, сказала несколько сухо:

— Подождите минуту,— и ушла, оставив его за прикрытой дверью.

— Извините, пожалуйста, — сказала она минуту спустя, — но Вера Клавдиевна очень слаба... приходится оберегать ее. Заходите.

В большой комнате по-прежнему стоял рояль, на котором в свою пору разучивал он музыкальные пьески, а из соседней комнаты слабый женский голос спросил:

— Неужели Сережа?

— Он самый... извините, Вера Клавдиевна, что так поздно получилось, но пришлось пропустить два поезда, один дальний, а другой без остановки в Панютине.

Она сидела глубоко в кресле, уже совсем седая, кожа ее лица была, однако, розовой, и он наклонился и поцеловал ее руку, а Вера Клавдиевна поцеловала его в лоб.

— Как же я рада вам, Сережа! Познакомьтесь с моей племянницей, Ксенечка ухаживает за мной, а я развалюшкой становлюсь постепенно.

И он познакомился с Ксенией Константиновной Ковригиной, дочерью брата Веры Клавдиевны, тоже пианисткой, приехавшей из Казани, где преподавала в музыкальной школе.

— Так давно не знаю о вас ничего, Сережа,— сказала Вера Клавдиевна.

— Я писал вам как-то, но мое письмо не дошло, видимо. Не хочу, однако, оправдываться... нужно было все-таки найти вас!

— Да ведь что же, Сережа... у каждого своя жизнь. Не женились еще?

— Пока нет. Но что значит — своя жизнь? Моя жизнь началась именно в вашем доме.

— Не забыли, видно, как мучила вас экзерсисами?

— Всегда вспоминаю с благодарностью.

Он спохватился, принес из прихожей привезенную им плетенку.

— Здесь груши и виноград... только сегодня утром купил в Гагре.

Может быть, запах фруктов напомнил Вере Клавдиевне нечто давно позабытое, и она на минуту задумалась.

— А музыку я все-таки не совсем забросила... играю иногда для себя, а то и с Ксенечкой в четыре руки. Недавно разучивали с ней «Восточные напевы» Шумана.

— Сыграем?— спросил он Ксению.

— Страшновато мне с вами.

Однако все сразу пошло в такой сыгранности, словно они не впервые играли вместе.

А потом он играл и один, обращенный к давнему, возникшему в этом доме, а может быть, обращенный к возникшему только...

— Был у меня когда-то способный ученик, славный мальчик Сережа Станеев,— сказала Вера Клавдиевна,— так приятно, что ничуть не испортился. А со мной лучше не запаздывайте... а то приедете, а в моем домике, смотришь, уже какой-нибудь Иван Иванович живет.

— Не хочу Ивана Ивановича... теперь не пропаду надолго, а сейчас я поеду, а то вы устали.

— Поезжайте, Сережа... пригородные поезда стали реже ходить.

Он поцеловал ее руку, а от плетенки с фруктами немного грустно пахло югом.

— Я провожу вас немного,— и Ксения вышла вместе с ним в сгустившуюся темноту вечера.— Вы когда же теперь снова заглянете?

— Послезавтра я уезжаю в Киев, у меня там два концерта, а оттуда в Ленинград, где живу вместе со своей сестрой.

В конце улицы Космонавтов начиналось поле с темнеющей железнодорожной насыпью, и огромное небо, алмазно трепещущее, открылось над ними.

— Сейчас пора звездных дождей. Некто Персей щедро высыпает метеоры... даже не успеваешь загадать что-нибудь, как при падающей звезде.

— Вам что же загадывать... вы свое уже нашли, наверно.

Он ничего не ответил, и они шли минуту молча.

— Дальше не провожайте меня... теперь я провожу вас обратно.

— Опоздаете на поезд.

— Ничего... уеду с другим.

И они простились вскоре у калитки знакомого дома.

— Неисповедима все-таки жизнь... собирался из

Киева вернуться в Ленинград, но теперь побываю сначала в Москве, такой уж это город, в котором сходятся все дороги.

Он шел потом один ночным полем. Поезд, с которым должен был уехать, проблестел освещенными окнами, а из того хранилища, откуда Персей высыпает свои звездные сокровища, может быть, не все пронесутся мимо... останется одна звездочка, вначале чуть видная, потом найдет свое место, а там, глядишь, и откроет ее какой-нибудь астроном.

ГЛЕЧИК

На автостраде мело серый снежок, с какой-то одушевленной живостью устремлявшийся по временам в сторону, черно-сизая туча наползала все ниже, повалил снег, и некоторое время огромная, как дом, двенадцатитонная автомашина шла в такой мути, что не было видно даже задних огней идущих впереди машин, а затем их и совсем растворило...

Водителей было двое — пожилой, степенный, первого класса, Свердяев и недавно вернувшийся из армии Саша Гаврилов, подобранный и исполнительный, еще хорошо помнивший строгие порядки автороты, в которой прослужил два года.

— Придется причалить,— сказал Свердяев.— Так только стукнешь кого-нибудь или сам в кювет сползешь. Тебе случалось когда-нибудь вытаскивать двенадцатитонку из кювета?

Огромный дом двигался теперь медленно, примерно держась невидимой обочины, зажженные фары освещали только неопрятно серый порхающий снег, а по сторонам ничего не было видно. Потом вдруг на миг желто мигнул огонек в ближнем доме, и тотчас же его словно задуло и унесло в поле.

— Пойду взгляну,— сказал Свердяев.— Может, термос кипяточком заправлю. Нам с тобой всю ночь чаи пить.

Он открыл дверцу кабины, осторожно ступил на ступеньку, сунул в карман поданный ему термос, и мигом

его унесло, как минуту назад унесло огонек. В тишине стало слышнее, как снег шуршит по крыше их двенадцатитонного дома, доброго жилища для семьи, если разгородить фургон, и Саша Гаврилов, сунув кисти рук в рукава своей бобриковой куртки, прикорнул, а Свердяев пошел сначала вдоль обочины, нащупал затем ногой набившийся в кювет снег и сейчас же увидел дом с желтым огоньком, наверно, совсем тусклой лампочки.

Дом стоял на улице поселка, и скоро стали видны и другие дома. Свердяев нашел калитку в залепленном снегом штакетнике, поднялся на крыльцо дома и негромко постучал в дверь, чтобы не встревожило чье-то позднее посещение. Дверь открыл мальчик, сейчас же испуганно отступил, а Свердяев сказал негромко, боясь еще больше испугать своим остуженным голосом:

— Здравствуй, мальчик. Есть кто-нибудь из старших?

— А вам что надо? —все же спросил мальчик.

— Кипяточку в термос налить. Мне всю ночь на моей машине до Москвы тянуть.

— Вы шофер? — спросил мальчик еще.

— Ну да, шофер.

— Да вы зайдите,— сказал слабый женский голос.— Веник в углу стоит.

Свердяев стряхнул веником снег с сапог, а маленькая старушка в очках смотрела на него с таким доверием, что он не удержался, сказал:

— Вы, бабушка, все-таки в такую пору поосторожнее пускайте посторонних.

— Нас обижать некому, — сказала старушка. — А подушку с одеялом кто возьмет?

Она была чем-то — может быть, своей кроткой душевностью — похожа на его, Свердяева, мать.

— Вы откуда же едете?

— Издалека, бабушка, с Украины. . . продукты всякие в Москву везем.

— Да вы снимите кожушок, на отдушник повесьте. . . а мы с внучком вдвоем только.

«А мать его где же?» — хотел было спросить Свердяев, но осекся вдруг: на стене висела в рамке фотография молодой женщины, а возле рамки была скорбно привешена еловая ветка, но старушка заметила его взгляд:

— А матери у нас нет... теперь я и бабка, и мать, вот как получилось в нашей жизни.

— Без матери плохо,— посочувствовал Свердяев.— Тебе сколько же лет? — спросил он мальчика.

— Будущей осенью в школу пойдет,— ответила за него старушка, и Свердяев узнал далее, что зовут ее Феодосией Леонтьевной, дочь Люба умерла от неудачных родов, а муж после ее смерти подался в чистое поле, уехал искать новое счастье для себя, оставив первенца Митю на нее, бабку, но, конечно, правильно рассчитал, что отдаст она внуку всю свою остатнюю жизнь, и она по мере сил отдает ее.

Старушка с доверием рассказала все это незнакомому человеку, которого, может быть, и пустить опасно было в такую непроглядь, а Свердяев понуро держал в руке шапку и термос, чуть озадаченный тем, что захватил по дороге пригоршню чужого горя...

— Вот ведь как получается, случайно к вам заглянул, мог и мимо проехать... спасибо огоньку.

А за что спасибо — не сказал, да и не выразишь, как останешься доволен собой иной раз, что не закоростел в собственном благополучии, а как бы подержал в руке нужное тебе по твоей совести.

— Ничего, бабушка... стукнет его когда-нибудь, что о себе подумал только, еще как стукнет!

Он сказал это об отце мальчика, не захотевшем после смерти жены горе мыкать, и сразу же кинувшем сына.

— А у вас как в семействе, Егор Степанович? — спросила старушка несмело, узнав его имя, узнав и то, что родом он из Костромы, лесного привольного края.

— У меня две дочки, обе в школе уже, и жена у меня хорошая, беспокоится всегда, когда в рейс ухожу, да и погода такая, что забеспокоишься. Кипяточком для термоса не разживусь у вас?

— Сейчас чайник вскипит, как раз на огне. Может, чаю с нами выпьете?

— Не могу, в машине мой напарник, да и мотор не заглушен, чтобы не прихватило.

Старушка сказала что-то внуку, он вскоре проворно сунул ноги в валенки, и по тому, как дунуло холодом, Свердяев понял, что мальчик вышел наружу.

Но пока чайник вскипел, он вернулся, старушка налила в термос кипяток, и Свердяев, завинчивая крышку, сказал:

— Хотя мы с вами и на ходу познакомились, но все-таки хорошо, что мигнул мне ваш огонек, позвал зайти к добрым людям. А ты расти, Митя,— сказал он еще, по-отцовски положил мальчику руку на голову,— у тебя обязанность впереди — вырастешь, бабушку станешь поддерживать, как она тебя сейчас поддерживает.

Мальчик несколько восхищенно смотрел на него: вел тот сквозь метель огромный дом без окон, вел с самой Украины и всю ночь будет вести его, пока не покажется Москва.

Свердяев надел шапку, сунул термос в карман, и желтый огонек в окне, и старушка с внуком остались позади, а заглянуть сюда снова, наверно, уже никогда не придется. . .

Он дошел до машины, сплошь залепленной снегом, поднялся в кабину и сел возле Саши Гаврилова.

— Достань кружки, заправимся маленько на дорогу.

Но Саша Гаврилов загадочно потянулся куда-то в сторону, достал закутанный в ряднинку какой-то предмет, и Свердяев спросил:

— Это что у тебя?

— Горячей картошечкой с солеными огурчиками нас с вами на дорогу снабдили,— сказал Саша довольно.

И Свердяев лишь сейчас понял, о чем шепнула мальчику старушка и почему тот так проворно сунул ноги в валенки: может быть решив, что нельзя все же отпускать без горячего в такую погоду, старушка побоялась, что еще откажется приезжий. . .

А из глиняного горшка, из обливного глечика, дохнуло забытым запахом своего дома, домашней светлости, и с полчаса они ели картошку и пили чай, потом Свердяев сказал коротко: «Поехали» — и их дом двинулся дальше.

Снеговую тучу пронесло, фары освещали теперь начисто выметенную автостраду со снегом лишь вдоль обочин, и, наверно, зима скоро ляжет до самой Москвы.

И хотя это в порядке шоферской жизни, что встречаешь многих на пути, но день спустя и не вспомнишь, с кем встретился, сейчас все было совсем иначе. . .

— Мать, — сказал он вслух, — мать!

Но Саша Гаврилов не понял, он не видел старушки, не видел той, которая глубоко в сердце несла свою беду, несла и то, что легло теперь на нее, когда не стало у внука матери, а следом как бы не стало и отца, и ей одной выводить его на дорогу жизни. Но так мало дней осталось у нее в запасе, и хватит ли их, чтобы довести до той поры, когда перестанет нужна быть внуку ее помощь?

— Нам с тобой, Саша, еще не один рейс гонять,— сказал Свердяев.— Ты этого мальца не забывай... и метелицу не забывай, в которой крутило нас с тобой, хотя и в двенадцать тонн наша машина. А картошку мать нам, как своим сынам, уделила, ты горшка не выбрасывай, я этот глечик жене отдам... он на дорогую память останется мне.

Больше Свердяев ничего не сказал, машина шла своим тяжелым ходом, и утром будет Москва, будет и его квартира в Бескудникове, которую получил с семьей два года назад, и жена сразу же, едва он войдет, спросит с тревогой:

— Ну как?

И он ответит:

— Порядок.

Потом, достав из хозяйственной сумки глиняный горшок, расскажет о захватившей по дороге метелице, и о доме с желтым, лишь мелькнувшим огоньком, и о том, что хоть и малую частицу своего сердца, но оставил в этом доме, которого и не отыщешь теперь, даже если бы и захотел отыскать.

АНГЕЛ

Костюм после химической чистки несколько сел, и Сандунов, отойдя от овального зеркала, стоявшего на столе, и оглядывая себя во весь рост, ослабил ремень на брюках, чтобы легли пониже. Костюм был темный, правда, в полоску, но вполне подходящий, когда приходишь выразить скорбное сочувствие. Он повязал еще темный галстук, минуту выждал, придавая своему лицу нужное выражение, надел в прихожей длинное осеннее

пальто и шляпу, спустился по лестнице и зашел в соседний подъезд своего дома.

Александра Евграфовна Жилина схоронила три дня назад мужа, работавшего бухгалтером в банке, Сандунов знал его по своей прежней, до пенсии, службе в ЖЭКе, когда приходил с чеками. Жилин был человек хмурый, недоверчивый, не любил во время работы вступать в беседы, и Сандунов, когда у бухгалтера случилось неблагополучие с почками, подумал, что Жилин теперь, лежа в больнице, наверно, не прочь был бы побеседовать с кем-нибудь...

Он поднялся по лестнице на второй этаж, глубоко вздохнул, чтобы соответственно настроиться, и позвонил. Дверь открыла маленькая, вся словно с головы до ног заплаканная женщина, и Сандунов, снова глубоко вздохнув, молча поцеловал ей руку, поясняя этим причину своего прихода. Женщина испуганно и выжидательно смотрела на него, а Сандунов, не дожидаясь, когда ему предложат раздеться, снял с себя пальто и шляпу, не спеша повесил на вешалку, оттеняя медлительностью скорбность минуты.

— Пришел выразить сочувствие по поводу вашей тяжелой утраты,— сказал, сам трогаясь печалью своих слов, и втянутые синеватые щеки его длинного лица еще больше втянулись.— Но что же делать, Александра Евграфовна, остающимся жить? Скорби нельзя позволить распространиться, жизнь останется жизнью.

Он сел в кресло, тоже не ожидая, пока ему предложат сесть, а женщина смотрела на его костлявое синеватое лицо и на редкий пробор, лишь с несколькими плотно расчесанными по обе стороны прядками.

— Будем, однако, уповать, Александра Евграфовна. Мы с вами не знаем, что там,— и он поднял руку кверху,— но человек после своего ухода — там, хоть и незрим.

Сандунов говорил возвышенно, пришел посочувствовать, и женщина не знала: как поступают в таких случаях? Она нерешительно открыла дверцу буфета, нашарила что-то за открытой створкой, поставила на стол тарелочку с нарезанным кексом, поставила и хрустальный графинчик, видимо с наливкой, но Сандунов смотрел в сторону, делая вид, что не замечает этих приготовлений.

Женщина сняла с графина хрустальную пробку, налила стаканчик, в свой лишь капнула, и теперь можно было чуть удивиться приготовлениям.

— Может, и не по-современному это, однако за упокой души Ивана Капитоновича,— но он только пригубил, чтобы женщина не подумала о нем как о госте.— Мне людей всегда жалко... трудно человек живет на земле. Это только некоторым судьба улыбается, но еще неизвестно, что ожидает их там: когда легко живешь, легко и грешишь. У меня потребность в душе была выразить вам сочувствие, Александра Евграфовна, мы с Иваном Капитоновичем, конечно, не так-то часто встречались, только по делам нашего ЖЭКа, но я уважал его, он серьезный человек был, и ваше горе по нему я хорошо понимаю.

Женщина отвела глаза, и он был доволен, что сумел ее растрогать.

— Человеку нужно в духовности жить, а всяческой суеты сует хватает.

— Вы верующий? — робко спросила Александра Евграфовна.

— Верующий в свои законы, а в церковь не хожу. Мой закон всегда подсказывает, как мой день распределить, чтобы к вечеру с чистой совестью предаться отдыху, а не повалиться на кровать, ничего хорошего за день не сделав. Вот я побывал у вас, совести моей легче стало. Утрата близкого человека — это рана на сердце, и я вашу рану хорошо чувствую.

Он говорил, сам умиляясь своим словам, а женщина уже несколько нетерпеливо смотрела на него, но Сандунов знал, сколько времени положено для выражения сочувствия. Он допил свой стаканчик с наливкой, от кекса только отломил кусочек — не для насыщения он пришел, и женщина должна понять это.

— Пожалуйста, Александра Евграфовна, если будут, например, какие-нибудь трудности с жильем, вы без стеснения ко мне обращайтесь,— сказал он, поднимаясь.— У меня опыт есть, я все-таки тридцать лет в ЖЭКе проработал.— А подумав, добавил: — Характер у Ивана Капитоновича такой был, конечно, что вам, наверно, не раз перетерпевать приходилось, да и у нас с ним в ЖЭКе нередко пререкания были, другой раз так заскрипит, что и не знаешь, как подойти к нему. Однако

о человеке всегда нужно хорошо вспоминать, и я хорошо вспоминаю Ивана Капитоновича.

Женщина испуганно глядела на него, казалось, боялась, чтобы он только не раздумал уйти, и Сандунов прошел в прихожую, надел пальто и со шляпой в руке, пятясь, вышел на лестницу, а женщина, наверно, оценила его почтительность.

Он положил себе на этот день сделать два дела: посетить вдову Жилина, посетить и электромонтера Гладилина, который сломал себе ногу, сорвавшись со ступеньки стремянки: со сломанной ногой придется, вероятно, долго пролежать, и здесь сочувственное слово тоже нужно.

Больница была в другой части города, в новом районе, но посетителей пускают только с двух часов, он накануне справился по телефону, и можно было не торопиться осуществить свои добрые намерения, с хорошим всегда приятно помедлить.

В больницу Сандунов приехал как раз, когда начали впускать посетителей, накинул на себя в гардеробной белый халат и поднялся на второй этаж. Правда, с электромонтером Гладилиным у него в свое время случались недоразумения. Гладилин не всегда аккуратно выполнял свои обязанности по жилищно-эксплуатационной конторе, но сейчас Гладилин пострадал, и нужно думать лишь об этом.

Сандунов прошел длинным коридором, нашел нужную палату, подумал, что следовало бы, пожалуй, принести яблоко, но доброе слово подороже всякого яблочка.

Гладилин лежал крайним у окна, его нога была поднята кверху, а за спинкой кровати оттягивала ногу плоская гиря.

— Пришел, товарищ Гладилин,— сказал Сандунов.— Разыскал и пришел.

Гладилин с неудовольствием — что может быть нужно этому бывшему эксплуатационнику? — отозвался сухо:

— Вижу.

Сандунов, однако, не обиделся.

— Я твое положение, Гладилин, понимаю и сочувствую тебе.

Но Гладилин, даже не дослушав, спросил:

— В чем дело?

— Дело в том, что у каждого должен быть свой ангел,— сказал Сандунов кротко.— Не тот ангел, которому в церкви молятся, а свой ангел.

— И у тебя есть свой ангел? — поинтересовался Гладилин.

— А как же, конечно, есть.

— Где же он живет, твой ангел? — спросил Гладилин уже глумливо.— На твоей жилплощади?

Но Сандунов покорно промолчал, он хотел, чтобы Гладилин понял, как нужно говорить с человеком, который пришел лишь для того, чтобы укрепить сочувствием ослабевший дух.

— Ты, наверно, не опознал меня, товарищ Гладилин,— сказал он ровным, тихим голосом.— Я к тебе с сердечным расположением пришел: ты страдаешь, и я болею за тебя.

— Ты что же — баптист? — спросил Гладилин.

— Нет, я не баптист. Я только человек с душой, и ты должен проникнуться этим. Я очень за тебя горевал, когда узнал, что ты сломал ногу.

Но Гладилин был, видимо, удручен не только тем, что случилось с ним, но и озлоблен, по технике безопасности должны быть в ответе за плохую лестницу, а ЖЭК в стороне остался: несчастный случай, травма на производстве.

— Я твой ЖЭК знаешь куда послал бы? — сказал он уже совсем зло.— Я из-за него лежу здесь, а у меня все на ходу осталось.

— ЖЭК теперь не мой.

— Сегодня не твой, а вчера твоим был. Ты мне своего ангела не подсовывай.

Но Сандунов закрыл глаза, он не хотел, чтобы его коснулись эти недостойные слова.

— Я, товарищ Гладилин, когда с сочувствием прихожу, плохого не вспоминаю. Сколько раз ты порядок нарушал, манкировал, два раза совсем не вышел на работу, да и твоя умелость тоже проверки требует: сколько раз в домах, которые ты обслуживал, короткое замыкание было! Но я все эти мысли оставляю и не вспоминаю их вовсе, я к тебе с соболезнованием пришел.

— Лежу, жалко... а то я накостылял бы тебе с твоим соболезнованием! — возмутился Гладилин.

— Что ж, с меня на праведном суде столько же сня-

ли бы, сколько тебе прибавили бы... зачем же тебе для этого стараться?

Но тут пришла девушка, наверно, дочь Гладилина, стала выкладывать из сумки принесенное, а Сандунов, посидев еще немного за ее спиной, пошел к выходу.

Он спустился в гардеробную, сдал халат и, довольный собой, что не связался с Гладилиным, а перетерпел, вышел на осеннюю, широко залитую солнцем улицу. Ему хотелось сделать за день еще что-нибудь доброе, и он решил зайти в ЖЭК, в котором прежде работал, рассказать новому начальнику, что побывал у электромонтера Гладилина, и напомнить — не грех бы и конторе поинтересоваться здоровьем своего сотрудника.

Начальник ЖЭКа был занят, незнакомая секретарша спросила, по какому делу нужен начальник, и Сандунов объяснил, что раньше работал в этой конторе, а начальник нужен, чтобы рассказать ему о сломавшем ногу электромонтере Гладилине.

Девушка сказала: «Обождите немножко»,— и Сандунов сел обождать. Все было как и при нем, звонил телефон, посетители пришли с жалобами на всяческие неисправности, одна женщина уже в третий раз приходила напомнить, что над ее комнатой течет крыша, а кровельщика все не посылают, и Сандунов разделил ее возмущение.

— Пообещать — легко, а когда касается выполнять, то всякие препятствия... ваше недовольство справедливое.

Женщина, однако, подозрительно посмотрела на него —что еще кто-то мешается, у нее самой есть голос,— но он был доволен, что все-таки выразил свое сочувствие ей.

Новый начальник ЖЭКа, Савельев, широкий и плотный, спросил:

— Что у вас?

— Пришел с печалью,— сказал Сандунов.

— С какой еще печалью?

— Ваш сотрудник, электромонтер Гладилин, лежит в больнице со сломанной ногой, а из нашей конторы никто, наверно, и не навестил его. Я контору потому назвал «нашей», что сам в ней служил.

— Вы кем приходитесь Гладилину? — спросил Савельев вдруг.

— Братом по сердцу, если можно сказать так, а в родстве с ним не состою.

— Откуда вам известно, что никто не посетил его? Он жаловался вам на контору?

— Одна гражданка третий раз насчет своей прохудившейся крыши приходит, — сказал Сандунов, не ответив на вопрос,— сейчас у вас в приемной сидит,— значит, пожаловаться на нашу контору есть за что. И верно, можно заметить значительное ухудшение работы нашего ЖЭКа.

— Вот что, я вижу, вы без всякого дела пришли, — сказал Савельев вдруг.— У меня нет времени с вами разговоры вести. Уходите!

— Интересно,— сказал Сандунов,— интересно.

Больше он ничего не добавил и достойно, в своем длинном пальто, пошел к двери, а шляпу нес в руке, давая понять, что никакая чужая невежливость не может сделать и его невежливым.

Он шел затем по улице, не испытывая обиды оттого, как его принял начальник ЖЭКа, главное было, что он напомнил все-таки об электромонтере Гладилине, сделал доброе дело, а через денек Савельев, может быть, скажет:

«Как там с Гладилиным? Съездите узнать».

У подъезда, когда он вернулся домой, стоял во хмелю знакомый еще по прежней его службе маляр Худеков.

— А... Азраил, все по покойничкам ходишь, поднесут, может быть, рассчитываешь?

Он, видимо, знал, что Сандунов побывал у вдовы бухгалтера Жилина, в их доме все сразу становилось известным. От Худекова из-за его пьянства ушла жена, и у Сандунова давно было в мыслях повидать Худекова, напомнить, что́ человек должен нести в себе.

— Опомнись,— сказал он,— опомнись, брат... я тебя жалею, и твою жену жалею. Эти слова не ты произнес... это зеленый змий за тебя произнес. Опомнись, Худеков, повергни этого змия.

— Ты меня не задевай — понял?

— Разве я задеваю тебя? Вот, например, мог бы сказать тебе, что ты сволочь порядочная, однако я не говорю этого.

Худеков двинулся на него, а Сандунов стал пятиться, зашел, пятясь, в свой подъезд и сокрушенно сказал тому, кто всегда был рядом с ним:

— И Гладилин, и этот еще... а я к ним с добром.

И тот ответил:

— Ты прожил свой день правильно, а на Азраила зря обиделся, может, и неплохое оно, это слово.

День спустя, встретив на лестнице учителя Василия Васильевича Парфенова, Сандунов все же спросил:

— Вы, наверно, по вашей осведомленности, Василий Васильевич, знаете, кто был по имени Азраил?

— Азраил? — задумался на минутку Парфенов.— Кажется, это ангел смерти у мусульман.

— Какое же может он иметь отношение ко мне? Мой ангел совсем другой! — сказал Сандунов с чувством.

Но Парфенов сказал лишь:

— Извините, тороплюсь,— и даже не поинтересовался его ангелом.

ОТЦЫ

В один из тех сентябрьских дней, когда все в золотом льющемся блеске, Савелов приехал в тот подмосковный городок, который возник еще во времена Батыя, был ровесником Москвы, хотя и скромной историей, но все же в давние времена стоял на страже, а после второй мировой войны к старому монастырскому кладбищу прибавилось военное кладбище с могилами тех, кто защищал подступы к Москве.

Для своей книги об исторических местах Подмосковья Савелов среди других подмосковных городов решил написать и об этом городе.

Он сошел с автобуса на городской площади со старинными, сохранившимися торговыми рядами, служившими ныне отделами универсального магазина, а нужный ему краеведческий музей оказался на улице, именовавшейся проспектом Победы, в конце которого уже начинались поля.

Знакомый краевед, занимавшийся историей Подмосковья, записал ему имя старшего сотрудника местного

краеведческого музея Татьяны Севастьяновны Вязовой, и Савелов в вестибюле музея справился о Вязовой у открывшей запертую входную дверь старушки. Она указала ему на боковую деревянную лестницу, он поднялся на второй этаж, и склонившаяся над какой-то рукописью женщина подняла голову и вопросительно посмотрела на него.

— Не вы будете Татьяна Севастьяновна Вязова? — спросил он.— Меня направил к вам Александр Никанорович Зотов, а я искусствовед, пишу книгу о заповедных местах Подмосковья.

— Очень приятно, — сказала женщина, сразу расположившая к себе какой-то милой душевностью. Ее каштановые волосы были старомодно поделены на прямой пробор, а серые глаза были мягкие и как бы несколько застенчивые.— Я всегда радуюсь, когда так или иначе вспоминают наш город.

— Вы его уроженка?— спросил Савелов.

— Нет, я родилась на Украине, но этот город связан для меня со многим другим.

Савелов раскрыл свой плоский чемоданчик, достал блокнот, в который записал перечень того, что могло ему понадобиться, а за окном в проеме голубой кладки лилась охряно-золотая береза, вся в мелком трепете своего осеннего мониста.

Женщина предложила поискать в музейной библиотеке нужные ему книги, потом несколько виновато спросила:

— Извините, я не справилась о вашем имени?

— Владимир Алексеевич Савелов.

— Пожалуйста, Владимир Алексеевич, все, что будет вам нужно, я постараюсь найти.

— А денек-то какой! — сказал он вдруг, посмотрев на березу за окном.— Я с годами все больше и больше люблю наше Подмосковье, и все-то оно побороло: и Батыя, и Наполеона, и Гитлера.

— Мне именно поэтому и так дорог этот город... а лично для меня он связан еще и с тем, что здесь в войну погиб мой отец. Он был штурманом военного самолета, и лишь после войны пионеры нашли место, где упал самолет.

— Мой отец был тоже летчиком,— сказал Савелов.

И что-то сблизило их в тишине музейной комнаты.

— Об одном летчике Савелове я слыхала... он командовал авиационным полком.

— Видимо, о моем отце вы и слышали... его полк защищал на дальних подступах Москву. Отец погиб в одном из воздушных боев.

— А мой отец, Севастьян Иванович Вязов, служил штурманом в полку, которым командовал полковник Савелов... неужели может быть такое совпадение? Подождите меня немножко, только зайду домой... я живу рядом, на этой же улице.

Все детство, вся юность прошли под крылом отца, похожим на широкое крыло самолета, и всем лучшим, что есть в нем, обязан он, Савелов, отцу с его волей к жизни и страстной любовью к тому миру, который сейчас, как в панораме, сияет в глубоком проеме окна.

— Взгляните на эту фотографию,— сказала женщина, вернувшись.

На пожелтевшем снимке перед рядом выстроившихся на полевом аэродроме боевых самолетов стояла группа летчиков в комбинезонах и шлемах, а среди них высился рослый командир полка.

— Это мой отец,— сказал Савелов.

— А второй в ряду слева — мой отец. Мы с мамой находились в эвакуации, когда папа погиб. Мне было тогда всего два с половиной года, и я, конечно, не помню папу. Но когда нашли остатки самолета, а мамы уже не было, я пережила все то, что может пережить дочь. По образованию я историк, и когда представилась возможность приехать сюда работать в краеведческом музее, я не раздумывая согласилась. Но, боже мой, как неисповедимы бывают ходы жизни, и так странно, так неожиданно мы с вами словно заново соединили судьбы наших отцов!

— Где похоронен ваш отец? — спросил Савелов не сразу.

— После войны рядом со старым монастырским кладбищем возникло военное. На нем похоронены защитники Москвы, туда же перенесли и прах папы.

— Можно побывать на этом кладбище?

— Конечно... я провожу вас.

Они вышли из музея, миновали вскоре городскую площадь с торговыми рядами, а здание монастыря, превращенное в дом отдыха для рабочих местной швейной

фабрики, белело за крепостными стенами, израненными в войну, но вдоль стен стояли леса, бывший монастырь ремонтировался.

И Савелов, проходя между рядами могил, читал под именами тех, кто лежал здесь, год их рождения: большинству было всего девятнадцать или двадцать лет, а старший лейтенант Вязов погиб в двадцать три года.

— Конечно, Владимир Алексеевич, боль осталась на всю жизнь,— сказала женщина, когда шли обратно с кладбища,— но осталась на всю жизнь и гордость... все-таки мы с вами можем гордиться нашими отцами!

Улицы города в этот дневной час были пустынны, а в конце проспекта Победы зеленым серебром светилось залитое солнцем поле.

— Вот ведь как получается... приехал только взглянуть, а словно нашел все сразу,— сказал Савелов, когда они вернулись в музей.— Теперь-то уж буду приезжать.

— Приезжайте.

— Может быть, в следующий понедельник приеду.

— По понедельникам наш музей закрыт.

— Не так-то он уж нужен мне ныне, музей!

Она не нашлась что ответить, и они дошли до конечной остановки автобуса на городской площади.

— Так приезжайте, Владимир Алексеевич.

Автобус обогнул площадь, и вскоре началась автострада. Но что-то оставил он, Савелов, в этом маленьком городе, о котором знают лишь дачники, приезжающие на лето отдохнуть, да еще краеведы вроде него, однако нашедшего здесь, может быть, то, о чем в путеводителе по этому городу ничего не сказано.

ФУГА

Осенью Корнаков вернулся домой, и после художнического лета, особенно северного лета, как в этом году, когда он поехал писать памятники зодчества с вологодской или великоустюжской тишиной, с бесплотными ночами над Северной Двиной,— после этого простора Москва встретила тесно, три дня назад начались занятия в школах, а через неделю начнутся занятия и в художественном институте, где он преподавал по классу

живописи. И легкий предутренний туман над рекой, и горьковатый запах только недавно потушенного костра, и прислоненный к сосне еще непросохший этюд — все, как пейзаж из окошка вагона, осталось позади...

С места он снялся внезапно, собирался уехать на две-три недели, но они растянулись на целых три месяца, и рощи по дороге уже рыжели, когда он ехал в такси с Внуковского аэропорта.

Ключ от мастерской он оставил у соседки, поднялся сначала в лифте на девятый этаж, где были мансарды художников, поставил у двери своей мастерской чемодан и свернутые, еще не полностью просохшие этюды, потом спустился на пятый этаж. Раиса Михайловна Суходольская, живая и деятельная, несмотря на то что была уже на пенсии, прежде работала медицинской сестрой в поликлинике, Корнаков и познакомился с ней в этой поликлинике, к которой прикреплены были многие художники. По доброй случайности она получила квартиру в том же доме, в каком он получил свою мастерскую, и их знакомство продолжилось.

— Ну вот и приехали,— сказала Раиса Михайловна довольно.— Как поработали?

— В свое время покажу вам кое-что... прекрасней русского Севера трудно найти что-нибудь. А в Москве как?

— Все в порядке. Здесь ваша почта и газеты... Еще спрашивала вас на днях одна девушка, я сказала, что к началу занятий вернетесь.

И Раиса Михайловна подала ему ключ и записку с именем приходившей девушки — Лели Свержеевой. Он прочел имя, задумался, сказал:

— Спасибо,— и поднялся к себе на девятый этаж.

В мастерской было все так, будто он и не покидал ее, не дышал воздухом белых ночей, не торопился передать на холст очарование жемчужных, тающих красок, когда в легком розовом тумане возникает над Северной Двиной некий дивный град Китеж, царственно постоит в своем волшебстве, а над ним, махая упругими крыльями, летит розовая чайка...

Он установил у стены привезенные этюды, которые предстояло теперь натянуть на подрамники, и дымок костра, только уже не ночного, а полуденного, поплыл и поплыл...

В ту пору, когда только начинал свою работу, он встретил на одном из вечеров в Доме художника девушку, которая сразу очаровала его. Она была выпускницей Московской консерватории — Оля Свержеева, аккомпанировала на вечере одному певцу, и флорентийское золото волос, и чуть скошенные в разрезе серые глаза, и движения рук с длинными нежно-розовыми пальцами — все показалось ему пленительным.

А потом получилось так, что она пришла к нему, он стал писать ее портрет, молодой художник Сергей Корнаков, в ту пору еще никем не знаемый. Он писал портрет акварелью, только акварель могла передать и тонкую одухотворенность лица, и мечтательность серых глаз, и музыкальную руку, кисть которой свисала с края стола, а на столе в вазе оранжево теплились настурции...

Много раз, вспоминая об Оле, он старался припомнить: что́ тогда разлучило их? Может быть, то, что он думал больше о себе, чем о ней, стремясь поскорее утвердиться как художник, но второстепенной Оля не захотела быть, уехала к матери в Новосибирск, стала преподавать в музыкальной школе, вышла замуж, а он, потосковав, связал было свою жизнь с бывшей женой одного из художников, красивой, властной Калерией; однако на этот раз она предпочла свободную жизнь, а Раиса Михайловна, знавшая немного обо всем, сказала однажды как бы не о нем, а вообще:

— Плохо, Сергей Петрович, когда другой раз остаешься на бобах,— и он мысленно согласился с ней.

Знакомый художник, Василий Кириченко, поехавший на БАМ писать картины новой жизни, побывал в Новосибирске, случайно встретился с Ольгой Николаевной Свержеевой, которую знал еще по Москве, рассказал по возвращении, что Ольга Николаевна справлялась о нем, Корнакове, и он сказал — живет, работает, преподает. Но кто же, однако, была эта побывавшая в его отсутствие Леля Свержеева? И на миг далеко унесло из душной, неприбранной за лето мастерской...

День спустя он побывал в институте, в учебной части было уже вывешено расписание занятий, заглянул затем в выставочный зал на Кузнецком мосту, чтобы договориться со знакомым рамочником насчет застекления привезенных им работ.

А когда потянулась уже московская жизнь, к нему снова пришла Леля Свержеева, и он как бы увидел вновь ту, которую встретил однажды, с тем же флорентийским золотом волос, с теми же серыми, чуть размытыми глазами. . .

— Я и подумал, найдя вашу записку, что это, возможно, дочь Ольги Николаевны.

— Мама поручила повидать вас по одному очень огорчившему ее поводу: в свое время вы написали ее портрет, он всегда висел над ее рабочим столом, а недавно, видимо, перетерлась веревочка, рамка с портретом упала на стол, и теперь с краю чернильное пятно. . . можно это как-нибудь поправить?

Девушка достала из старинной папки для нот портрет, а чернилами залита была часть акварели — ваза с настурциями.

— Да. . . это я написал,— сказал Корнаков, держа в руках портрет.— Конечно, мог бы написать лучше впоследствии, но так уже никогда не написал бы. Я отрежу часть акварели и напишу новую вазу с цветами.

— Мама будет благодарна вам, а зайти я смогу, когда скажете. Теперь буду в Москве, поступила в консерваторию.

— Напишу, однако, не только вазу с цветами, но еще и ваш портрет. . . он будет вместе с тем портретом второй молодостью вашей мамы. Правда, с временем у меня тесновато, но если бы мы начали с вами в субботу, например. . . только пораньше с утра, а то дни становятся все короче и короче.— Но он имел в виду и другое.— И вот еще что. . . у меня хорошее пианино, только уже давно никто не играл на нем. Но я позову настройщика, и было бы так приятно, если бы музыка зазвучала в моей мастерской.

— Я ведь только учусь.

— Я тоже не сразу стал художником. Итак, буду писать новый портрет вашей мамы.

Девушка ушла, и в тишине мастерской, подобно фуге, вдруг хлынуло что-то, поднялось под стеклянную крышу, и затонувший град Китеж в перламутровой немоте белой ночи торжественно выплыл, заполнил собой розовый воздух и дивным миражем постоял несколько минут. . .

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

Девочки играли в дальнюю дорогу, они по примеру отца укладывали вещи, нужные в пути, укладывали в коробочки, сумки и даже в продольный овальный ящик для сбора трав и цветов — играли молча и сосредоточенно, старшей, Нюре, было уже шесть лет, а младшей, Юле, всего четыре года, и старшая сказала:

— Белье не забудь,— и Юля положила еще в ящик для трав несколько тряпочек.

А накануне они слышали из комнаты, в которой заперлись отец и мать, как мать сказала:

— Не думала я никогда, что может так получиться у нас с тобой... не думала.— Мать сказала это скорбно, а потом добавила уже без всякого сожаления: — Делиться ни с кем я не собираюсь, так что уезжай, пожалуйста, но только помни, что дорога эта дальняя, обратную не ищи.

Потом мать заплакала, и они, обе красные и запотевшие от волнения, слышали, как мать плачет, а отец сказал:

— Не знаю, кто виноват в том, что в нашей с тобой жизни появилась трещина.

— Не знаешь, кто виноват? — почти крикнула мать.

— Тише... дети услышат,— сказал отец, но они услышали все-таки, дети.

Отец с матерью еще долго говорили друг с другом, но уже совсем тихо, а вечером, перед сном, когда девочки зашли к отцу проститься, на полу стоял раскрытый чемодан.

— Завтра я уезжаю, девчоночки,— сказал отец,— буду строить одну железную дорогу. А когда построю, вы приедете ко мне.

Но старшая, Нюра, сказала: «Не уезжай, папочка»,— и младшая, Юля, тоже сказала: «Не уезжай, папочка»,— и они присели втроем на диван, а отец поцеловал ту и другую в затылочек.

— Построим новую железную дорогу, к тому времени вы уже подрастете, научитесь писать, станете посылать мне письма, а я увожу вас с собой.— И отец оттянул край жилета и показал на левую сторону своей груди.— Знаете, что здесь помещается?

Младшая сказала:

— Бумажник.

— Здесь помещается сердце, я в нем увожу вас с собой. А теперь ложитесь спать. Утро вечера мудренее.

И утро, которое мудренее вечера, настало, но отца уже не было.

— А где папа? — спросили обе разом.

— Уехал... Поезд уходил рано, не хотел будить вас.

Девочки сели пить утренний чай, и хотя отец уходил на работу всегда до того, как они поднимутся, было пусто, так пусто...

— Папа надолго уехал? — спросила Нюра.

Мать ответила:

— Наверно.

Она не знала, сколько времени будут строить железную дорогу.

И обе, как обычно, когда отец и мать уходили на работу, остались одни. На Нюру возлагалось присматривать за младшей, и она присматривала и хозяйствовала понемногу.

— Давай играть в дальнюю дорогу,— предложила она, когда мать ушла.— Ты будешь папой, а я буду мамой... давай укладывать вещи.

— А что мы будем укладывать? — спросила Юля.

— Платья, книги и на дорогу что-нибудь поесть. Тебе долго ехать.

— Я не хочу уезжать одна.

— Нужно, девчоночка,— сказала Нюра голосом отца.— Будешь строить железную дорогу. Потом мы с мамой приедем к тебе.

— Я не хочу уезжать одна,— повторила Юля и вдруг заплакала, сама не понимая, почему.

— Мы ведь впонарошку, мы с тобой только играем в дальнюю дорогу, — сказала Нюра, вспомнив, как мать назвала эту дорогу, когда говорила с отцом. — Я приготовлю бутерброды. Тебе, может быть, целый месяц ехать. С чем тебе приготовить бутерброды? С сыром или с докторской колбасой? Хочешь с докторской колбасой?

Юля ответила: «Хочу» — и Нюра стала готовить бутерброды с сыром и докторской колбасой, достала из хлебницы ломтик, поводила по нему ножом, изображая, будто намазывает маслом, потом положила на ломтик кусочек розовой бумажной салфеточки.

Отец обещал, что когда построят дорогу, они приедут к нему, его дочки, но что-то случилось все-таки, Нюра лишь смутно ощущала это, но скрывала от младшей свое беспокойство, хозяйственно говорила:

— И термос не забудь, захочешь чаю — всегда будет у тебя горячий.— Она достала из аптечки большой пузырек с каким-то лекарством, и его тоже уложили в овальный ящик для трав, как термос с чаем.

— А почему мама плакала? — спросила Юля.

— У мамы болит зуб, придется, наверно, вырвать, ничего не поделаешь. Нам с тобой хорошо, у нас новые зубы наместо молочных выросли, а у мамы уже старые зубы.

Она поддерживала бодрость в младшей, должна была внушать, что ничего в их доме не случилось, просто отцу нужно было поехать строить новую железную дорогу, по телевизору часто показывают, как строят железные дороги. Они еще долго укладывали нужные в пути вещи, а кукол придется оставить, на строительство железной дороги не берут с собой детей. Наконец все было уложено, утром вызовут такси и поедут на вокзал.

— Что мы теперь будем делать? — спросила Юля.

— Просто поговорим, садись.

И Юля взобралась на стул, а Нюра сидела на диване в комнате отца.

— Мы с тобой ведь всегда хорошо жили?

— Да,— ответила Юля неуверенно.

— Зачем же тебе уезжать?

— Не знаю. Я не хочу уезжать,— сказала Юля, и ее губы немного покривились.

— У нас семья, две дочки,— Нюра, наверно, имела в виду кукол — Кису и Генриетту,— зачем же уезжать от своих дочек?

— Я не хочу уезжать,— повторила Юля, и теперь уже появилась надежда, что она никуда не поедет, а останется дома, со своей семьей.

— Давай тогда разберем чемодан, раз ты не уезжаешь.

И обе с облегчением стали доставать из коробочек и сумок лоскутки и бутерброды с сыром и докторской колбасой, а пузырек Нюра поставила обратно в аптечку, раз теперь не нужен термос.

— А почему папа не мог остаться? — спросила Юля.— Я ведь осталась.

— Папа мужчина, а ты девочка. Когда вырастем, тоже поедем куда-нибудь, выйдем замуж и поедем с нашими мужьями.

— Я не хочу замуж,— сказала Юля.— Я хочу быть с мамой.

Ее губы опять покривились, и Нюра сурово сказала:

— Не будь плаксой. Если плакса, значит, клякса.

Она услышала это от соседней девочки Люси Нелидовой, которая в прошлом году пошла в школу, и они развеселились немного и попели вместе: «Если плакса, значит, клякса», и стало чуть полегче.

В три часа Нюра прошла в кухню, зажигать газ она уже умела, за окном стояли кастрюлька с супом и сковородка с картошкой, и она разогрела обед, а в сковородку с картошкой налила немного воды, как учила мать, чтобы картошка не пригорела. Потом она поставила на обеденный стол тарелки, достала хлебницу, и они сели обедать вдвоем, как обычно, но чего-то не хватало даже в этот час, когда они всегда были только вдвоем...

А отец, наверно, уже далеко в дороге, поезд идет быстро, и отец сидит у окна вагона, смотрит на лес или на поле за окном и думает о своих девочках, везет их с собой под жилетом, и хоть и грустно это, но все же несколько утешительно, что он везет их с собой.

Мать вернулась к вечеру, принесла сумку с хлебом, помидорами, маслом, всегда по дороге покупала все на завтра, как-то особенно, с порывом, дважды поцеловала обеих девочек, а обычно целовала на ходу в щеку или лоб.

— Ну как? — спросила она.— Не шалили?

— Нет, мы играли.

Мать отдыхать не стала, а сразу же принялась готовить обед.

— Папа сказал, что напишет письмо, когда приедет,— напомнила Юля.— Только, наверно, еще не скоро.

Мать стояла спиной, готовила на газовой плите, и нельзя было заглянуть ей в лицо.

— Деточки мои! — воскликнула она вдруг, повернувшись к ним.— Деточки мои,— и они увидели, что лицо матери залито слезами.

— Не плачь, мама,— сказала Нюра, и Юля тоже сказала! — Не плачь, мама,— но потом и они заплакали, не зная отчего, и мать целовала их в мокрые лица.

— Проживем,— сказала она затем с твердостью, глубоко вздохнув,— проживем, выращу вас, ничего никому не отдам!

Мать говорила уверенно, глядя в окно, за которым уже стояла осень, на большой березе осталось совсем мало листочков, и стало так хорошо от этой уверенности в ее голосе.

— Мама, а Юля не хочет выходить замуж,— сказала Нюра вдруг, и мать не удивилась, ответила:

— До этого далеко, у нас с вами много времени впереди, поживем еще вместе.

Но почему получилось так, что отцу непременно нужно было уехать строить железную дорогу, ничего не сказала она, Софья Федоровна Мосолова, телефонистка на междугородной переговорной станции. Осенний день за окном был уже короткий, но там, куда уехал отец, дни еще короче, это далекая сторона, там зимой иногда и нос высунуть страшно, такой мороз стоит — отец рассказал об этом перед своим отъездом. И вот он уехал, а на его рабочем столе все осталось как было, сидела мохнатая обезьянка, какую за петельку вешают в автомашине, и когда мать приготовила обед и прилегла на полчасика, девочки подошли к столу отца, Юля одним пальцем погладила по голове обезьянку, а обезьянка печально смотрела на них обеих своими близко поставленными глазами. . .

Вечером они взобрались с ногами на диван, обычно читал им вслух отец, теперь книга была в руках матери, но, почитав немного и глядя поверх страниц, мать сказала:

— Все в мире устроено для того, чтобы люди жили сердце к сердцу, и так грустно, когда это не получается. . .

Она сказала это, как бы обращенная к тому прекрасному миру, о котором рассказывалось в книге. . . но младшая еще ничего не понимала, а Нюра, может быть, уже и понимала кое-что.

Сегодня на междугородную переговорную станцию пришла одна красивая, явно чем-то расстроенная женщина, спросила, нельзя ли соединиться с городом Киренском, но с Киренском телефонной связи не было, и женщина растерянно постояла у окошка.

— Дайте телеграмму,— посоветовала Софья Федоровна.

— Телеграмма что ж... телеграмма не голос,— приоткрыла женщина краешек своей судьбы, может быть, похожей на ее, Софьи Федоровны Мосоловой, судьбу.

Но отец, хотя уже давно легли спать, постоял еще в их комнате, младшая быстро уснула, а Нюра еще не спала, и отец сказал ей, что нужно построить такую железную дорогу, по которой люди не уезжают, а только приезжают и никто ни с кем не расстается...

НАБЕГАЮЩАЯ НА БЕРЕГ ВОЛНА

В больнице Алексей Андреевич пробыл два месяца, прошел через все испытания воли и духа, через все томления оторванного от дел, от привычной жизни человека, да и всего того, что составляет его внутренний мир.

Из больницы его бережно отвезли домой жена, Людмила Васильевна, и Миша Сергеев, его бывший ученик, а ныне уже молодой ученый. И дома сразу обступило то, что было не только предметным миром его рабочей комнаты — книгами, любимыми мелочами на письменном столе,— обступило еще и другое, что давно стояло рядом и чего по жесткому ходу времени уже не устранишь.

Лечивший его врач, Игорь Мстиславович Гедеонов, ответил однажды на заданный ему вопрос:

— Алексей Андреевич, мы с вами, как говорится, уже пожившие люди и должны все принимать разумно. С годами, к сожалению, за человека начинают цепляться болезни, и хотя мы, медики, оптимисты по существу нашей науки, однако в некоторых случаях приходится

признавать необратимость, скажем, возраста человека. Возраст есть возраст.

И хотя Гедеонов ничего прямо не сказал, он ответил, однако, на то, о чем Алексей Андреевич и сам нередко думал: ему, ныне профессору-гляциологу Алексею Андреевичу Тарасову, было уже шестьдесят четыре года, жене недавно исполнилось тридцать семь, но никогда разница их возраста не стояла между ними: любовь и взаимная привязанность напрочно соединили их свыше пятнадцати лет назад. Он знал ее, Люду, знал ее чувство и верность, но с некоторых пор стал ощущать, что нечто иное вошло в ее жизнь, вошло смутно, и она страшилась этого больше, чем мог бы страшиться он сам.

Миша Сергеев, его любимый ученик, уже давно оправдавший возлагавшиеся на него надежды, стал не только членом его семьи,— семьи, однако, неполной, без детей,— Сергеев стал для него, Алексея Андреевича, необходимым человеком. Может быть, в нем, восполняя некую пустоту своей жизни, ощущал он преемника не только в области их общей науки. Но было еще и нечто другое: Алексей Андреевич стал все больше ощущать, что этот милый, спокойный, намного моложе его человек как-то преемственно стал нужен и Людмиле Васильевне... однако, зная прочность ее верной души, Алексей Андреевич не позволял себе усомниться в чем-либо.

Два последних месяца, проведенных в больнице, когда, лежа на спине, закинув руки за голову, смотришь в окно, за которым разгорается, а затем и меркнет день со сменой своих красок,— в эти больничные часы он пересыпал в руке — наподобие того, как пересыпаешь песок где-нибудь на пляже,— пересыпал прожитые годы...

Теперь все чаще приходили мысли о том, как человеку нужна семья, дети, внуки, его поросль, наследники его мыслей и чувств, и как беден дом без этого...

Он вспоминал еще, как встретился на юге в санатории с молодой женщиной, Людмилой Васильевной Рябовой, только что окончившей Институт иностранных языков, и как началось все с того, что она перевела ему несколько английских терминов, нужных для его работы. Впоследствии, когда они были уже мужем и женой, он не раз шутливо напоминал, что, если бы не английские термины, они, может быть, и не нашли бы друг друга...

Все это проходило в больничном томлении, в пустынных днях, и теперь настойчивее и настойчивее утверждалось в мыслях многое. Он ощущал, что между женой и Сергеевым возникло чувство друг к другу, однако они никогда не переступят этого — оба слишком любят и уважают его. Но он спрашивал все же самого себя — как же все-таки, если что-нибудь постигнет его, будет с женой? Врач Гедеонов не показал своих глаз за стеклами очков, когда ставил малоутешительный диагноз.

И Алексей Андреевич теперь все чаще думал о том, что верным хранителем самого дорогого ему на свете мог быть только Сергеев, его питомец. Однако не так-то легко даже в мыслях оторвать от себя то, что приросло к сердцу, но все же нужно думать об этом... кто может с его болезнью сказать, что будет с ним завтра?

Алексей Андреевич вернулся из своего двухмесячного больничного плена с этими мыслями, однако как-то ослабевшими, когда оказался дома, среди своих вещей, своих книг. Его кафедру вел пока Сергеев, но институт ждал его, Алексея Андреевича Тарасова, возвращения.

— Летом поедем с тобой куда-нибудь на юг,— сказала Людмила Васильевна однажды. — Отдохнешь, поправишься, вернешься в Москву совсем молодцом.

А он смотрел на нее, ставшую с годами по-новому красивой, словно она была старшей сестрой той, молодой, которую полюбил он когда-то, думал о том, что неужели придется оставить на произвол судьбы это дорогое для него существо, если Гедеонов и впредь ничем не утешит,— и в чьи же руки мог бы он передать ее, как не в надежные руки Сергеева?

— Юг, наверно, уже не для меня,— сказал он, когда она заговорила о будущем лете.— Лучше поехать на Балтику, я плохо стал переносить жару. А ты поезжай на юг.

— Нет, мы поедем с тобой вместе,— ответила она спокойно.— Одного я никуда не отпущу тебя. К тому же Балтику я люблю больше, чем юг.

Она ничем не хотела встревожить его, и он еще больше утвердился в мысли, как нужно ему позаботиться о ней заранее...

Был уже сентябрь, предстояло еще полечиться дома, а после Нового года можно будет выйти на работу, и Сергеев предупредил его:

— Я уже сообщил в деканат, что с января вы снова начнете занятия, Алексей Андреевич.

Сергеев был невысокий, с русским простым лицом, крестьянски чистыми голубыми глазами, и Алексей Андреевич сказал ему однажды:

— Вас художник Васнецов, наверно, хорошо написал бы, Миша... он такие открытые лица любил писать.

Сергеев смутился, ничего не ответил, и Алексей Андреевич сказал еще:

— Вот насчет чего я хотел бы поговорить с вами, Миша: врач Гедеонов не скрывает от меня, что с моей болезнью на долголетие нечего рассчитывать. Я человек предусмотрительный, а в больнице и особенно задумался над многим. Сели образуются и в жизни человека, и всегда нужно быть готовым к обвалу. Насчет кафедры я спокоен, есть кому вести ее, так что в этом секторе все ясно. Но есть еще и другой сектор — личный... Мы с вами, Мишенька, уже съели если и не пуд соли, то килограммов двадцать по крайней мере, наша с вами дружба просоленная, и холодильник для ее сохранения не нужен. Так вот, я хотел бы заручиться одним вашим обещанием... пообещайте мне это, а я постараюсь поскорее поправиться.

— Что я должен обещать? — спросил Сергеев.

— В общем малость. У нас с Людмилой Васильевной нет детей... в случае если что-нибудь произойдет со мной, она останется одна-одинешенька, и моя просьба: не оставляйте Людмилу Васильевну, вы хороший наш друг, не оставляйте ее.

Сергеев молчал, его лицо только чуть побурело от горечи, а может быть, и виноватости, такие крестьянские лица не краснеют, а лишь темно буреют.

— Зачем вы говорите со мной об этом? — сказал он. — Я преданный вам человек и всем, чего достиг, обязан только вам. А вы словно испытываете меня, Алексей Андреевич.

— Почему же испытываю? Просто сидят два гляциолога, беседуют о ледниках и о селях, и вполне естественно, что говорят и о том, как предотвратить тяжелые бедствия... в словаре появилось новое слово — селеопасность. Только и всего, Мишенька.

Они посидели минуту в молчании, потом Алексей Андреевич сказал, как бы продолжая разговор о кафедре:

— Завтра выйду погулять для начала, а после Нового года примусь всерьез за работу.

И то, с чего начался их разговор, как бы ушло.

После Нового года Алексей Андреевич начал снова читать лекции, а Людмила Васильевна переводила для подписного издания роман одного французского классика, и по вечерам они обычно оставались вдвоем. Иногда звонил телефон, подходила Людмила Васильевна, говорила коротко, больше отвечала на вопросы, видимо, но тому, кто звонил, наверно, нужно было только услышать ее голос, и Алексей Андреевич, проверяя себя, ощущал все же печаль, какую не может не испытывать человек, когда от него уходит постепенно что-то дорогое ему.

В конце зимы врач Гедеонов снова обследовал его, посоветовал после окончания учебного года поехать куда-нибудь к морю, и Алексей Андреевич, дождавшись отпуска жены, уехал с ней в Прибалтику, пересыпать из руки в руку легкий, теплый песок, как пересыпал в больнице свои мысли, а вернее — свою жизнь. . .

Они жили в большом санатории, стоявшем высоко на дюнах, а море с утра открывалось в нежном сером мареве, та не похожая ни на одно море Балтика, которая пахнет скандинавскими шхерами, и даже у чаек, кажется, свои особые голоса.

Алексей Андреевич спускались с женой по ступеням, гуляли вдоль берега или сидели на скамейке, а Балтика несла мягкие, теплые волны с пенистой проседью, иногда под крепнущим ветром бежали и барашки, если по метеосводке накануне предвещались три-четыре балла.

Алексей Андреевич знал, что жена получает иногда на почте письма до востребования, прочитывает еще в здании почты и рвет их, он знал также и от кого эти письма.

— Хочу написать Сергееву,— сказал он как-то,— пускай приехал бы. . . нам было бы хорошо с ним.

Людмила Васильевна ничего не ответила, и минуту они шли молча.

— Ничто не приносит столько мыслей, как море, можно часами смотреть на него и обо всем подумать. . . подумать и о том, что ничего хорошего Гедеонов мне не обещал, значит, следует подумать также о том, чтобы ты и без меня была счастлива.

— Бог знает, о чем ты говоришь! — сказала Людмила Васильевна.

— Я не вправе оставить тебя на пустом берегу... пусть не со мной, с другим ты пройдешь здесь, а набегающая на берег волна обдаст твое лицо свежестью и мелкими брызгами.

Он ничего не сказал о Сергееве, но Сергеев шел рядом, Людмила Васильевна опиралась о его надежную руку, а набежавшая крупная, в мраморной празелени, волна тяжело ударила о берег, и Алексей Андреевич достал платок, отер мокрое от брызг лицо, и все было солоно, глаза особенно...

СТЕПНОЙ, ТАКОЙ ПРОСТОРНЫЙ ДЕНЬ

Два последних года Евдокия Васильевна догорала, еле теплилась и ушла тихо и незаметно, никого не потревожив: просто уснула и не проснулась больше, лежала как бы виновато, что так получилось с ней, и словно просила простить за предстоящие из-за нее хлопоты...

Муж дочери, Нины, Савелий Гигорьевич Кашин, человек деловой и рассудительный, заведующий большой овощной базой, сразу же приступил к тому, чего все в доме ожидали со дня на день. Но Евдокия Васильевна задержалась со своим уходом, прожила дольше, чем предполагали близкие, однако все были готовы к тому, что вот-вот это может случиться.

Дочь Нина ждала через несколько месяцев второго ребенка, боялась своих слез и печали, как-то внутренне из опасения за будущего ребенка отстранилась от них. Евдокия Васильевна надеялась при жизни на распорядительность зятя, когда это случится с ней, а четыреста тридцать рублей на ее сберегательной книжке были по завещательной записи предназначены для дочери.

Савелий Григорьевич сказал жене:

— Что же теперь делать, Ниночка... мать уже старенькая была, жизнь ей самой приходилась в тягость. А тебе волноваться и переживать в твоем положении никак нельзя.

Нина понимала, что в ее положении волноваться и переживать нельзя, но все же отирала глаза, расстраивая себя мыслями о матери, с предстоящим уходом которой давно примирилась.

Старое городское кладбище было два года назад закрыто, теперь уже понемногу распространилось новое, далеко за городом, в степи, а в стороне, под глубоким откосом, широко шла Волга.

В автобусе с черной полосой вдоль кузова кроме дочери с мужем ехали еще сын от первого брака Савелия Григорьевича, Всеволод, студент филологического факультета, высокий, худой, в очках, несколько соседок-старушек, а второй сын, Федя, только что перешел в третий класс школы, сидел рядом с водителем, и все разнообразие жизни было перед ним. Сначала шла главная улица города — Ленинская с ее кинотеатром и магазинами, за площадью Свободы с памятником одному писателю долго тянулась Московская, тоже оживленная улица, потом пошли улицы потише и поменьше, деревянные дома бывшей слободы, а дальше город кончался, начиналась степь, огромная, вся в серебре под холодным октябрьским солнцем, вся в широте и бескрайности, а справа глубоко внизу отражала сине-бирюзовое небо Волга. . .

И то, ради чего выехали в степь, как-то отошло, растворилось в свежем, холодном воздухе залитого солнцем простора, а Федя, сидя рядом с водителем, наблюдал, как нажимает он ногой на педали, ведет большую послушную машину, и день казался даже несколько праздничным от событий, а насчет бабушки Савелий Григорьевич сказал ему:

— Конечно, жалко бабушку, но она уже совсем никуда была, и видеть стала плохо.

И следовало понять, что горевать особенно ни к чему, в жизни все идет по своему закону, а он, внук, должен хорошо учиться, и ничего больше бабушке не было бы нужно от него.

Старший сын Всеволод писал стихи, хотел стать поэтом, для начала поступил на факультет русского языка и литературы с мыслью через год подать заявление о принятии на заочное отделение Литературного института в Москве, тетрадь со стихами была уже готова, а два его стихотворения были напечатаны в университетской

многотиражке, и сейчас, настраивая себя на печальные воспоминания, он, как обычно, мысленно слагал стихи, и уже родилась первая строчка: «В путь далекий, зимний, стылый...», чтобы выразить его чувства.

Но когда выехали в степь и вся широта мира в серебре и милости открылась за окошком автобуса, эта строчка сбилась как-то, возникли взамен другие строки: «Такой степной, широкий мир, такая ширь над Волгой полной...», да и последующие строки тоже складывались во славу этого серебряно залитого солнцем дня...

Кладбище, лишь недавно начавшее свое существование, уже разрослось, белело памятниками, а маленькие робкие березки, посаженные близкими тех, кто лежал здесь, были ржаво охвачены заморозками.

Савелий Григорьевич вместе со старшим сыном помогли нести гроб к тому месту, где все было уже приготовлено, и Нина благодарно думала о деловой распорядительности мужа, все сделавшего как надо, ничего не забывшего в порядке скорбных поминальных дел. А в последние минуты Савелий Григорьевич стоял рядом с ней, поддерживал ее за локоть левой руки, правой Нина вытирала слезы, и Савелий Григорьевич сказал:

— Не расстраивайся, Ниночка... теперь уже ничего не вернешь.

Ноги Нины отекли, как это было перед первыми родами, и, скорбя о матери, она думала в то же время, чтобы только все было благополучно с родами, а ребенка она ждала не позднее Нового года.

И, наверно, все было именно так, как хотела Евдокия Васильевна в своей тихости и скромности,— хотела, чтобы не слишком оплакивали ее, она свою жизнь уже прожила, и если задуматься, то хорошо прожила, муж, Иван Андреевич Жданович, был механиком на заводе, жили они в полном доверии и любви друг к другу, и дочку вырастили, только отец не дожил до той поры, когда Нина по окончании школы стала воспитательницей в детском саду, потом вышла замуж за человека, правда, вдовца и с сыном от первого брака, но делового и семейственного, никуда в сторону не уходил, и к ней, Евдокии Васильевне, относился по-родственному, называя ее — «мамаша», и ни разу не было так, что-

бы он хоть взглядом выразил какое-нибудь недовольство.

Наверно, все было именно так, как хотела Евдокия Васильевна напоследок, и даже день в своей осенней благостыне улыбнулся ей, когда оставили ее одну в степи досыпать свой сон, а Всеволод, которого она считала как бы родным внуком, написал стихотворение, хотя и не такое, какое задумал, хотя и не печальное, но широкое по своей светлости... и то сказать, такой хороший, такой серебряный день был над степью и над Волгой, а на Волге она, Евдокия Васильевна, родилась, и лучшей чести для себя и не придумаешь, чтобы Волга была навечно рядом.

А когда вернулись из-за города, стол был уже накрыт, постарались две соседки, Сапрокова и Прямина, Анна Петровна и Клавдия Степановна, одного с ней, Евдокией Васильевной, возраста, но еще спорые в работе, а Клавдия Степановна и до сих пор, хотя уже давно была на пенсии, трудилась в коммунальном хозяйстве по садоводству, и цветы на площади Свободы были высажены и ее руками.

Нина сидела в широком темном платье, несколько скрывавшем ее полноту, все же с тоской по матери, хотя та и чуть теплилась в последние месяцы, догорала, как огарочек, но Нина подавляла желание плакать, прислушиваясь к живому существу в себе и опасаясь повредить ему своей скорбью о матери. А он уже хотел жить, врач в консультации, выслушав биение сердечка, предположил, что родится, наверно, мальчик, и они с мужем уже обдумали назвать его Константином, будут три брата — Всеволод, Федор и Константин, хотя Всеволод и сводный, но все же как сын ей.

За поминальным столом она сказала мужу:

— Не пей много, Савушка.

Но Савелий Григорьевич потрудился за последние дни, пил, наверно, чтобы заглушить в себе много разных чувств, отозвался:

— Я только за упокой души мамаши, Ниночка. Я Евдокию Васильевну очень уважал.

Выпил он, конечно, больше, чем следовало, но зато отошло в сторону то, что было связано с последними тревогами и заботами, стало как-то легко от мысли, что все это уже позади, а месяца через два предстоит новая

тревога — как обойдется с родами жены, и Савелий Григорьевич чуть распухшими от степной свежести губами говорил, наклоняясь к жене:

— Все по-хорошему, Ниночка... сама видишь — все по-хорошему, а мамаше вечный покой, и такое славное место я выбрал, Волга рядом.

И сыну Федору, сидевшему по другую сторону, Савелий Григорьевич налил стаканчик томатного сока.

— Тебе вино нельзя, Феденька... выпей соку за бабушку, она любила тебя и свое лото тебе оставила, в ящичке ее записка лежит: «Феденьке». Завтра утром пойдешь в школу, постарайся хорошую отметку получить, порадуй бабушку, хоть и нет ее на свете.

Савелий Григорьевич говорил несколько больше, чем следовало по той печали, какая должна быть в опустевшем без Евдокии Васильевны доме, но Нина не винила его: столько хлопот было за три дня — все успел, все получилось по-хорошему... а мать словно не три только дня назад заснула навсегда, будто уже давно ушла, но ведь и вправду, жила в полжизни за последнее время.

А старшему сыну, Всеволоду, Савелий Григорьевич сказал:

— Ты какой-нибудь стишок написал бы, Севка... на помин бабушки написал бы.

И Всеволод ответил:

— Я уже наполовину написал,— не добавив, однако, что получилась не зимняя стылая даль, а широкая ширь и Волга, полноводная от осенних дождей, мысленно уже дал название этому стихотворению, когда допишется: «Степной, такой просторный день» или в этом роде.

Среди вещей, оставшихся после Евдокии Васильевны, нашлись и часы ее мужа с выгравированной надписью: «Ивану Андреевичу Жданович за хорошую службу», поднесенные к двадцатипятилетию его работы на заводе, а к ремешку часов была привязана на ниточке записка: «Севе», и о нем, как о родном внуке, Евдокия Васильевна позаботилась.

Но разбирать вещи матери Савелий Григорьевич не позволил жене, чтобы она лишний раз не расстроилась, а платья, какие остались, отдал соседкам Сапроковой и Пряминой, дружившим с Евдокией Васильевной и по-

заботившимся, чтобы на поминках было все по правилам.

Они же помогли и прибрать в доме после поминок, перемыли посуду и неслышно ушли. Завтра рабочий день, у Всеволода и Феди занятия, а Савелий Григорьевич выпил все же больше, чем следовало, и сразу глубоко заснул. Нина лежала с открытыми глазами, прислушивалась к тому, что вдруг толкнуло ее, была уже полна нежности к этому крохотному, беспомощному Костеньке с его робким напоминанием, что он скоро появится на свет, или, может быть, будет дочка, это тоже неплохо, а мать, казалось, ушла уже несколько лет назад. И хотя жалко ее, но что же делать, жизнь идет своим порядком, теперь нужно думать, что ожидает ее, Нину, думать и о Феде, который не так-то хорошо учится, принесет другой раз и двойку, будто несправедливую, просто учитель, по его уверению, придрался. . .

А Всеволод пишет стихи, и знакомый журналист Лебедев, написавший однажды в газете очерк о детском саде, где она, Нина, в свою пору работала, прочитав по ее просьбе стихи Всеволода, сказал:

— Толк, видно, получится... только еще подражает кое-кому.

Всеволод теперь тоже был заботой для нее, выходя замуж за Савелия Григорьевича, Нина пообещала, что будет по-матерински заботиться о его сыне.

И она лежала с открытыми глазами и думала обо всем этом, чего жизнь требует от нее, мысленно сказала матери:

«Не суди меня, мамочка, что мало поплакала. . . ты ведь и сама понимаешь».

Но мать тоже тревожилась за нее, всегда предупреждала, когда Нина выходила из дома: «Ты поосторожнее только. . . не оступись»,— с тревогой ждала ее возвращения, а ходить в булочную не позволяла, приносила хлеб сама, хотя и слабые были у нее ноги.

В восемь часов утра Нина разбудила сыновей, Всеволод не выспался, близоруко смотрел в свои очки, но Федя был свеженький и розовый, съел два яйца всмятку. Нина сказала ему:

— Ты только поосторожней переходи дорогу, — а Всеволода спросила:

— Ты когда вернешься?

— У нас сегодня литературный кружок,— ответил он неопределенно и ушел, старший сын, со своим миром и своими стихами, которые читал иногда вслух, а начатое вчера дописал все же при свете ночника под розовым колпачком.

И широкий осенний день, сначала с запотевшими от утренника стеклами окон, а потом весь в сплошном серебре от неба до степи, с серебряной Волгой, округлой от своего полноводья, лег над городом с его центральными улицами — Ленинской и Московской, и над бывшей слободой с деревянными домиками и рябинками в палисадниках, лег и над тем дальним покоем, в котором Евдокии Васильевне не о чем было думать и беспокоиться. Но это было местом сна, а местом жизни с ее действием был город, к одной из его пристаней причалил пароход «Иван Тургенев», стоял белый, как опустившийся на воду лебедь, шел в один из последних своих рейсов в Астрахань, потом вернется и до ледостава, может быть, еще поплавает.

Нина, проводив сыновей, села за швейную машину, готовила приданое с голубыми бантами, девочке полагаются розовые, но и розовые на всякий случай были наготове. А Костенька в ее мыслях уже лежал перед ней, его кроватку поставят в комнате, где жила мать, Савелий Григорьевич уже договорился с маляром побелить потолок и оклеить веселенькими обоями с цветочками, высмотрел их в хозяйственном магазине, а тяжелую штору, закрывавшую окно, нужно заменить занавеской, в детской должно быть много света.

Савелий Григорьевич вернулся после работы с большим арбузом, нес его в сетке за плечом, сказал: «Вырастила земной шар матушка Астрахань»,— а жена лишь покачала головой, не столько дивясь арбузу, сколько его, Савелия Григорьевича, заботе о своем доме. Федя, только что вернувшийся из школы, посмотрев на арбуз, сказал: «Ого!» — а Всеволода ждать не стали, у него сегодня литературный кружок, может быть, читает какое-нибудь новое свое стихотворение, журналист Лебедев сказал все-таки: «Толк, видимо, получится»,— и Всеволоду оставили почти четверть арбуза с огненно-красной мякотью и лаково блестящими агатовыми зернами.

В ЗИМНЕЙ ДАЧКЕ

Маша Прибылова ушла от мужа с пятимесячным младенцем на руках. Муж, Афанасий Прибылов, казалось, сам старался, чтобы однажды ей стало невмоготу и она ушла бы куда глаза глядят. Прибылов работал на сырьевой базе приемщиком, и когда в соседний продуктовый магазин привозили водку, был в числе первых покупателей, а в комнате, которую Маша аккуратно прибирала всегда, наутро было полно сизого табачного дыма, стояла опорожненная на три четверти бутылка, а что оставалось в ней, шло на дневную зарядку.

За те месяцы, когда Маша ждала ребенка, она и вовсе опостылела ему с ее кротким напоминанием, что скоро у них будет ребенок и будущему отцу следует подумать об этом. Но думать об этом Афанасий не хотел, дважды в пьяном виде прибил ее, и она боялась только, чтобы не ударил по животу, а когда появился на свет тот, которого назвали Федором, сказал, правда, пьяный:

— Мне в наследство нечего оставлять. . . так что никакой наследник мне не нужен.

Конечно, лишь пьяный человек мог сказать так, но он все-таки сказал это, Афанасий, а несколько дней спустя толчком ноги кинул в нее табуретку, больно ударившую по колену, и Маша решила уйти, что бы ни ждало ее. . .

Отец после смерти матери женился вторично, мачехе, Таисии Петровне, Маша не нужна была даже без ребенка, а отец работал машинистом на железной дороге, был на своем тепловозе чаще всего в отъездах, и не оставалось даже отчего дома, куда можно было бы пойти. . .

Маша решила поехать в Наро-Фоминск, к тете, сестре покойной матери, Устинье Ильиничне, служившей в продуктовом магазине, тетя Уля всегда жалела ее, не откажет, может быть, хотя бы на первое время приютить под свою крышу. Но, медленно идя в сторону станции, Маша вспомнила, что Василий Никитич Кирпичников,

работавший в каком-то музее в Москве и до глубокой зимы живший на своей дачке, искал сторожа на зиму, а зимой приезжал лишь изредка, поработать в снежной тишине. И она свернула в сторону и пришла вскоре к даче Кирпичникова.

— Отец говорил, что вы сторожа ищете... так вот я могла бы,— сказала она.— Такие обстоятельства у меня, Василий Никитич, сложились, что только зиму прожить бы... а потом я в ясли своего устрою.

Кирпичников, высокий, с золотистой бородкой, кончик которой всегда теребил, и кончик был загнут кверху, как крючок вешалки, посмотрел на нее сквозь очки, посмотрел и на сверток в ее руках. И Маше пришлось рассказать, почему она ушла из дома, где никакой жизни у нее не было, а теперь, с ребенком, и вовсе нет...

— М-да,— сказал Кирпичников,— ситуация понятная. Однако позвольте спросить — не знаю, как вас по имени,— не боязно будет вам остаться одной? Я ведь скоро перееду в Москву, бывать буду только наездами... уголь, правда, на зиму припасен, мерзнуть не будете, но все-таки.

— Я, Василий Никитич, на все согласна,— сказала Маша горько.— Я на любую крайность согласна. А какой же у меня выход? Я хотела к тете в Наро-Фоминск поехать, да ведь у нее своя семья.

И Кирпичников снова сказал:

— М-да,— а палец его руки задержался на минуту в конце бородки.— Что ж, обязанности у вас будут несложные... топить котел, он хорошее тепло дает, да еще дорожку к дому расчищать, когда выпадет снег, а комнату могу предоставить вам эту.

И он провел ее коридорчиком в комнату с одним окном, но и во всей дачке было не так-то много окон.

И Маша осталась в даче занимавшегося искусством Кирпичникова, трижды в неделю он уезжал в музей, где служил, а остальные дни проводил на даче, писал в своей комнате, и Маша боялась, только бы не заплакал ребенок. Но он был тих и покорен, Феденька, словно сознавал невеселую судьбу матери, да и свою невеселую судьбу. А как-то, разузнав, где жена, явился Афанасий, пьяный, стал стучать в дверь, но вышел

Кирпичников, в этот день приехавший поработать, сказал:

— Советую вам не появляться здесь больше... очень советую.

Он сказал это таким голосом, что Афанасий сразу словно протрезвел и только тупо смотрел на него.

— Вы, видимо, плохой муж и плохой отец,— добавил Кирпичников тем же тихим, однако неумолимым голосом.

И Афанасий пригрозил только:

— Ладно, я через суд ее вытребую.

Но через суд он жену с сыном не вытребовал, пообещал лишь убить их обоих, но больше, однако, не появлялся.

И с женской рукой стало в даче так, как, может быть, не признаваясь себе, искал Кирпичников, оставшийся холостяком, неухоженный: по утрам уже ждал его горячий чайник, стол был накрыт, от затопленного в даче котла шло тепло. Однажды Кирпичников зашел в комнату Маши, когда она кормила ребенка, Маша стыдливо обдернула на себе кофту, ребенок, насытившись, вяло шевелил засыпающими губами у ее груди, и Кирпичников вдруг сразу повернулся, поспешно ушел в свою комнату, сел за рабочий стол, пока синий вечер не подошел вплотную к окну, а на ветках деревьев уже лежал снег, правда, еще первый, но уже не таявший, и, наверно, скоро ляжет и совсем.

Кирпичников затем еще не раз заходил в комнату Маши, когда она кормила ребенка, смотрел на них издали и возвращался к своему рабочему столу.

— Наверно, через недельку надолго перееду в город, — сказал он однажды. — Страшновато все-таки оставлять вас здесь одну.

— Я не боюсь,— ответила Маша.

Однако она боялась зимних ночей в пустой даче, да и Афанасий мог явиться пьяный, и лучше не думать, что он способен натворить.

— Великие художники Возрождения писали не раз богоматерь с младенцем на руках... но богоматерь была для художника, конечно, лишь прообразом его жены или любимой им женщины: материнство — счастье не только для женщины, но и для того, кто эту женщину любит. Между прочим, и вы подсказали мне это.

Кирпичников говорил непонятно, его глаза за стеклами очков были кроткие и усталые, и Маша еще робко, еще несмело ощущала, что стала уже немного нужна ему.

Пришла как-то свекровь, мать Афанасия, Нина Гавриловна, работавшая в посудохозяйственном магазине, недовольная, со злым, длинным лицом, Кирпичников был в городе, и она могла во весь голос выговорить Маше:

— Ты что же это за моду выдумала уходить от мужа? Кто тебе эту моду подсказал? Или, может, живешь со своим хозяином?

И Маша вдруг с твердостью, какой не знала в себе, сказала:

— Уходите, Нина Гавриловна... уходите немедленно!

Нина Гавриловна еще с минуту кричала что-то уже на крыльце и грозила, но Маше не было страшно, у нее есть защитник, и она хотела сделать все для того, чтобы Кирпичников мог спокойно работать. А как-то он показал ей цветную репродукцию с изображением богоматери, и такая же маленькая с ямочкой ручка лежала и на ее, Маши, груди, когда она кормила сына, потом рука засыпала понемногу и сползала, а насчет того, что ребенок может помешать его работе, Кирпичников сказал:

— Пусть покричит... от крика только развиваются легкие.

И, может быть, ему, Василию Никитичу, нравилось, что живая мать с младенцем на руках появилась наместо цветных репродукций.

— Просто не знаю, как нам с вами быть,— задумался он как-то.— Избаловали меня, теперь мне будет трудно одному... вообще человек быстро привыкает к хорошему. Вы, наверно, и готовить умеете?

Он вспомнил, видимо, как Маша постаралась раз, накормила его борщом и макаронами с сыром.

— Не знаю, как нам с вами и быть,— повторил он.— Есть у меня, правда, одна мысль: в конце концов, несколько зимних месяцев могу и не ездить на дачу. В Москве у меня однокомнатная квартира, однако кухня довольно просторная, можно поставить коечку. Проживете зиму, а там будет видно.

— Господи, да я хоть в самом уголке,— сказала Маша.— А насчет того, что присмотрю и уберу, можете не сомневаться, Василий Никитич, да и насчет вашего питания побеспокоюсь.

— М-да,— сказал он только,— м-да.

Ему самому было странно, наверно, что эта заблудившаяся, безответная Маша забрела в его дом, стала постепенно частью нужного семейного уюта, и как быстро это иногда происходит, особенно если человек один, а вокруг только поля, летом хоть с цветами, а зимой наметет сугробы, и не протопчешь тропинки к своему дому. . .

Кирпичников уехал в город, а Маша прибрала в доме, сняла с рабочего стола папки, стерла пыль и на минуту задумалась. Как же все-таки будет дальше в ее жизни? Афанасия Прибылова она и выходя за него замуж не любила, просто нужно было устроиться, когда отец женился вторично, но теперь так странно ее заботой стал Кирпичников, и что-то соединяло их: может быть, общее неустройство. . . а так все-таки полегче, когда чья-то рука рядом, уже несколько и близкая тебе рука.

Кирпичников как-то заново разбудил в ней то, что в свое время видела она впереди, в долине предстоящей ей жизни, как-то поднял ее, и она впервые еще с непонятной ей самой гордостью думала о том, что стала нужна другому, и нужно сделать все, чтобы не обманулись в ней.

Кирпичников после рабочего дня проехал в метро на вокзал, сел в один из дачных поездов, которые стали уже реже ходить, а сойдя с поезда, зашел по дороге в станционный продуктовый магазин. Покупателей в этот час было мало, и Кирпичников купил в кондитерском отделе конфеты «Чародейка», а в молочном отделе купил, хотя и неуверенно, коробку «Молочной смеси».

Дверь Маша открыла сразу, едва он отстукал ноги на крыльце, шел мелкий снег, зима уже подступала к дачке, и совсем не обязательно приезжать сюда работать, можно работать и в городе, о тишине Маша позаботится, а если даже и заплачет ребенок, это лишь на пользу для его легких.

ВЕЧЕРНИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Листая свою телефонную книжку в тот вечерний одинокий час, когда нередко нуждаешься в собеседнике, Андрей Андреевич набрел на номер телефона старого товарища, Константина Белоярцева, минуту посидел в раздумье.

Белоярцев в свое время женился на девушке, которая нравилась тогда ему, студенту института археологии Андрею Коченову, и он вспомнил эту Валечку Мещерскую, трогательную своей женской душевностью и похожую на одну из тех, которые, полюбив, способны на любую жертву.

Но все оказалось проще его воображения: отпраздновали бездумную студенческую свадьбу, он, Коченов, был шафером, после загса поехали в ресторан речного порта, где заранее заказан был столик, выпили шампанского, потом компанией в шесть человек сели на пароход «Николай Огарев», доехали до Строгина, расположились на лугу, открыв еще парочку бутылок шампанского, у одной из подруг Вали был красивый грудной голос, и она пела под гитару. Вечером утомленные вернулись с последним пароходом в Москву, а там постепенно и эта студенческая свадьба, да и сама Валечка Мещерская уплыли, как и многое другое уплыло за прошедшие шесть лет. . .

И Андрею Андреевичу захотелось в этот одинокий час услышать знакомый басок Белоярцева, не сразу назвать себя, а изменив голос, сказать что-либо вроде: «Говорят из Дома культуры имени Ломоносова, не могли бы вы выступить у нас с каким-нибудь докладом? Мы недавно читали ваш очерк в «Комсомольской правде», нам очень понравился».

В газете действительно был напечатан очерк Белоярцева о археологических находках при раскопках одного кургана на Украине. Андрей Андреевич набрал номер телефона Белоярцева, не уверенный, что номер, может быть, уже давно изменился, к телефону подошли не сразу, потом тихий женский голос как-то устало спросил:

— Да?

— Константина Дмитриевича Белоярцева можно?

— Константин Дмитриевич не живет здесь больше,— ответил женский голос как бы с некоторым усилием.

— С кем я говорю?

— Это не имеет значения.

— А все-таки... может быть, с Валентиной... а вот отчества не помню, впрочем, и не знал никогда.

И женский голос опять с некоторым усилием спросил:

— Кто говорит?

— Если вы Валентина, то говорит человек, который хранит свою преданность вам. Это Андрей Коченов, не забыли еще?

— Боже мой... откуда вы? — спросила женщина.

Он хотел было в свою очередь спросить, что случилось, почему Константин Белоярцев не живет больше здесь, но удержался.

— Целых шесть лет жил в Москве только урывками... почти все время в экспедициях. Но я никогда не забывал вас, Валечка, честное слово!

Он едва не сказал: «Не забывал вас и Костю».

— Спасибо,— ответила она, но так невнятно, словно спала до этого и он разбудил ее звонком.

— Мне было бы приятно повидать вас... можно ли по-прежнему называть вас Валей?

— Конечно... а повидать — нужно ли это?

— Но почему же все-таки... почему же нам не увидеться?

— А как? — спросила она мягче.

— А вот как: если у вас свободный вечер, заеду хотя бы на полчасика. Человек иногда перелистывает свою жизнь, как телефонную книжку, и тогда ужасается, сколько телефонов уже не для него, и не позвонишь даже, чтобы не удивились твоему звонку. Мне хотелось бы все же повидать вас, в свое время мы неплохо относились друг к другу.

— Ну что ж, — сказала она, помедлив, — приезжайте. Адрес мой прежний.

— Возьму такси и приеду.

Он посидел еще минуту в непонятной печали, как-то словно покорным судьбе был голос этой некогда оживленной Валечки: что-то случилось, видимо, в ее жизни...

В его телефонной книжке записан был адрес — Кропоткинский переулок, где Белоярцев прежде жил вместе с матерью.

Был уже ноябрь, черствая предзимняя пора, такси он не нашел, сел в метро, купил затем по дороге бутылку шампанского, а Кропоткинская была несколько обморочно освещена белым светом новых фонарей.

— Ну, здравствуйте,— сказал он, целуя руку той, которую знал некогда еще совсем юной, а теперь, зябко кутаясь в белый оренбургский платок, как-то грустно уставшая женщина словно из дальнего далека смотрела на него.

— Как же я рад вас видеть, Валечка! Я только месяц назад вернулся из экспедиции, в этом году мы почти до поздней осени работали. А сегодня полистал свою телефонную книжку, набрел на номер вашего телефона,— и он снова едва не сказал: «На номер телефона Белоярцева».

— Проходите, Андрей.

И то, что она назвала его только по имени, давало и ему право называть ее по-прежнему.

Они прошли в комнату с зажженной лампой возле дивана, а на столе лежала заложенная вязаньем со спицами книга. И эта книга, которую Валя читала, видимо, когда он позвонил по телефону, читала и в то же время вязала, как-то особенно подчеркнула ее одиночество.

— Так давно мы не виделись с вами, — сказала она.— И так быстро проходит все мимо, словно за окошком вагона.

— Что вы поделываете, Валечка?

— В свое время я окончила полиграфический институт... сейчас работаю редактором в одном издательстве. А с Костей мы разошлись... вернее, он оставил меня, — добавила она безжалостно к самой себе.

— Но почему же... что случилось?

— Нашел другую, наверно, более ему нужную. Вы ведь были на нашей свадьбе?

— Был.

— А если провожали меня в путь, зачем же скрывать от вас, что последовало на этом пути дальше? Почти четыре года я была счастлива, потом все стало както распадаться.., я гордая, Андрей, не умею удержи-

вать. И лучше быть одной, но уважать себя, страшнее всего потерять к себе самой уважение. Мне уже за тридцать лет, с молодостью придется вскоре и совсем проститься.

— Ну что вы, Валечка! В жизни многое уходит, конечно, но и приходит многое. Нужно только почаще перелистывать свою телефонную книжку. Впрочем, многие из тех, кого я знал, перебрались в новые районы, живут пока без телефонов. Я опасался, что и вы, может быть, переехали куда-нибудь.

— Вы хотели ведь поговорить с Костей? Он действительно переехал, живет в Тропареве, не знаю даже, где это Тропарево. Расскажите, однако, и о себе.

— Я многое в своей жизни пропустил... мог удержать в руках, но не удержал. Постоянство требует оседлости, а я уже который год на колесах... и все же самое лучшее для меня связано с молодостью... ах, с какой грустью расстался я тогда с вами! Помню пароход «Николай Огарев» и Строгино, где мы распивали шампанское. Давайте в память об этом и сегодня выпьем по глотку, может быть, в память лучшего, что было в моей жизни...

Он открыл бутылку, пробка с неуместной лихостью ударила в потолок, и пузырьки поднимались со дна бокала, как некогда.

— Эх, Костя, Костя! — сказал он как бы самому себе.— Что только ты выпустил из рук! А знаете, Валечка, о чем я нередко подумывал: прояви я в свое время настойчивость, может быть, все в моей жизни сложилось бы иначе.

— Теперь что же об этом говорить! Вы уже другой, и я — другая.

— А разве другой не может найти другую? — спросил он вдруг.

И они посидели минуту молча, а пузырьки в бокалах поднимались и поднимались.

— Вы теперь когда же снова в экспедицию? — спросила она.

— Начнем работы с мая, наверно... так что целая зима впереди. Но что это была бы за добрая зима, если бы мог время от времени встречаться с вами.

— Ах вы, археолог, археолог,— вздохнула она,— оживляете в воображении найденное при раскопках.

Дверца деревянного домика, висевшего на стене, вдруг открылась, мелодическим голоском закуковала кукушка, и Андрей Андреевич вспомнил, как накануне свадьбы Белоярцева набрел в комиссионном магазине на эти шварцвальдские часы, купил в качестве свадебного подарка, однако не посулила кукушка долгих лет, но, может быть, сохранила свой голосок для будущего...

— Все-таки одно из величайших чудес — это память... набрел в вечерних воспоминаниях на номер вашего телефона, позвонил наугад — и вот мы снова пьем с вами шампанское, хотя вы — не прежняя и я тоже — не прежний... будем, однако, считать, что мы оба — новые, и какие еще чудеса может подкинуть жизнь!

Она на миг подняла глаза, Андрей Андреевич ничего не успел прочесть в них, но ему показалось все же, что прочел что-то...

— А что, если бы я предложил вам пойти как-нибудь в театр? Я давно не был в театре.

— Я тоже давно не была.

— Постараюсь достать билеты на какой-нибудь хороший спектакль. А теперь я, пожалуй, пойду,— сказал он, поглядев на ее ставшее как-то сразу утомленным лицо.

— Не обижайтесь... я, правда, немножко устала и вина не пила столько лет.

Пузырьки еще бежали в бокалах с недопитым шампанским, когда он простился. Шел снег, на улице Кропоткина мело, несло зиму... но, может быть, в ней будут не только вечерние воспоминания, а можно поднять трубку телефона, тихий, словно в полусне, голос откликнется: «Да?» — и все, казалось, навсегда стертое временем возникнет по-новому...

РАДУГА

Бабка стала совсем плоха, выпила в знойный день ледяного молока, и врач районной больницы, Корней Петрович, за которым Савелова съездила, сказал:

— Воспаление легких... а возраст почтенный, так

что ничего пообещать не могу. Есть у нее, кроме вас, кто-нибудь из близких?

— А как же,— ответила Савелова, служившая сторожем в правлении колхоза и дружившая с бабкой, этой Дарьей Кондратьевной, которую знала уже более тридцати лет.— У нее сын и дочь, а внучек я и не считаю.

— Напишите им,— сказал Корней Петрович,— пусть приедут. . . положение такое, что пусть приедут.

И Савелова попросила счетовода колхоза Лучеву послать две телеграммы, одну — в Свердобск, где дочь Маня жила одиноко, безмужняя, а другую — в подмосковный город Хотьково, в котором сын Геннадий работал монтером на электростанции, и два дня спустя приехала дочь Маня, а сын не приехал, прислал жену, разбитную, щекастую Клавдию, работавшую продавщицей в овощном магазине и такую литую, что даже локти были круглыми.

Дарья Кондратьевна после смерти мужа, хорошего каменщика, сложившего в их колхозе не одно кирпичное здание, жила в своем домике, однако не кирпичном, а деревянном, но ладном, с садиком и яблоньками в нем, а возле дома цвел из года в год просвирник лиловый и розовый.

Дарья Кондратьевна прежде работала птичницей в их птицеводческом колхозе, уже давно была на пенсии, но время от времени помогала ей немного дочь, ставшая хорошей портнихой в ателье женского платья, а сын присылал только к тому или другому празднику, и то не всегда. . . что ж, забот много, двое детей, и Дарья Кондратьевна говорила Савеловой:

— Геня еще с детских годов самостоятельный был, да и со способностями, а с электричеством не дай бог иметь дело, убьет.

Но Савелова думала несколько иначе, она думала, что электричество — это одно, а сын — другое и не электричество должно помогать матери, а сын. И сейчас, когда вместо сына приехала его литая жена, вся кругом твердая и круглая, Савелова сказала:

— Заработался, наверно, твой сын.— И Дарья Кондратьевна отозвалась:

— Да ведь дело у него такое. . .

Отозвалась, однако, почти беззвучно, лежала сла-

бая, с таким белым лицом, что страшно было взглянуть на нее.

Дочь Маня сразу же кинулась к ней:

— Ну как ты, мама?

— А ничего,— ответила Дарья Кондратьевна,— теперь ничего... доктор, спасибо, хорошее лекарство дал. А намедни я сама испугалась... руки поднять не могла, думала — не дай бог, паралич, так лежать и останешься, лучше смерть.

— Всегда о тебе думаю,— сказала дочь,— я хорошее платье для тебя скроила, померяю, потом сошью, только поправляйся, пожалуйста.

Но легко пожелать — поправляйся, а попробуй в ее старые годы поправиться, однако Дарья Кондратьевна надеялась все же, и с рукой лучше стало, а врач Корней Петрович пообещал еще раз приехать, так что не совсем она, мать, в одиночестве, плохих людей по пальцам считать, а хороших не оберешься.

Она всегда думала так, Дарья Кондратьевна, что хороших людей поболее, чем плохих, да и у плохого найдешь хорошее, нужно только суметь поискать это хорошее в нем. Не каждому судьба счастье на блюдечке подносит, другого и вовсе обойдет, и это тоже нужно учесть, когда ищешь дорогу к человеку.

Но все же слабая была она сейчас, а что совсем белая — этого не могла увидеть, и только по тому, как дочь испуганно посмотрела на нее, поняла, что, должно быть, совсем плохой кажется со своим воспалением...

— Ты что на меня так смотришь, Манечка? — спросила она.

— Или поглядеть на родную мать нельзя? Давно не видела тебя, потому и смотрю.

— Ты насчет меня доктора Корнея Петровича спроси,— сказала мать не сразу.— Он мне ничего не говорит, а тебе скажет.

И хотя она бодрилась — и дышать полегче стало, и рукой может смахнуть муху с лица, а прежде сдуть могла только краешком рта — все-таки не зря приехали в одно время дочь и невестка.

— Геня наказал кланяться вам,— сказала Клавдия, вся словно только что из печки, румяная,— а приехать не смог, у них авария на электростанции. Вы как себя чувствуете?

— Годов мне много, Клавочка,— сказала Дарья Кондратьевна скорбно,— с моими годами как себя чувствовать? Прошел сегодняшний день — и слава богу.

И невестка хотя и сочувствовала, однако как-то мельком поглядывала на ее, Дарьи Кондратьевны, хозяйство, на швейную машину и на радиолу, которую еще муж купил, но не слушает ее никто теперь, поглядывала на самовар и на буфет с посудой.

— Вы уж не огорчайте нас, поправляйтесь поскорее... а Геня прямо в отчаянии был, что не смог приехать, велел сейчас же телеграммой насчет вашего самочувствия сообщить. В вашем колхозе есть телеграф?

— В соседнем есть, а что сообщать — жива пока мать, дышит.

Но Клавдия по временам как-то пытливо поглядывала на нее, словно старалась проникнуть — как с ней, все же пришлось сразу сняться, а муж сказал:

— Съезди, пожалуйста... в случае чего телеграмму пошлешь, а у нас авария.

И она поехала, думала, что совсем плоха мать, наверно, если срочно вызывают, но Дарья Кондратьевна хоть и лежала совсем слабая, ссохшаяся и маленькая, в голубых ее глазах было, что немного отошло навалившееся и они хотели надеяться...

— Как он, Генечка? — спросила она.— Устает, наверно, со своей работой?

— Устает, конечно.

— Электричество — не дай бог... я всегда в страхе за него. Убьет вмиг при неаккуратности.

— Я сама за него побаиваюсь,— отозвалась Клавдия, и такой близкой стала она этой своей мыслью о муже, об ее, Дарьи Кондратьевны, сыне...

— Я благодарна тебе за твою заботу о нем, — сказала мать только. — Ты береги его. А внучки мои как?

— Растут... Глаша в будущем году в школу пойдет, а Ира уже во второй класс перешла.

— Видишь, как...— и мать смотрела чуть в сторону, в окно, за которым качал своими цветными головками просвирник, из года в год шел он, лиловый и розовый, и не вспомнишь, сколько лет назад посадил его муж возле их дома...

Савелова приготовила все для приезда родственников, полагала, что приедет и сын, но приехали только

две женщины, и она скромно предоставила им хозяйствовать.

— Ты, мама, поспи,— сказала Маня,— переволновалась все-таки с нашим приездом, а волноваться тебе нельзя.

— Посплю,— согласилась Дарья Кондратьевна, она и вправду чувствовала себя ослабевшей от встречи и от тех мыслей, которые принесла с собой эта встреча.— Я немножко, полчасика.

Она закрыла глаза, сразу стала столь притихшей, что дочь несколько раз беспокойно поглядывала в ее сторону: колышется ли одеяло на ее груди?

— Нам с вами, Манечка, обсудить кое-что следует,— сказала Клавдия, когда они отсели в сторону, а мать, видимо, глубоко заснула.— Сами видите, как получается,— годы не переборешь... да и молодой человек нелегко переносит воспаление легких.

И Клавдия смотрела на Маню, сидевшую, опустив глаза, тихую и молчаливую обычно, а сейчас и совсем тихую и молчаливую. Маня ничего не ответила, ждала, что та еще скажет, но Клавдия только перебирала бахрому накинутого на плечи платка, ждала в свою очередь, что скажет Маня, и неловко было все-таки подойти к делу, подойти к тому, ради чего она, все сразу бросив, приехала.

— Я имею в виду,— сказала она, решившись все же,— как в случае чего поступить нам с вами?

— Что значит — в случае чего? — как-то совсем по-детски спросила Маня, и стало даже досадно, что такая непонятливая она или хочет казаться непонятливой.

— Сами видите, плоха Дарья Кондратьевна,— сказала Клавдия уже напрямик.— Насчет вас не скажу, а Гене неизвестно, распорядилась ли она насчет наследования.

Но Маня молчала, по ее длинному тихому лицу пошли пятна, и Клавдия лишь искоса поглядывала на нее и уже несколько упрекала себя за поспешность.

— Не знаю, как и понять тебя, Клава,— сказала Маня, — не знаю, как и понять. Неужели по совести тебе при живом человеке ставить такой вопрос

— А при мертвом уже поздно будет,— отозвалась Клавдия совсем дерзко.— Странное дело, у нас с Геней

двое детей, а у тебя нет... ты такую заботу и не понимаешь поэтому.

— Стыдно мне за тебя, Клава, — сказала Маня, — так стыдно,— и по ее лицу побежали слезы, но Клавдия сделала вид, что не заметила их.

— Слова словами, а дело делом,— сказала она бойко, как привыкла, наверно, отвечать покупателям. — Я все сразу бросила, у нас в магазине и торговать некому, сразу приняла к сердцу, а что ж, так и должна ни о чем не думать? Давай лучше по-хорошему все обсудим и договоримся.

— Ты уезжай, Клава,— сказала Маня тихо,— уезжай, пожалуйста. С матерью полегче, слава богу, сидеть возле нее ты не собираешься, так что уезжай, а Геннадию я напишу — не нужен мне такой брат, и ничего с вами делить не стану. У меня распоряжение матери есть.

— А ну покажи! — сказала Клавдия уже совсем бессовестно, позабыв даже, что нужно говорить тихо, мать проснуться может,— покажи!

— А кто ты такая, что я должна тебе показывать? — спросила Маня скорбно. — Кто ты такая? Приехала при живом человеке его наследство делить. А мама, бог даст, поживет еще... бог даст, поживет еще!

Для резких слов сил уже не хватило и Маня плакала, а Клавдия зло смотрела в сторону, хотела было ответить что-то, но мать проснулась, позвала: «Манечка!» — и обе сразу подошли к ней, мать погладила дочь по щеке, хотела, видимо, погладить по щеке и Клавдию, но та качнула головой в сторону, и маленькая, как у девочки, рука матери провела по воздуху.

— Такая благодарность вам, милые вы мои,— сказала Дарья Кондратьевна,— такая благодарность, что приехали... а мне получше, слава богу, и не колет вовсе при вздохе, а намедни я и вздохнуть не могла. Вы уж похозяйствуйте, чаю выпейте, а Савелова булочки испекла, она хорошо печет, и мне дайте попробовать ее булочку.

Дочь поставила самовар, их старый, семейный, желтого цвета самовар, поднесла вскоре матери ее чашку с большими розанами, мать отпила несколько глотков откусила кусочек булочки, а Клавдия пила чай в стороне, и мать сказала ей:

— Подсядь к нам, Клавочка... мне далеко говорить трудно.

Клавдия чуть подвинула свой стул, сидела отчужденно: все, для чего она ехала сюда, стало сразу ненужным, и она сказала вдруг медовым голосом, таким медовым, что Маня только горестно взглянула на нее:

— Так приятно, что вам полегче, Дарья Кондратьевна, я Гене доложу, что с вами на поправку пошло. Не знаю, успею ли с вечерним поездом вернуться, я только на день отпросилась, в нашем овощном магазине и торговать некому, а сейчас самый сезон — и морковь, и картофель, и зелень всякая, у нас с двумя колхозами договор, так что прямо с грядок везут.

— Ты толковая, Клавочка,— одобрила Дарья Кондратьевна.— Жалко, что так наспех ты, я думала, денек-другой побудешь у меня.

— Не смогу, Дарья Кондратьевна, не смогу,— и, наверно, ей хотелось с усмешкой добавить: «И делать-то у вас мне нечего»,— но сказала это лишь себе самой.

— Такая мне радость, милые мои, что приехали! — и голубые, уже немножко ожившие глаза смотрели на них.— Ты передай, Клава, Гене и деточкам своим передай, что жива еще бабушка, может, и дальше поживет немного.

— Передам,— ответила Клава, но так деревянно, так пусто ответила, что сама почувствовала, добавила живее: — Непременно передам.

Уехать вечерним поездом она не успела, уехала утренним, взяла с собой баночку меда, которую дала Дарья Кондратьевна, взяла и булочек, испеченных Савеловой: Дарья Кондратьевна настояла, чтобы попробовали дети деревенских булочек; до железнодорожной станции было два километра, и Маня собралась было проводить ее. Но Клавдия сказала не то сердечно, не то насмешливо:

— Дальние проводы — лишние слезы, я быстро лесной тропочкой пойду.

А Дарья Кондратьевна огорченно спросила дочь:

— Ты что же не проводила Клавочку?

— Сама дойдет,— ответила Маня.

Она сидела рядом, смотрела на маленькое, сморщенное материнское лицо, смотрела со скорбью, потом сказала, как всегда ничего не умея скрыть от матери:

— Не смог Геня приехать, жену послал, а с чем она приехала? На самовар позариться или на чайный сервиз, а то и на весь твой дом позариться.

— Не говори так, Манечка,— сказала мать.— Она должна ведь насчет своих детей беспокоиться.

Но Маня думала по-другому, она думала совсем по-другому.

— И опять же дело у Клавы такое — поди угоди всем, кто за день приходит, а покупатели разные бывают, и у каждого свое настроение, это тоже нужно понять. . .

Мать говорила так тихо, что приходилось наклоняться к ней, говорила тихо и добро, всегда любила людей и верила в людей, а теперь, когда отошло то, что было навалилось на нее, просветленно смотрела на возвращенный ей мир со всеми его радостями, и такое утешение было, что приехали самые близкие взглянуть на нее: может быть, собирались проводить, но вместо проводов получилась встреча, и такая хорошая, такая нужная встреча. . .

— Я всю жизнь была богатая, Манечка,— сказала она, — я к людям всегда со всей душой, и они мне отвечали.

Наверно, и щекастая, литая Клава казалась ей из этого доброго мира, где каждый понимает, что если тебе нелегко сегодня, то завтра и мне может быть нелегко. . .

— Ты сколько пробудешь у меня? — спросила Дарья Кондратьевна.

— Я на две недели взяла отпуск. За две недели ты окрепнешь, я сегодня по телефону с врачом говорила, наказал насчет питания для тебя — молоко, яйца, творожок, я всем этим тебя обеспечу. Поднимешься, кройку свою померяю на тебе, а платье из Свердобска посылкой пошлю.

И она показала матери свою кройку, материя была красивая, в больших цветах, и Дарья Кондратьевна сказала:

— Больно нарядная для меня.

— Ничего, мама, еще пощеголяешь.

Маня прожила у матери две недели, а накануне ее отъезда пробушевала гроза, сплошной ливень стеклянно закрыл мир, потом грозу пронесло, омытый, полный свежести мир заблистал, полился светом, и Маня вывела

мать посидеть на пороге дома и подышать нужным ей воздухом.

— Я вечерним поездом поеду, мама... я теперь спокойна за тебя, врач сказал — опасность миновала. А сейчас к Савеловой зайду, она сегодня дежурит в правлении, спасибо за ее уход скажу.

И Маня пошла поблагодарить Савелову и кстати наказать, чтобы в случае чего сейчас же дала бы телеграмму в Свердобск, и она, дочь, сразу приедет.

Дарья Кондратьевна сидела на пороге своего дома, после грозы над всем Мишином простиралась радуга, она была нарядная и праздничная, в красных и зеленых, словно свадебных лентах, и такая тишина, и свет... А когда Маня вернулась, мать была розовой, такой розовой, что дочь с беспокойством вгляделась — уж не жар ли у нее снова,— но это был отсвет вечерней зари, а на утренней, наверно, и совсем зарозовеет...

МЕЖА

Мастаков выровнял скосившиеся каблуки мужских туфель, прибил гвоздиками резиновые набойки, сунул в щель отошедшей подметки кисточку с казеиновым клеем, и приемщица стала собирать починенную обувь.

— Ваш уже здесь,— сказала она.

Но Мастаков и сам видел, что тот, которого стали считать принадлежащим ему, уже здесь...

Два года назад снесли на Коптевской улице деревянный дом, вернее — насквозь прогнившую, трухлявую хибару, чудом в свое время не разобранную на дрова; но теперь все было проще: прибыл раз поутру бульдозер, двинул раз-другой бычьим лбом, и дом, который не хотел так легко уходить из московской жизни, пошел...

Мастакову вместе с его соседкой, Полиной Петровной Клюшниковой, дали двухкомнатную квартиру в новом доме, и они по-прежнему остались соседями. Полина Петровна работала на овощной базе, была тихая, маленькая, как подросток, и покорно несшая свою неве-

селую судьбу... а мужа, отца ее сына, будто и не было никогда.

Но и у него, Мастакова, тоже все покосилось в жизни, когда в сорок третьем году отец погиб на войне и матери пришлось в одинокости растить сына, а потом не стало и матери, и Мастаков сказал раз Полине Петровне:

— У вас все-таки побогаче получилось в вашей жизни, у вас сын растет. А по мне, случись что-нибудь со мной, и всплакнуть будет некому.

После переезда он стал работать в новой, хорошей мастерской с большой вывеской «Ремонт обуви», теперь уже опытный сапожник Ипатий Егорович, и многие приносившие чинить обувь знали его умение.

Мастаков прибил еще к женской туфле оторвавшийся каблук, было без четверти восемь, и тот, кто дожидался его, уже несколько раз выглядывал из-за прилавка, напоминая, что пора кончать работу.

Полина Петровна Клюшникова в один роковой для себя день простудилась на осеннем ветру, когда сгружали на базе капусту, и со своими слабыми легкими испугалась того, что может ее ждать. А это пугавшее ждало все же, пришлось лечь в больницу, и когда санитарная машина увозила ее, Полина Петровна горько спросила сама у себя:

— А Ленечка с кем останется? Только первый год в школу пошел, с кем он останется?

— Как — с кем? Со мной останется, — отозвался Мастаков. — Кажется, вместе, на одной квартире, живем.

И он обнадежил ее, что присмотрит за мальчиком, пусть спокойно поправляется. Но Полина Петровна не поправилась: поползло сначала по одному легкому, потом по другому, и однажды в мастерскую, где работал Мастаков, какая-то девочка принесла записку:

«Ипатий Егорович, молю вас — посетите меня поскорее... если бы не крайность, не стала бы беспокоить вас».

И на другой день он отпросился на часок, поехал в больницу, где лежала Полина Петровна, едва узнал ее острое, синеватое личико с прядкой жидких волос на щеке, принес два больших яблока, сказал укоризненно:

— Я сроку болеть недельку вам дал, а вы уже перебрали.

Но Полина Петровна смотрела на него откуда-то совсем издалека, словно узнавая и не узнавая.

— Я к вам знаете с чем? — спросила она, тяжело глотая воздух широко раскрытым ртом, как рыба, вытащенная сетью.— Я к вам с мольбой, Ипатий Егорович... одна надежда на вас, видите какая я, а с Ленечкой как же будет? У меня никого кругом, только двоюродная сестра в Туле, но у нее свои дети, не могу я на ее милосердие положиться... неужели в детский дом Ленечку? — И она по-рыбьи глотала воздух и плакала, а Мастаков смотрел на свои неотмытые в спешке руки.— Ипатий Егорович, слезно молю вас — не оставляйте насовсем Ленечку... он — послушный, а что мне напоследках думать?

— Ну вот, сказали еще — напоследках,—отозвался он сурово.— Совсем ни к чему говорить так. А касательно Лени — он рядом, мы с ним соседи... и не думайте об этом вовсе, Полина Петровна.

Он сказал так больше в утешение, а когда случилось то, чего Полина Петровна ждала, а он не ждал все-таки,— встало перед ним это его обещание, встало уже со всем своим требованием.

— Теперь, Леня, мы с тобой два мужика рядом, но ты пока за мое плечо держись. Вырастешь — другое дело, а пока за мое плечо держись.

И тот смотрел на него, плечо которого единственно осталось во всем мире, а матери не было, и в такую даль увезли ее тогда на грузовике с красной и черной полосами, в такую даль, о которой страшно вспомнить. Над холодным октябрьским полем пошел сначала белый, потом темный дым из трубы, ветер трепал ленты на чужих венках, было два венка и у матери, один овощной базы, а другой, совсем маленький, из искусственных цветов, от Ипатия Егоровича и от него, сына.

И вот перешел он, Леня, уже во второй класс, живут они с Мастаковым вместе, однако не только как соседи, и однажды он сообщил Мастакову:

— Завтра родительское собрание, Варвара Семеновна велела обязательно прийти родителям.— А помолчав, спросил: — Вы теперь мой отец, Ипатий Егорович?

И Мастаков, подумав, ответил:

— Должно быть, так.

Он надел хороший костюм, пошел на родительское собрание, на котором больше были матери, и седая, в очках учительница, Варвара Семеновна, сказала:

— Успеваемость школьников зависит в большой степени от того, что получают они дома... например, обязательная проверка тетрадей и отметок в них. Домашняя воспитательная работа необходима.

И родители, в том числе и он, Мастаков, согласились с тем, что домашняя воспитательная работа необходима, однако он не знал, как вести ее, и, вернувшись с родительского собрания, сказал:

— Твой успех, Леня, от тебя самого зависит. Будешь стараться — выйдешь в люди, а не будешь стараться — обсевком останешься.

— Как — обсевком?

— А вот так, обошел тебя сеятель, кругом рожь растет, а у тебя будяки только.

Мастаков не объяснил, что такое будяки, но само слово было какое-то темное, коричневое, и Леня сказал:

— Я стараюсь.

Все же, видимо, не хватало его старания, потому что две недели спустя Варвара Семеновна наказала, чтобы зашел кто-нибудь из домашних, и Мастаков в обеденный перерыв зашел к ней.

— Мне с вами насчет вашего мальчика нужно поговорить,— сказала Варвара Семеновна.— Он по математике отстает. Необходимо, чтобы дома помогали ему.

Мастаков помолчал, потом ответил:

— Обсудим,— хотя не с кем было обсудить.

Приемщица в мастерской, Нина Гавриловна, умела быстро подсчитать стоимость починки, и Мастаков обратился к ней:

— Если б хоть разок в неделю построгали моего по математике... у вас двое тоже его размера, может, вместе позанимаются?

Нина Гавриловна подумала, ее сын Виталий был также не в ладу с математикой, сказала:

— Ладно, займусь... второй класс — это по моим знаниям, а дальше не знаю, какие у меня с математикой отношения сложатся.

И Леня стал два раза в неделю ходить готовить уроки вместе с сыном Нины Гавриловны Виталием и до-

черью Неонилой, оба его размера, хотя Неонила, от пышного имени которой осталось только Нилька, перешла уже в третий класс.

— Была у меня жена, да вышла, не по ней я оказался, нашла парикмахера, у него работа почище,— сказал Мастаков раз.— А у тебя мать была, хорошая женщина, да только вышла,— значит, мы с тобой одной судьбы, и ты меня также поддерживать должен.

И хотя и не представишь себе, как поддержать грузного, с густыми черными волосами и красной шеей в открытом вороте Ипатия Егоровича, Леня пообещал все же:

— Я буду поддерживать, Ипатий Егорович.

— Это я и ждал услышать от тебя,— сказал Мастаков довольно.— Только ты меня не Ипатием Егоровичем зови, а дядей Липатом, что ли, а там и поточнее подберем что-нибудь.

И он вспомнил маленькое, острое личико Полины Петровны, плоско лежавшей на больничной койке, вспомнил ее скорбь и мольбу не оставлять в одинокости сына, не отдавать его в детский дом, вспомнил все с самого начала, смотрел на Леню с его остриженной головой и синевато просвечивающей кожей сквозь короткую стрижку, смотрел на его уши, сказал:

— При моем деле, конечно, сразу не отмоешься, а ты — ученик, должен как стеклышко быть. Сегодня вечером ванну сделаю, надраю тебя до блеска, не хуже кастрюльки блестеть будешь.

Называть Ипатия Егоровича дядей Липатом было все же не так-то просто, и еще некоторое время Леня называл его полным именем, а однажды соскочило с полного имени, назвал дядей Липатом, осекся было, но потом пошло́, и уплыл куда-то Ипатий Егорович, остался только дядя Липат, который по субботам драил его теперь, и он блестел, как никелированная кастрюлька.

Нина Гавриловна сказала:

— Советую вам вызвать друг друга на соревнование по математике. У кого лучше пойдет, тому премия будет, поведем в Зоологический сад, мы с Ипатием Егоровичем уже договорились насчет этого.

Однако с соревнованием шло туго, но однажды в тетрадке Лени все же появилась пятерка за классную работу, и Мастаков сказал:

— Посулы нужно выполнять, но чтобы без обиды другому: пойдем всем взводом. Интересно, когда мы с вами, Нина Гавриловна, в последний раз в Зоологическом саду побывали?

— Забыла, миленький, — ответила она. — Забыла.

Но забыл и он насчет себя, и в воскресенье всем взводом пошли в Зоологический сад, побывали и в слонятнике, и у обезьян, потом дети пошли смотреть птиц, а Мастаков с Ниной Гавриловной сели на скамейку.

— Стучим молоточком да подметки клеим, — сказал он.— А жизнь идет тем временем.

Нина Гавриловна искоса посмотрела на него, они сидели, никуда не торопясь, в полную тишину и отдых, и редко выпадал схожий денек, так редко.

— Я давно хочу вас насчет одного дела спросить,— сказала Нина Гавриловна.— Я сознаю, конечно, Ипатий Егорович, что нельзя было вам по первому времени поступить иначе. А в дальнейшем—как?

Мастаков тоже искоса посмотрел на нее:

— В каком смысле — как?

— Насчет мальчика, конечно. Ведь привяжется к вам, в дальнейшем труднее будет.

— Да он уже привязался,— сказал Мастаков.— А в каком смысле — труднее?

Нина Гавриловна помолчала, чертила концом цветного зонтика по песку.

— В том смысле, что парень растет... не век же он будет при вас расти.

Она хотела, однако, спросить о другом, но не решалась.

— Растет — и растет,— отозвался Мастаков неопределенно, и она больше ничего не спросила, сказала только:

— Пускай и дальше вместе с моими занимается, видите — пятерку выудил. Теперь Нилька над обоими шефство берет, а по алгебре я со своими знаниями не дошла до уровня.

У Нины Гавриловны тоже не так-то гладко сложилось в жизни, с мужем шло нехорошо, он попивал, уже дважды они расходились, теперь по своей специальности электрика муж работал в Новомосковске, приезжал лишь изредка, и, видимо, все шло к тому, что так и впредь останется.

— Я понимаю, о чем вы хотели спросить,— сказал Мастаков.— Но куда же ему теперь деться? Вы только представьте себе — не дай бог с вашим сыном получилось бы, что один на всем белом свете остался, лучше и не представлять себе, а мне это в руках пришлось подержать. На овощных базах знаете как? — И он поглядел куда-то вдаль, поглядел в сторону той овощной базы, где насмерть простудилась Полина Петровна. — Капусту в позднюю осень привозят... кругом сквозняки, и в телогрейке не согреешься. Это у нас с вами райская жизнь.

— Ну уж и райская, — отозвалась Нина Гавриловна.

Но она все же представила себе, наверно, овощную базу где-нибудь возле железнодорожных путей, по которым гуляет ветер с севера.

— А в парикмахерской и вовсе райская жизнь... тепло, одеколоном пахнет,— и Мастаков поглядел еще в ту даль, куда в свое время ушла жена.

Вот сидят они двое в сухом холодке уже тлеющего октябрьского дня, сидят, будто присели на минутку по дороге той жизни, которой нужно человеку жить, делать немножко добра на своем пути, отдавать немножко сердца другим на своем пути, вырастить детей, и не просто вырастить, а чтобы в ответе за их будущее.

Но они ничего не сказали об этом друг другу, думали каждый о своем, однако было и общим то, о чем они думали.

Дети посмотрели птиц, вернулись довольные, и Мастаков сказал:

— Потопали к дому.

Они спустились напротив Зоологического сада в метро, Нина Гавриловна с детьми скоро вышла, а Мастаков со своим проехали еще две станции.

— Премия — это ладно,— сказал он, когда вернулись домой,— для тебя Зоологический сад сегодня вроде премии был. Однако не ради премии нужно стараться, для своей совести нужно стараться, она тебя всеми премиями на свете наградит. И еще одну зарубку для себя сделай: у каждого своя межа должна быть... не свернешь со своей межи, с дороги никогда не собьешься. В будущее воскресенье мы с тобой на Пятницкое кладбище съездим, могилку твоей матери в порядок приведем.

Он не мог сказать о том, что мать наказала ему напоследки, о чем молила его и что пообещал он ей, не предполагая, что и для себя постарался. А теперь и не представишь себе, как мог бы он жить без того, чтобы не торчала за прилавком мастерской стриженая голова с синевато просвечивающей кожей, без того, чтобы маленькая, испачканная чернилами рука не лежала в его испачканной от сапожной работы руке.

И они поехали в следующее воскресенье на Пятницкое кладбище, уже предзимний воздух стоял над ним с его вечным сном и печалью, и мать была здесь, а мраморную дощечку с ее именем Мастаков заказал еще тогда, когда Полину Петровну хоронили.

Они купили у ворот кладбища букет мелких астр, которые могут долго жить даже без воды, и Мастаков развязал букет, разложил астры по одной, а мальчик стоял рядом, вверял себя ему и надеялся на него, а может быть, уже и любил...

— Сегодня у нас с тобой пельмени,— сказал Мастаков, когда сели дома обедать.— Прежде я стаканчик пропускал при этом, а теперь по моему положению мне даже взглянуть на стаканчик нельзя.

Он не объяснил, однако, какое у него положение, сварил пельмени, полил сметаной, а на десерт были два больших, желтых, винно пахнущих осенью яблока. И они ели яблоки, а мальчик был далеко, думал о чем-то, потом спросил, вспомнив, наверно, о мраморной дощечке:

— Дядя Липат, фамилия мамы была Клюшникова. А какая у меня теперь фамилия?

— Фамилию будем носить с тобой одну,— сказал Мастаков.— Я насчет этого разузнаю, у меня один заказчик юрист, я у него разузнаю. Но, пожалуй, вернее будет в юридическую консультацию заглянуть.

А вечером включили телевизор, посмотрели «Клуб кинопутешествий», показывали стада моржей на Севере, и Мастаков вспомнил Зоологический сад, и то, как сидел рядом с Ниной Гавриловной на скамейке, и то, что хотела она, но не решалась спросить его.

— А как же иначе, Нина Гавриловна, как же иначе? — ответил он ей, хотя и с опозданием.— Теперь уже — все, теперь — все.

Он произнес это вслух, мальчик из-за музыки в телевизоре не услышал, но Нина Гавриловна услышала... она, впрочем, знала, что он, Мастаков, не может ответить иначе, но была все-таки довольна, что, хотя и с опозданием, хотя и в ее отсутствие, он ответил так...

ГНЕЗДО

С глазами стало плохо, да и ноги уже помалу отказывали, и директор типографии сказал:

— Ты свое дело, Василий Ильич, честно выполнил, поработал на совесть, имеешь право на заслуженный отдых.

А какой может быть отдых, когда один на всем белом свете и никакой помощи ни от кого?

В свое время Корнеев отдал сыну свой маленький домик в подмосковной местности Фирсановке, сказал тогда:

— Живи, Миша, пользуйся, а придет моя старость, авось найдется для меня закуток,— и сын Михаил ответил с упреком:

— Эх, папа, папа!

Михаил был сейчас в Сибири, завербовался на два года по своей специальности строителя-монтажника, в доме осталась только его жена Антонина, работавшая кастеляншей в соседнем санатории, и Корнеев написал ей в письме:

«Проводили меня на днях на заслуженный отдых, дорогая Тоня, собираюсь приехать к вам пожить пока, а дальше видно будет».

А на покой его, старого печатника, проводили с почетом, подарили настольные часы в виде большого ключа с выгравированной дарственной надписью, подарили и транзистор «Спидола», и Василий Ильич, грустный и растроганный, решил некоторое время пожить у жены сына в Фирсановке, а ключ от своей московской комнаты отдал на хранение в домовую контору.

Сын женился несколько лет назад на женщине старше его, сейчас дочь Антонины от первого брака Лида, год назад окончившая школу, жила в Москве, в инсти-

тутском общежитии, побывала раз у него, Василия Ильича, но так отчужденно... дала понять, что родство их — седьмая вода на киселе, чужд был ей, наверно, и отчим, и Василий Ильич страшился за сына.

На его письмо Антонина не ответила, и он с некоторым стеснением поехал в Фирсановку, ничего почти не захватив с собой, только подаренный ему транзистор, не захотел с ним расстаться.

Дом, в котором он прожил с женой почти сорок лет, прежде стоял в стороне, на обочине поля, теперь поселок застроился, и Василий Ильич, идя со станции, вспоминал, как возвращался когда-то после работы, жена ждала его, на терраске был уже накрыт стол для вечернего чая, солнце еще лежало краем над горизонтом, тихое, медлившее с покоем, а в садике уже предвечерне пахло белыми и лиловыми цветами табака.

После чая они с сыном обычно катались на велосипедах, и сын проворно нажимал на педали своими крепкими ногами. Но это было давно, а несколько лет назад сын сказал:

— Я женюсь, папа,— объяснил затем, что Антонина на три года старше его, ее дочери уже десять лет, с мужем она разошлась, и Василий Ильич сказал тогда:

— Дело твое, Миша.

И правда, что посоветуешь или насчет чего предупредишь, когда неизвестно, в каком месте закопано человеческое счастье?

Но Василий Ильич скоро понял, что счастья сын не нашел, может быть, и завербовался в Сибирь на два года из-за того, что не сложилось в его жизни, но отцу ничего не сказал, наверно жалея его или из гордости.

Он шел сначала лугом, потом просекой соснового леса, а подходя к своему дому, замедлил шаг, вспомнил все, что было когда-то, и вот уже на заслуженном отдыхе он, Василий Ильич Корнеев, и как это произошло, куда устремились годы, выкинув его в своем потоке на отмель?

Он открыл калитку, прошел огородом, сад с яблонями, теперь уже старыми, был по другую сторону дома, а некогда он посадил их саженцами, и только несколько лет спустя густая бело-розовая стая лепестков налетела на ветки деревьев, и жена сказала тогда: «Вот и зацвели наши яблоньки!»

Василий Ильич поднялся по ступенькам террасы, но дверь в дом была заперта, он обошел дом, заперта была и задняя дверь, Антонина, видимо, еще не вернулась с работы, и он сел на скамейку возле большой старой яблони, а под каштаном, который посадил в свою пору, лежали колючие, похожие на маленьких ежей каштаны, Василий Ильич поднял один, погладил его колючки, и каштан не уколол его руку, словно признал хозяина.

Он сидел на скамейке, один, в своем саду, и все лучшее, что было в его жизни, проходило в мыслях, но так быстро проходило, будто шел поезд и лишь из окна вагона поглядишь на проносящиеся станции...

Был уже сентябрь, но только на двух яблонях висели редкие, еще не созревшие плоды, деревья без ухода выродились и грустно встретили его старость слабые ноги и плохо видящие глаза...

«И зачем ты завербовался на два года, Мишенька? — спросил он мысленно сына.— Мало ли работы в Москве, а без тебя я что же — единый перст».

Антонина пришла лишь через два часа, несла судки, видимо, с ужином, а Василия Ильича, одиноко и печально сидевшего, с годами ставшего совсем маленьким и похожим на литеру, как сам для себя определил, она увидела лишь, когда подошла к дому.

— Василий Ильич! — сказала Антонина деланным голосом.— Вот уж неожиданность! — хотя он писал о своем желании приехать.

— Здравствуйте, Тонечка,— сказал он, а называть ее на «ты» так и не привык. — Приехал подышать хорошим воздухом... мне много не надо, глоточек-другой.

Шуточка, однако, не получилась, и он скорее почувствовал, чем увидел, что невестка как-то выжидательно присматривается, словно размышляет: как будет дальше?

— Конечно, поживите,— сказала она так, будто он приехал не к себе, в свой дом, а лишь понадеялся на гостеприимство.— Сейчас, пока еще не холодно, можно в пристройке, там вам посвободнее будет.

В доме были три комнаты, сына сейчас нет, дочь Антонины в общежитии, и он даже не понял сначала: почему ему будет свободнее в пристройке?

— Зачем же в пристройку, я в комнате сына поживу.

Антонина промолчала, она была большая, с высокой прической, с туго поднятой грудью, красивая, однако какой-то неприятной красотой, но Василий Ильич только смутно видел ее и так же смутно видел, что было за ее плечами. А за плечами Антонины было то, что его приезд совсем некстати, некогда ей заниматься с ним да еще, пожалуй, готовить для него, и поговорить им не о чем, стариковские мысли совсем неинтересны ей, начнет еще печалиться насчет своей судьбы, а какая другая судьба может быть у человека в шестьдесят пять лет да к тому же бобыля?

Наверно, именно так думала Антонина, и Василий Ильич слышал, о чем она думает.

— Я насчет пристройки не настаиваю... просто подумала, что вам там поспокойнее будет. Сможете поспать подольше, а я рано ухожу.

Она явно хотела сказать еще что-то, но умолчала, и только когда накрыла стол на терраске, нарезала хлеб, поставила масленку с маслом, лишь тогда с неверным расположением сказала:

— Зимой у нас красиво... вот только с углем в этом году трудно. Я одну комнату топлю только,— но он услышал: «А теперь как же — и вторую топить?» — представил себе зиму, еще более одинокую, чем в его комнате на Большой Полянке.

— В Москве теплофикация,— сказал он зачем-то,— ни одного дома с котельной, наверно, не осталось. А сейчас и на газ переходят.

Но Антонине было совсем неинтересно это, и она сказала еще:

— Я в санатории обедаю... кое-что прихватываю с собой на вечер,— и Василий Ильич услышал: «А с вами как же теперь?»

— Я сам себе готовить привык, да и в магазине при станции можно прикупить. Что ж теперь делать, Тонечка... пришло время, когда женскую работу приходится выполнять, но у меня сноровка уже приобрелась.

Он сказал это, чтобы невестка не задала вопрос, как собирается он зимовать, но Антонина сделала вид, будто не услышала, чтобы он оценил,— и не думает она об этом совсем, а про своего мужа сказала позднее:

— Я, по правде, Михаила не понимаю... так была против, чтобы завербовался в Сибирь. Что же мне, два

года снова вроде вдовы сидеть, неужели вы, Василий Ильич, не могли в свое время оказать отцовского воздействия?

— У Миши свой ум,— ответил Василий Ильич коротко.

Он мог бы добавить, что и когда сын собирался жениться, он ничего не сказал ему, не стал отсоветовать,— мало ли где и как находит свое счастье человек, — но теперь уже был твердо уверен, что сын не нашел то, что искал и чего он, отец, от всего сердца желал ему.

После вечернего чая Василий Ильич включил транзистор, хотел все-таки немного смягчить для Антонины свой приезд, но она сказала:

— Я радио не люблю, в нашем санатории хороший телевизор, но я и не смотрю его.

— А что же вы делаете по вечерам, Тонечка? — спросил Василий Ильич, выключив транзистор.

— Неужели у меня дел не найдется? — ответила она с некоторым вызовом.— Другим женщинам, конечно, мужья во всем помогают, а я вроде из решета в решето... будто без Михаила Сибирь не обошлась бы! — Но он услышал: «А тут еще вы появились... только не хватало у меня за вами ухаживать, просто мечтала об этом!»

Может быть, и не совсем так думала Антонина, и он мысленно подсказывал ей, но сразу так пусто стало в его доме... однако что мог он найти в своем давно покинутом гнезде, одни воспоминания? Но с ними можно и на Большой Полянке жить, они никуда не уйдут. Антонина постелила ему постель на диване в комнате сына, сказала:

— Утром поспите подольше, а чайник я на плите оставлю, только разогреть. Спокойной ноченьки.

И Василий Ильич остался в той комнате, где рос его сын и где некогда стояли в углу его удочки, ходил на ближний пруд, приносил окуньков или плотвичек старательный, славный его мальчик, и такое тихое счастье было всегда в их доме...

Он лежал с открытыми глазами, видел все то, что было в его жизни когда-то, видел и то, что так мало и грустно осталось в ней теперь, а директор типографии сказал:

— Было бы не по-товарищески, Василий Ильич, не учитывать твоего состояния,— дал понять, что дошел старый печатник до призового столба, уступи теперь место другим, помоложе, и хоть, наверно, совсем не так думал директор типографии, Василий Ильич подсказал и ему свои мысли...

Он заснул только под утро, а когда проснулся, Антонины уже не было, чайник стоял на плите, и Василий Ильич одиноко сидел на терраске, пил чай, а на одной из яблонь так же одиноко сидела ворона, смотрела на него, потом снялась, — видимо, ей было невмоготу смотреть на него, задумавшего пожить в своем доме, где когда-то было его счастье.

Он допил чай, вымыл посуду, посидел на скамейке в саду, решил все же дать сразу понять Антонине, что не собирается обременять ее, пошел с хозяйственной сумкой на станцию, нащупывая палкой опавшую листву, купил в магазине коробку вермишели и килограмм манной крупы, а сварить себе кашку стало уже давно привычным делом.

И потянулся день заслуженного отдыха, однако без всякого отдыха, потому что прежде всего нужен отдых душе, а попробуй найди его.

Антонина, вернувшись, сказала, чтобы сразу расположить его:

— Я специально для вас сегодня пораньше управилась... заскучал, думаю, Василий Ильич в одиночестве.

— Привык, — ответил он коротко.

Антонина была как-то особенно предупредительна, накрыла нарядной скатертью стол в комнате, а на террасе было уже холодновато, принесла к чаю ватрушки и, казалось, хотела вернуть дому старое, позабытое тепло...

— Так хорошо вы надумали, что приехали, Василий Ильич, подышите по крайней мере хорошим воздухом, в нашей с вами Фирсановке всегда сосной пахнет.

Она наливала чай, хозяйничала, была в хорошем настроении, словно лишь теперь осознала, как рада его приезду.

— А свитерок у вас есть с собой? — спросила она озабоченно. — Я свитерок Миши достану, теперь и утра и вечера свежие.

Потом она сказала такое нужное для его отцовского сердца:

— Мишу на строительстве ценят, недавно премировали... золотые у него все-таки руки,— будто только вчера не упрекала его за то, что завербовался в Сибирь, не хватало для него работы в Москве.

Но он все еще не мог понять, почему Антонина так хороша с ним, совсем непохоже встретила его вчера.

А позднее, но как бы мельком, сказала о том, о чем, наверно, с самого начала хотела сказать, но удерживалась, расхваливая славные зимние деньки в Фирсановке:

— Я вот что хотела предложить, Василий Ильич, раз вы на всю зиму к нам, пропишите в вашей комнате Лидочку, с пропиской трудностей, наверно, не будет... все-таки Лидочка вам внучкой приходится.

Но Василию Ильичу стало совсем страшно от мысли, что уйдет и последнее, а в его старом гнезде ничего не осталось.

— Как же так, Тонечка... я ведь ненадолго к вам. У меня в мыслях еще поработать... может быть, в переплетном цехе, я выяснял насчет этого.

Антонина вдруг замолчала, стояла напружинившись, но он не видел этого, а только чувствовал.

— Странно все-таки, Василий Ильич,— сказала она потом.— Вчера вы на всю зиму приехали, а сегодня накоротке только... что же вы со мной так-то? Я как-никак жена вашего сына, имею право на уважение к себе.

— Чем же я неуважение к вам выразил, Тонечка? — спросил Василий Ильич. — Просто захотелось мне немного побыть в своем доме, времени у меня много теперь, но чем же я неуважение к вам выразил?

— Сколько я знаю, вы дом давно Михаилу передали,— сказала она, не добавив: «Какой же это ваш дом?» — но он услышал.

— Конечно, теперь это дом моего сына,— сказал он. — Но мы с Мишей договорились, что в старости закуток для меня всегда найдется.

— Кто же вам закуток предлагает? Я предложила вам в пристроечке пожить, пока еще не холодно,— и он услышал: «А вам непременно в дом нужно было!»

— Ничего-то мне не надо, Тонечка... проживу с недельку, а могу и несколько дней всего, если обременяю.

Антонина сидела по другую сторону стола, молчала, только ложечка позвякивала в ее стакане, но сахар, наверно, уже давно разошелся, и она только от раздражения звякала ложечкой.

— Мне за Лидочку обидно, а вашей черствости я не понимаю,— сказала она уже зло.

— Я ведь поработать еще хочу, Тонечка,— отозвался он кротко,— вдвоем нам тесно будет, у меня комната всего пятнадцать метров, да и неудобство для вашей дочери окажется. — Он хотел было добавить: «А вдруг заживусь?» — но промолчал.

Антонина ушла на кухню мыть посуду, а он сидел как бы виноватый в том, что приехал, виноватый и в том, что не захотел в пристройку, а больше всего виноватый в том, что стал старым, придумал для себя какое-то родное гнездо. . .

Он думал еще и о том, что, может быть, чужим стал его дом и для сына, прежнее тепло ушло из дома, а новое не вошло, и стоит выстуженный, хотя и топится печь в одной комнате.

Утром, когда Антонина ушла в санаторий, Василий Ильич не стал подогревать чайник на плите, только посидел на терраске рядом с женой — Нютой, а сын лишь недавно вернулся из школы, возился в своей комнате с какими-то радиодеталями, собирался стать радиоконструктором, а когда жена спросила: «Ты что там делаешь, Мишенька?» — сын ответил из своей комнаты, в которой он, Василий Ильич, спал накануне: «Собираю радиоприемник».

А транзисторов тогда еще не было.

И Василий Ильич решил, что по возвращении сына из Сибири отдаст ему свой заслуженный транзистор, отдаст и часы в виде ключа — по прямой линии, от сердца к сердцу, от его старого сердца отца к молодому сердцу сына. . .

А час спустя, нащупывая палкой опавшую листву, Василий Ильич шел сначала лугом, потом лесом к станции, шел той просекой, по которой столько лет торопился к утреннему поезду, а вечером возвращался, вдыхая тот хороший воздух, которым захотел подышать напоследок, и жена всегда спрашивала: «Устал, Вася?» — а после обеда сидели иногда в гамаке, и мир вокруг покачивался и тихо плыл, их мир. . .

На станции Василий Ильич перешел на другую сторону платформы, услышал вскоре шум поезда, кто-то, поддержав под руку старого печатника, помог подняться по ступенькам вагона, Василий Ильич сказал ему: «Спасибо, друг»,— так и не увидев того, кто помог,— поезд уже шел, родней Москвы ничего теперь не было, а старое гнездо лежало не в Фирсановке, а в глубине сердца, и нечего искать его там, где оно было когда-то...

ЗИМНИЙ ОТПУСК

В санаторий приехали в такую непроглядную муть, что шоферу санаторского автобуса пришлось несколько раз останавливать машину и соскребать с лобового стекла налипший снег, с которым не справлялись снегоочистители.

И за много лет Алексей Дмитриевич Овчарников оказался под сенью того крова, где можно ничего не делать, отдыхать, предаваться неспешным мыслям или посидеть в шубе и шапке на широком балконе, а снег тем временем идет и идет, и в парке стволы деревьев по колено в снегу.

С месяц назад один из тех, кого на учтивом медицинском языке принято называть коллегой, а попросту Андрей Иванович Говорков, опытный врач-кардиолог, заставил его, Овчарникова, снять с себя рубашку, присесть возле его стола, а потом и прилечь на покрытый простыней диван, пока Говорков измерял давление, выслушивал сердце, мял живот, раздвигал двумя пальцами веки, чтобы заглянуть в зрачки — словом, проделывал все то, что проделывал он сам, Овчарников, на протяжении десятков лет с другими, и он сказал в шуточку:

— Мы с вами, Андрей Иванович, наподобие парикмахеров, которые бреют друг друга.

И Говорков тоже шутливо ответил:

— Ничего, побрею вас чисто.

И действительно, побрил чисто, назначив всяческие таблетки, а главное, назначив провести зимний отпуск в санатории с непременным условием ничегонеделанья, добавив при этом:

— Мы с вами, Алексей Дмитриевич, хорошо знаем, что сосуды человека не водопроводные трубы, которые можно сменить или на худой конец промыть... что делать, медицина еще не дошла до этого!

И вот он, старый врач-педиатр с сосудами, которые нельзя ни сменить, ни промыть, в санатории, носящем несколько элегическое название «Лесной отдых», а под окном его комнаты сосны в снегу и загородная метель, укладывающая сугроб за сугробом.

За ночь метель, однако, пронеслась, начался санаторный, расписанный день, когда, проснувшись по привычке в половине восьмого, можно еще часок полежать с вялыми мыслями: как провести зимний день в пустоте ничегонеделанья? Утром, правда, пришлось зайти к врачу санатория, молодой женщине, старательно проверившей сердце, давление, и он, чтобы не смутить молодого врача, покорно принял ее предписания, став сразу из опытного подопытным...

В десятом часу Овчарников спустился в большую столовую с застекленной стеной в парк, в стерильной тишине утреннего часа все чистейше белело — и фартучки официанток, и скатерти, и творог в глубокой тарелке, уже стоявший перед его прибором. А снег шел и шел, вместе с ним набегали воспоминания, и как не сменить и не промыть сосудов, так не отстранишь эту жатву памяти...

Почти сорок три года, почти к полувеку, работает он, старый врач, пестовал от колыбели не одного из тех, кто уже давно идет по дороге жизни, и только матери или бабушки помнят врача, к которому они приносили или приводили своих детей и внуков... но так давно это было!

И зимний пустой день, когда не знаешь, с чего начать — полистать ли журнал в библиотеке или покормить воробьев на балконе,— потянулся, а во время обеда официантка, молодая женщина в белом фартучке и с накрахмаленной наколкой, спросила:

— Может быть, чайку, Алексей Дмитриевич?

Он удивленно посмотрел на нее: когда же она успела узнать его имя?

— Спасибо, но чая после обеда не пью,— сказал он.— А откуда же вы знаете мое имя и отчество?

— Вы мою маму не помните? Она нянечкой у вас в детской больнице работала, Елизавета Гавриловна.

— Елизавета Гавриловна? Как же я могу ее не помнить... мы столько лет работали с ней вместе! Где и как она сейчас? Я давно потерял ее из виду.

— Я вчера маме сказала, что к нам приехал отдыхать врач Овчарников, мама прямо руками всплеснула — так обрадовалась. Алексей Дмитриевич, мы ведь совсем рядом, в Ивантеевке, живем, мама с нами теперь поселилась... и так хочется ей повидать вас!

— Да и я рад был бы повидать Елизавету Гавриловну... у нас с ней найдется что вспомнить.

— Алексей Дмитриевич, загляните к нам, отсюда ведь недалеко, всего шесть километров. А за вами мой муж заедет, когда скажете... он на ветеринарном пункте фельдшером работает. Сейчас дорога в снегу, машине не пройти, но вам, может быть, будет приятно на лошадке проехаться, хоть и не спеша, зато воздух хороший.

И мысль о том, что можно по-старинному, по-забытому проехаться зимней дорогой в саночках, показалась тоже как бы стерильной по свежести.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Маша... вы меня ведь маленькую лечили, Алексей Дмитриевич, только забыли, конечно. А мама сказала, что это вы меня подняли, у меня с рождения неважно с сердцем было.

— А теперь как? — спросил он.— Бьется?

— Бьется!

И она так влюбленно, эта Маша Селиверстова, которую он и не помнил, смотрела на него, поднявшего ее... но скольких он уже поднял на своем веку, таких же синеглазых, как Маша, или кареглазых, или сероглазых.

— Тогда так... знаете, что такое санаторный режим? Мне больше полеживать полагается, ну разве еще на балконе посидеть... значит, чтобы — тихо, без огласки.

— Муж за вами заедет, вам только за ворота выйти, будто пройтись задумали.

И какая-то нежная тайна как бы сблизила их.

— У меня послезавтра выходной день, муж за вами в эту пору появится. Вы тогда выйдете за ворота, там

на Москву прямая дорога, а правее — к нам, в Ивантеевку, муж будет у леска вас ждать.

— Ладно... я сообразительный.

А та, которую лечил он когда-то, с таким сиянием была обращена к нему, что он даже чуть приосанился и провел согнутым пальцем по своим седым усам.

И день спустя, как бы совершая утреннюю прогулку, Овчарников неспешно добрел до ворот парка, прошел немного в сторону, у лесной просеки ждала лошадка, запряженная в возок, какого ныне и не увидишь, а возле возка, улыбаясь, стоял молодой, с черной бородкой человек, муж Маши, ветеринарный фельдшер, представился: «Михаил Петрович Лубенцов» — и с чувством пожал руку того, кому, может быть, обязан был своим счастьем, своей женой, своей Машей...

— Садитесь, Алексей Дмитриевич, я сенца вдоволь припас.

И старинный, почти пушкинских времен, возок с пегой смирной лошадью, курчавой от инея, поплыл в зимней тишине леса, в снежной прелести, от которой уже так давно отвык он, Овчарников, в московской жизни, начинавшейся с рабочего утра и кончавшейся рабочим вечером, в последние годы и совсем глухим, когда остался он один, а той, с которой прожил почти целую жизнь, не стало... и хотя не одна метелица старалась замести, не удавалось.

— Боже мой, Алексей Дмитриевич, дорогой мой человек... как же я рада вам! — сказала Елизавета Гавриловна, которая некогда молоденькой девушкой поступила санитаркой в детскую больницу, потом стала нянечкой, находившей дорогу не к одному детскому сердцу, да и к его сердцу, врача Овчарникова, и всегда, какие бы трудности ни возникали, были рядом руки этой — сначала Лизочки, потом Елизаветы Гавриловны, сердечной и умевшей глубоко понимать любые человеческие беды...

И они вспомнили много из общей их жизни, вспомнили и войну, когда не одного безотцового ребенка приносила или приводила мать, а случалось, и круглого сироту, оставшегося на чужом попечении...

— Целую жизнь прожили мы с вами, Алексей Дмитриевич,— сказала Елизавета Гавриловна,— и такая у меня была надежда повидать вас все-таки. А на днях

Маша сказала, что вы приехали отдохнуть в санаторий, и хоть я и обрадовалась, но и встревожилась немного. Как ваше здоровье, Алексей Дмитриевич?

— Работаю,— сказал он коротко.— А врачи рекомендуют почаще полеживать... не умею я почаще полеживать!

Он говорил с усмешечкой, отмахиваясь от того, что Говорков записал в историю болезни, но Елизавета Гавриловна с болью смотрела на него: сдал он все-таки, Алексей Дмитриевич, и уже совсем белой стала его кудлатая, некогда угольно черная голова... Потом Елизавета Гавриловна сказала еще и о том, что у Маши сынок, пошел уже второй год, но растет плохо и не говорит еще почти, да и зубы растут с опозданием.

А в маленьком доме, если на минуту прислушаться, строчит свою серебряную стежку сверчок, которого многие в Москве никогда и не слышали.

— Даже сверчка в мою честь припасли,— усмехнулся Овчарников.

— А как же, Маша постаралась для вас. Вы Машу, наверно, и не помните, ей три годика всего было тогда, когда вы лечили ее... и моего сына Костю вы лечили, Алексей Дмитриевич. Костя сейчас в армии, в Германии стоит, он по радиолокации пошел, уже двадцать три года ему... так что вы вроде как в своем доме, в своей семье, и мне так нужно, чтобы вы знали — есть у вас свой дом, как бы там ни получилось в вашей жизни, а есть у вас свой дом.

— Что ж, неплохо знать, что у тебя есть свой дом,— сказал он.— А сына вашего я вспоминаю все же... Значит, по радиолокации пошел? Вот что делается!

Но Овчарников сказал это лишь для того, чтобы приятно было той, которая хранила в своей памяти, наверно, не одну детскую судьбу, той некогда быстрой, всегда поспевающей, находившей для каждого слово надежды и утешения, а некоторые матери, приближая этим к своему сердцу, называли ее Лизок.

— Я на свою жизнь не обижаюсь... что могла по своим силам, то сделала,— сказала Елизавета Гавриловна.— А сейчас я — бабушка, тоже должность, как ни говорите, и такая к вам просьба, Алексей Дмитриевич, Маша не решается просить вас, а я по старой памяти

решаюсь: посмотрите ее сынка, почему во всем запаздывает, и говорит-то всего несколько слов, а ему уже год восемь месяцев.

— Ничего нет с собой, в следующий раз посмотрю.

— Может быть, пообедать с нами не откажетесь?

— Режим,— сказал он.— Я у вас контрабандой.

Но такой нужной, такой близкой сердцу оказалась эта контрабанда, и, может быть, не только близкой, но и целительной... в какой режим впишешь и возок в зимней тишине леса, и падающий с сосен иней, и снежную даль российской равнины, и голубые стоячие дымы из труб?

Своего сына Маша все же показала. Овчарников вымыл под рукомойником руки, послушал опытным ухом сердчишко, помял животик, легонько шлепнув напоследок по младенческой ягодице.

— Я посмотрю его еще... уж если мамашу лечил в свое время, куда мне от ее сынка деться?

Однако Маша с тревогой глядела на него, но три дня спустя ее муж снова заехал за ним, на этот раз Овчарников обследовал мальчика, сказал Маше:

— Видимо, одна железка пошаливает... пока подождем, а весной, может быть, посмотрим в Москве. Мне лестно будет еще одним из вашего рода и племени позаняться.

И то ли от тайных поездок сквозь заснеженный лес, то ли оттого, что есть у него, Овчарникова, и второй свой дом, стало как-то поспокойнее с сердцем, а однажды в дверь его комнаты несмело постучал кто-то, и незнакомая женщина еще на пороге сказала:

— Извините меня, ради бога... сознаю, что нельзя тревожить вас, но хоть одним глазком посмотрите мою девочку. Я поварихой работаю, а про вас Маша Лубенцова сказала, что лучшего врача по детской специальности не найдешь.

И Овчарников усмехнулся тому, что лучшего врача по детской специальности не найдешь, растет, значит, его слава, выбился все-таки в люди...

Девочку он осмотрел в одном из флигелей, назначил питание, приложил палец к губам, и женщина поспешно сказала:

— Я ни словечка никому... а мое беспокойство вы понимаете, конечно.

Он понимал не только ее беспокойство, но и то, что девочку перекармливают, сказал: «Эх, вы, маменька!» — и вышел из флигеля, довольный своим незаконным поступком, побрел гуляющей походкой, будто старый врач решил перед обедом нагулять аппетит, и в левой стороне груди не было никакого стеснения: все-таки зимний отпуск, лесной отдых, ничегонеделанье, и врачу Говоркову он скажет, что обленился, закис от безделья, только полеживал, да кормил воробьев, да еще почитывал, взял в библиотеке санатория роман Диккенса. Он действительно взял роман Диккенса, положил на тумбочку возле постели, ни разу не раскрыл его — не потому, что не чтил Диккенса, а просто по недостатку времени из-за ничегонеделанья...

А накануне его отъезда из санатория муж Маши предложил довезти в своем возке до железнодорожной станции, подарил ему напоследок за все его труды зимний пруд с воронами на полынье, скрип полозьев возка и снежную даль прекраснейшего пейзажа России, а довезя до станции, сунул в руку узелок:

— Блинки от Елизаветы Гавриловны на дорогу... таких блинков в Москве вы и не попробуете.

Четверть часа спустя Овчарников уже сидел в вагоне поезда, смотрел в окно на богатую людьми и чувствами зимнюю равнину, достал из узелка один еще теплый блинок, и вправду, в Москве таких блинков и не попробуешь, с хрусткой корочкой, постаралась старая нянечка, постаралась для него, вместе с которым, как в птичий день, выпускали птенцов, и вот теперь один из побывавших в его руках птенцов — милая, славная женщина, прежде Маша Селиверстова, теперь Лубенцова, а Костя Селиверстов где-то в Германии со своей специальностью... все по правилам жизни, и врачу Говоркову он скажет еще:

— Отдохнул, Андрей Иванович, на всю железку... Диккенс хотя и длинновато пишет, но интересно.

А про то, что сердце человека, который привык всю жизнь действовать, работает ровно лишь тогда, когда человек продолжает действовать, не чуждается чужих бед, не запрятывается в сугроб,— об этом ничего не скажет. Впрочем, добавит, может быть:

— Не случалось вам ездить в возке через зимний лес? Воздух, снег, свежесть... обновляет сердце и лег-

кие, и еще сознание твоей необходимости в жизни, это тоже обновляет.

Но Андрей Иванович Говорков — стреляный, на мякине его не проведешь, отзовется:

— Да, вижу, что зимний отпуск оказался для вас весьма подходящим, набрались всяческого поэтического вольнодумия. Придется, видимо, всерьез приняться за вас.

Тогда он, Овчарников, с бездумным легкомыслием ответит:

— Поздно, дорогой коллега, приниматься за меня... выбыл в неизвестном направлении, тю-тю.

И Овчарников старательно разучил весь этот диалог, возвращаясь в Москву и подбодрив себя еще одним блинком Елизаветы Гавриловны.

ОЗИМИ

В октябре выпал снег, снежное поле легло на два дня, потом растаяло, холодно и мокро зазеленели озими, и Петр Кузьмич, в ушанке и ватнике, пошел по обочине в свою столярную при доме отдыха «Кузьминка». После отца, старого железнодорожника, остался его домик недалеко от станции, прежде гудели паровозы, а теперь лишь утробным звуком возвестит о себе электропоезд, жизнь переделывается к лучшему, как и полагается для блага человека.

Но идя в свою столярную вдоль мокрых озимей, он думал о том, что по-разному достается человеку счастье, и над чересполосицей хорошего и горького тоже задумаешься. Когда-то был мир в его доме, хоть и совсем малом доме, была жена, было хозяйство, был сын, Павел, и таким прочным казалось его гнездо. Но стало понемногу обламывать сучья, жена, еще совсем крепкая, ладная его Аннушка, ушла, когда более всего по его возрасту и мыслям была нужна ему поддержка, стала жаловаться на боль в левой стороне груди, где у человека помещается сердце, и в одночасье, с первым же приступом, оно изменило ей. А сын Павел давно ушел

на сторону, женился, время от времени пришлет письмо, а то и забудет.

И вот уже семь лет идет он наедине, столяр Петр Кузьмич Ерошин, в свою столярную, и работа заменила для него то, что называется счастьем... но ведь и работа, если дорожишь своим умением, тоже своего рода счастье.

Петр Кузьмич думал об этом, идя вдоль обочины, наверно, лишь на день-другой оттаявшего поля, там снова пойдет снег, уже надолго, но пока озими огуречно зеленеют напоследок.

Дом отдыха для научных работников был на высоком берегу реки Кузьминка, уже давно обмелевшей, и только в половодье или от осенних дождей набухнет под мостом. Петр Кузьмич перешел мост, и вскоре был парк дома отдыха, а столярная помещалась в полуподвале, пахнущая деревом и работой столяра. Он миновал фасад дома с колоннами, а за углом ему встретилась востренькая, проворная уборщица Дуся, сказала:

— Вас какая-то женщина спрашивала, Петр Кузьмич.

И минуту спустя он увидел эту женщину и даже отступил на шаг.

— Варя... ты как здесь?

— Приехала,— сказала коротко та, которую звали Варей и которая была женой его сына Павла.

И что-то сразу вдруг толкнуло в сердце, тревожно толкнуло, но Петр Кузьмич сказал лишь:

— Заходи.

Варя спустилась вслед за ним по железной лестнице в полуподвал, где была его столярная, Петр Кузьмич снял с двери замок, и теплое дыхание обработанного дерева, успокоительно встречавшее обычно, тоже как бы отступило. Петр Кузьмич снял шапку и ватник, медлил, боясь услышать что-нибудь совсем недоброе, и спросил наконец:

— Случилось что-нибудь?

Варя не ответила, отвернулась в сторону, заплакала, и ему было жаль ее... а что с сыном у нее пошло не так, он знал, хотя и отстранял от себя это.

— Случилось что-нибудь? — повторил он.

— Петр Кузьмич, позвольте, я не сразу... и здесь, на вашей работе, не хочется говорить. Я лучше вечера

дождусь, когда вы освободитесь, подожду вас где-нибудь, я и не хотела до вечера показаться вам, зашла только узнать, работаете ли вы по-прежнему.

— На вот ключи,— сказал Петр Кузьмич вдруг,— дома меня дождись... я пораньше постараюсь управиться.

И он отдал ей ключи от своего дома, а работа, которая ждала его, не пошла, и тревога, как пузырь со льдом, лежала на его груди.

До обеда он поработал все же, поправил несколько стульев, построгал и поклеил, а в обед взял в кухне три судка один на другом, как брал обычно, и понес вдоль обочины поля.

В палисаднике при его доме висел на веревке, видимо, выбитый коврик, а из боковой двери Варя выметала сор, сказала виновато:

— Такой у вас беспорядок, Петр Кузьмич... У меня прямо сердце зашлось, как неухожены вы.

— Я по субботам убираю,— сказал он.— А пока садись пообедаем.

И они сели обедать, все было еще горячее, а то, что Варя принесла со своим приездом, стояло за спиной и ждало, когда Петр Кузьмич чиркнет спичкой, закурит, скажет:

— Ну, докладывай.

— Ушла я от Павла, Петр Кузьмич,— сказала Варя.— И любая одинокость для меня лучше, чем так... У него другая, Петр Кузьмич, и уже давно, больше года, я сначала ничего не говорила, а недавно сказала все-таки: «Ты что же думаешь, все кругом видят, а я одна не вижу?» — а он ответил: «Ну, если видишь, сделай сама для себя выводы». И я, Петр Кузьмич, выводы сделала... зачем мне унижаться, какая я ни есть, зачем мне унижаться? Я Павлу сказала: «Уйду, и не ищи меня больше»,— а он, знаете, что ответил: «Я в прятки с тобой играть не собираюсь, пусть ищет тот, кто любит в прятки играть». А как мне понять это было?

Петр Кузьмич молчал, смотрел перед собой, за окном нашла туча со снегом, такая зимняя, тяжелая туча, что стал как бы вечер в комнате. Варю он любил, знал ее мать, с которой дружила покойная жена, медицинскую сестру Евдокию Васильевну Рябову. Варя вышла замуж за сына, когда еще жива была ее мать, обе

матери надеялись на счастье своих детей, а в разбитом корыте и лоскута не сполоснешь.

— Тяжело мне это слышать, Варя,— сказал он.— Павла я не оправдываю, конечно, но, может, все-таки очертя голову так... еще сладится у вас?

— Не сладится, Петр Кузьмич,— сказала Варя печально.— Я себя больше года в руках сдерживала, думала — может, нашло и сойдет, но только нет, а свою любовь коверкать я не стану, и ослабело у меня чувство к Павлу, я честно сознаюсь вам. А вас, Петр Кузьмич, я очень уважаю, я вам наместо дочери была бы... а теперь что же, порезал мое сердце Павел, так порезал, без всякой жалости порезал.

Варя была маленькая, похожая на девочку, худенькая и жалкая, и Петру Кузьмичу хотелось спросить, какая же собой та, которая увела сына... наверно, рослая и уверенная, где же этой робкой и безответной тягаться с ней.

— Я не жалобиться на свою судьбу пришла к вам, Петр Кузьмич,— сказала Варя поспешно, чтобы не решил он, будто за отцовской помощью потянулась,— а только нужно мне думать теперь об устройстве своей жизни. Может, вашему дому отдыха нужна повариха... я ведь в свое время кулинарное училище кончила, я хорошо умею готовить. А насчет жилья, если при доме не найдется, я пока у тети Паши могу пожить, буду приезжать из Москвы на работу. Правда, маленькая у тети Паши комната, но тетя Паша сказала — в тесноте, да не в обиде, она хорошая, старшая мамина сестра, и мама дружная была с ней всегда.

— Нужно будет спросить,— сказал Петр Кузьмич.— Не знаю, как насчет поварихи... не мой цех.

Он сидел большой и тяжелый, борода стала уже совсем седой, начал носить очки, и Варя скорбно смотрела на него, как постарел он за те годы, что остался один.

— Нужно будет спросить,— повторил он.— Но как это все-таки получается ныне... пяти лет не прожили вместе — и уже врозь, а я со своей женой серебряную свадьбу справил, и до золотой было уже недалеко, если бы...

Он не договорил, смотрел в окно, начавшее все раньше и раньше сизеть, а вскоре и совсем рано засизеет.

— Я на себя ничего не могу принять,— сказала Ва-

ря,— я свое сердце все Павлу отдала, а зачем же он его порезал?

И она снова заплакала, а Петр Кузьмич лишь морщился от жалости к ней, морщился от жестокости сына, который не искал ничего вглубь, и, может, даже порадовался, что Варя не стала ничего добиваться.

— Мне твоя судьба не безразлична, не думай,— сказал он.— Я насчет тебя хорошего мнения, в свое время порадовался, что у Павла надежная опора будет.

— Да я бы. . .— сказала Варя с порывом,— я бы всю себя отдала! Только ненужностью это оказалось, зачем же я буду в унижении, а эту Савелову все на строительстве знают, она замужем, так что придется ей развод оформлять, да и нам с Павлом тоже. . . он дал мне понять, что лучше без всякой задержки с моей стороны, я и не хочу никакой задержки.

И Петр Кузьмич снова покачал своей лохматой, тоже уже почти седой головой, горестно покачал.

— Ты для меня все-таки не чужого племени. . . я отмахнуться от тебя не собираюсь. Завтра справлюсь, кажется, с поварихами у нас недостаток. А сейчас я пойду,— он посмотрел на часы, обеденный перерыв кончался,— после шести вернусь, ты меня дожидайся.

И он снова пошел полем, над которым лежала большая сизая туча, за ней шла другая, в октябре тучи проходят, как полки.

В столярную он не зашел, а поднялся к сестре-хозяйке Антонине Степановне, тоже много лет работавшей в доме отдыха, и в прошлом году на доске Почета висели портреты их обоих.

— Как у нас насчет поварих? — спросил он Антонину Степановну, уже немолодую, тоже в очках, а волосы у нее были в серебряных полуволнах завивки.— Если дефицит, то есть одна, за которую могу поручиться.

И он прямо объяснил, что приехала жена сына, тихая и старательная, окончила кулинарное училище, в последнее время работала в столовой для строительных рабочих, но почему жена сына приехала, не объяснил, и Антонина Степановна по деликатности не спросила, может быть, по-женски что-нибудь и почувствовала, но промолчала, и Петр Кузьмич лишний раз подумал о том, как сложно устроена женщина с ее чутьем и чувствами. . .

В столярной, как обычно, встретили надежные запахи дерева и клея. Петр Кузьмич построгал на верстаке заготовленные ступеньки лесенки для библиотеки дома отдыха, а о чем упорно, хоть и скорбно, думал, не открывался даже самому себе.

И впервые за последние годы возвращался он под вечер домой с чувством, что кто-то ждет его и встретит не только пустота большой комнаты, в которой лишь смотри телевизор да слушай, что он скажет, а ответить некому... и так позабыто это, чтобы кто-нибудь ждал тебя! Он сорвал на ходу мокрый лист с придорожного куста, и лист зябко замер, пригреваясь в теплоте его ладони. А в палисаднике рядом с выбитым ковриком просыхали две его рубашки.

— Я, Петр Кузьмич, немножко без вас похозяйничала, вы не обижайтесь, но такая у меня привычка — увижу что-нибудь не так, и руки сами тянутся,— сказала Варя.

Петр Кузьмич ничего не ответил, молча снял с себя ушанку и ватник, повел плечами.

— Похолодало, опять снег, наверно, будет... в этом году что-то рано, октябрь только.

Но он совсем другое хотел сказать и внутренне готовился к этому.

— С поварихами у нас дефицит, представишься сестре-хозяйке Антонине Степановне, только документацию свою захвати. У тебя как насчет характеристики?

— У меня три премии, а в прошлом году почетную грамоту получила... с питанием для рабочих хорошо было поставлено.

— Антонина Степановна хотя и строгая, но по справедливости, покажешь себя с хорошей стороны, она оценит.

— Я уж постараюсь, Петр Кузьмич,— сказала Варя,— и такая благодарность вам! Я завтра с утра буду... я на станции расписание поездов приобрела. А к вам, Петр Кузьмич, я хоть и сомневалась, но как к отцу ехала.

— В чем же ты сомневалась?

— Плохо у нас с Павлом получилось... сомневалась — может, вы на его стороне будете,— но перед своей совестью не могла я иначе.

— Я не судья,— сказал Петр Кузьмич,— нет у меня такого полномочия. А ехать — куда же ты на ночь глядя

поедешь... переночуешь во второй комнате, только прибери в ней немного, я, конечно, со всем не справляюсь. А вот еще что я по дороге надумал — поступишь на работу в наш дом отдыха, у тебя моя крыша будет. А если Павлу твоя судьба неинтересна, незачем и знать ему, как и где ты устроилась.

— Я все-таки признаюсь вам, Петр Кузьмич, — сказала Варя, прижав обе руки к груди,— где-то в глубине я такую мысль думала, может, пожалеете меня немножко... я на ваше сердце надеялась. Тетя Паша, конечно, ни в чем не откажет мне, но она уже совсем старенькая, комната у нее двенадцать метров, я на общежитие где-нибудь надеялась.

— Не нужно тебе общежитие.

А больше Петр Кузьмич ничего не сказал, вечером пили чай и смотрели телевизор, теперь можно было не только слушать, что он скажет, но и самому поговорить, конечно, не с телевизором, а с той, которая ждала его после работы, прибрала в комнате, даже выстирала две его рубашки, — и что сын упустил и что нашел взамен?

После программы «Время» посмотрели еще телефильм, потом Петр Кузьмич достал из ящика комода две чистые простыни, сказал:

— Укладывайся, завтра с утра представлю тебя Антонине Степановне, а через денек-другой, смотришь, обед твоего изготовления попробую.

— Я уж постараюсь, Петр Кузьмич... вы для меня самый дорогой человек, и никого, кроме вас, у меня нет теперь.

Варя постелила себе постель в маленькой комнате, в которой жил когда-то Павел, сказала: «Спокойной ночи»,— а ее волосы были заплетены в косичку с красной ленточкой, и Петр Кузьмич положил на ее косичку руку, сказал: «Спокойной ночи, дочка»,— и может быть, со счастьем в душе заснула Варя, кто знает меру, какая нужна для каждого по-своему?

Перед сном Петр Кузьмич вышел на крыльцо, было холодно, шел мелкий снег, и к утру, наверно, белое поле протянется до самого горизонта. Это было немного похоже на то, что сейчас в его, Петра Кузьмича, доме, в котором Варя, наверно, уже уснула, и так мало нужно иногда человеку... только чтобы укрыло его в стужу, а к весне озими уже снова зазеленеют.

БОЙ ЧАСОВ

Некто по имени Иван Савельевич Чепцов, по профессии часовой мастер, поднялся по ступеням Центрального рынка, пошел сначала в сторону, где продавались фрукты, постоял возле выложенных помидоров, еще привозных в эту пору, попросил продавца, старого строгого узбека, свешать ему три помидора покрупнее, и, наверно, чем-то озабоченным или даже опечаленным показался опытному глазу старика этот длинный, с черной бородкой, с каким-то углубленным взглядом человек, потому что продавец сам выбрал три крупных, спелых помидора и осмотрел их, прежде чем положить на весы. Покупатель заплатил за помидоры, прошел к зеленному ряду, купил два пучка редиса и укропу, а в молочном отделе купил, сначала попробовав, творог, сел вскоре со своей наполненной сумкой в автобус за углом Трубной площади и так задумчиво, так печально сидел у окна, что одна женщина, умевшая, наверно, понимать настроения людей, дважды пристально посмотрела на него.

Иван Савельевич вышел из автобуса на Кропоткинской улице, а в глубине большого серого дома по Еропкинскому переулку летний день остался позади, в парадном было сумрачно и холодно, но Иван Савельевич не вошел в лифт, стал не спеша подниматься пешком, и те мысли, которые всегда возникали, когда он приходил в этот дом, пошли своим привычным ходом... Все, что нашел он когда-то, было связано с этим домом, и то, что потерял он когда-то, было связано с этим домом, целая жизнь была связана с ним, хотя в том виде, в каком он ждал ее, и не состоялась.

Он постоял на площадке лестницы, прежде чем нажать кнопку звонка, и звонок куда-то далеко ушел в глубину коридора.

— Кто? — спросил женский голос за дверью.

— Чепцов.

— Иван Савельевич! — сказала женщина, не столько удивленная, сколько встревоженная, но Анастасия Романовна только так и встречала его, хоть и с сочувствием и благодарностью, но и как бы с некоторой виноватостью...

— Заходите, Иван Савельевич... всегда рада вам! — сказала она.

И, наверно, бывала она и вправду рада, хотя и сокрушалась, что не нашел он, Иван Савельевич, никогошеньки взамен ее Тани... но что делать, сердцу не прикажешь, даже сердцу родной дочери не прикажешь.

Десять лет назад Таня поступила ученицей в часовую мастерскую под его, Ивана Савельевича, начало, уже опытного мастера, намного старше ее, быстро научилась мастерству, и не раз поглядывал Иван Савельевич на ее розовые спорые руки, в которых с живостью пойманной бабочки или мотылька трепетала часовая пружинка, и многие работы, не требовавшие отправки на завод, она уже выполняла в присутствии заказчика, а ее молодым глазам только редко нужен был окуляр...

И год шел за другим, а три года спустя Иван Савельевич понял, что полюбил эту девушку, полюбил так, что и вся мастерская, да и вся Москва, казалось, сосредоточены были в ее розовых пальцах, в нежных чертах еще совсем юного лица, в прядке волос, которую по временам нетерпеливо откидывала она ребром ладони, и вот весь мир заполнился ею, как это бывает, когда к немолодому человеку приходит чувство, и даже молодой любви, способной на самые отчаянные поступки, не сравниться с силой этого чувства.

Выходя однажды вместе с Таней после работы, Иван Савельевич сказал:

— Вы не очень торопитесь домой, Таня? Давайте зайдем на полчасика в какое-нибудь кафе, поговорим с вами кое о чем.

Но Таня предчувствовала, о чем он хочет поговорить с ней. Они зашли в ближнее кафе «Ивушка», сели за столик, Иван Савельевич принес две чашки кофе и пирожных, и Таня сначала пила кофе и отламывала ложечкой от пирожного, а Иван Савельевич только задумчиво помешивал ложечкой в чашке, не решаясь начать.

— Я давно присматриваюсь к вам, Таня,— сказал он наконец.— И вы сами, и ваша работа по душе мне. Я одинокий, и если бы вы согласились нарушить мое одиночество, счастливее меня не нашлось бы человека. Конечно, разница в возрасте большая, мне сорок четыре

года уже, а вам двадцать один... но ведь не возрастом определяется то, что несешь в сердце.

Он сам почувствовал, что неуклюже сказал, а Таня только подняла на него свои синие глаза, такие синие, что утонешь в них, и он тоже утонул, Иван Савельевич, наверно, уже три года назад утонул, скрывая даже от самого себя.

Несколько дней спустя он пришел к Тане в дом, познакомился с ее матерью, Анастасией Романовной, работавшей закройщицей в ателье женского платья, показался ей человеком надежным, и позднее, когда он ушел, мать сказала:

— Что ж, Танечка, если человек этот по сердцу тебе, я только радуюсь. Через несколько лет выйду на пенсию, стану вам помогать по хозяйству, да и по-другому может случиться. Сейчас дело к зиме, а на красную горку мы хорошо отпразднуем.

И, сидя снова за тем же столом, за которым когда-то впервые сидел, Иван Савельевич вспоминал все снова, как вспоминал уже одиннадцать лет, теперь ему шел уже пятьдесят шестой год, а Анастасия Романовна давно была на пенсии. Он вспомнил, как поступил в их часовую мастерскую Николай Стабесов, рослый, с красивыми, смелыми глазами, спортсмен,— и какая там «Ивушка», пошли и балет на льду, и загородные поездки на машине приятеля, и все то, что хоть не сразу, но увело от него, Ивана Савельевича, Таню, сначала лишь несколько увело, а потом и совсем увело, и он пришел тогда со своей печалью к матери. Но Анастасия Романовна все уже знала от дочери и сама помогла ему начать трудный разговор:

— Я очень уважаю вас, Иван Савельевич, и одобрить Таню не могу... но что делать — полюбить вас она не успела, рассказать ей — от добра добра не ищут, разве послушает она меня, Иван Савельевич, голубчик мой!

Весной Николай Стабесов с Таней перешли в другую часовую мастерскую, на Бауманской, нельзя было смотреть ему, Ивану Савельевичу, в глаза хотя и синими, как небо, глазами, но до неба далеко, а до опустевшего места Тани возле окошечка, через которое она принимала для ремонта часы, было близко, и некоторые из мастеров уже знали о его обиде, одни осуждали Таню,

другие, однако,— хоть и про себя,— думали, наверно, что молодой нужен молодой. . .

А в начале мая Таня начала свою новую жизнь, у нее с Николаем Стабесовым совпали отпуска, и они уехали в Туапсе, где жила мать Николая,— в Туапсе, к морю, к новому счастью,— но в Москву уже не вернулись.

В Туапсе открылась большая часовая мастерская, Николай с женой поступили работать в ней, а на месте Тани сидела Наташа Голавлева, тоже бывшая ученица, старательная, с очками на курносом носу.

Три года спустя, проходя однажды по Кропоткинской улице, Иван Савельевич посмотрел издали на большой серый дом, в который залетела когда-то его синяя птица, но навсегда улетела затем, и, преодолев себя, перешел на другую сторону улицы, а в полутемном подъезде с минуту постоял в раздумье.

— Иван Савельевич! — сказала тогда Анастасия Романовна, однако больше с испугом, чем с удивлением.

— Можно зайти? — спросил он несмело.

— Конечно.

И они сидели вскоре за чайным столом.

— Я не навязываюсь, Анастасия Романовна, — сказал он, — но что мне делать с моим сердцем? После Тани никто не нужен мне, а свою любовь я оберегаю.

Анастасия Романовна страдальчески посмотрела на него.

— Вы думаете, меня за Таню совесть не мучает? — спросила она.— Я ведь в вас сразу хорошего человека почувствовала... а насчет Тани — не знаю, как сейчас у нее, в письмах мне ничего не сообщает.

Анастасия Романовна заплакала вдруг: наверное, кое о чем все же писала Таня, но расспрашивать Иван Савельевич не посмел. А Таня писала, что летом, когда приезжают курортники, в Туапсе оживленно, но зимой тоска, а от шума моря спать не может. Но мать понимала, однако, что дело не в шуме моря, которое не дает дочери спать, а в том, что не нашла Таня, видимо, своего счастья.

— Я Тане ничего, кроме хорошего, не желаю,— сказал Иван Савельевич.— А вас позвольте время от времени навещать. Я вам признаюсь. . . к вашему дому я не раз подходил, только зайти не решался.

— Удивительный вы человек,— сказала она, словно впервые разглядев его,— другой на вашем месте навсегда затаил бы обиду.

— А что такое обида? С обидой и сам для себя никакого интереса не представляешь, а для других тем более. Так что позвольте время от времени навещать вас, а уйти навсегда в сторону трудно мне, Анастасия Романовна.

И она повторила тогда:

— Удивительный вы человек.

И вот уже не первый год приходит он сюда, в Еропкинский переулок, в большой серый дом, в квартиру на пятом этаже, помог подремонтировать кое-что, привел однажды маляра, тот побелил потолки, покрасил стены, а однажды приехала Таня, но Иван Савельевич лишь позднее узнал, что она побывала в Москве, провела неделю у матери, но как-то грустно и смутно, а про отношения с мужем сказала только:

— Курортный город — не дай бог... приезжают на месяц, да и всё словно на месяц.

Но в ночном разговоре, когда мать лежала в постели, а Таня на постланном ей диване, она призналась все же:

— Я в Николае разочаровалась, мама... и хоть прямо не обижает меня, нет у нас с ним единства.

И Анастасия Романовна теперь еще больше уверилась, что не нашла дочь ничего, поэтому и шум моря мешает спать по ночам.

— Квартиру недавно получили... теперь обживают понемногу, я свой туалетный стол пошлю, мне в зеркало уже не глядеться,— сказала она Ивану Савельевичу.

И ему оставалось только представить себе, что живут Таня с мужем хорошо, а часовому делу он научил ее, стала, наверно, и совсем опытным мастером.

— Смотрю я на вас, Анастасия Романовна,— сказал Иван Савельевич однажды,— и Таню вижу... такая же она!

Но не только печально, а как бы и мечтательно сказал он это, длинный, нескладный человек, и Анастасия Романовна не удержалась все же:

— Иван Савельевич, миленький... не клином все же сошелся свет!

— А если клином... если клином, Анастасия Романовна!

И она не нашлась что ответить, только покачала головой, низенькая, с добрым лицом, с родинкой на щеке, такая же родинка была и у Тани, только над верхней губой, и родинка всегда чуть ходила, когда Таня, собирая разобранные часы, по-детски оттопыривала губы, а он смотрел издали на эту родинку.

— Из Ташкента,— сказал Иван Савельевич, доставая из сетки помидоры.— А редиска, наверно, уже подмосковная.

Анастасия Романовна смотрела на помидоры и редиску, она уже давно привыкла, что никогда не придет он с пустыми руками, то какой-нибудь тортик прихватит, то скажет: «Свежие огурцы появились, забежал в овощной на минутку»,— но Анастасия Романовна знала, что это за минутка, когда к продавцу и кассе с полчаса простоишь.

Как все же дать понять человеку, что только мучает всем этим ее? Но Иван Савельевич сказал раз:

— Поломать часы — просто... а чтобы правильный ход был, не отставали бы и вперед не уходили, над этим потрудиться надо.

Он тоже был с правильным ходом, Иван Савельевич, и уже страшно было представить себе, что может отойти в сторону он, ставший постепенно и ей, Анастасии Романовне, необходимым.

— Цветной капусты еще нет, я высматривал,— сказал он.— А калачи, если с утра, в нашей булочной всегда теплые.

И в булочную забежать тоже одна минутка, а с начала лета открылся поблизости от часовой мастерской овощной базар, все на свете, даже бананами торговали недавно, и Анастасия Романовна делала вид, что верит и в одну минутку повсюду, и в овощной базар рядом с часовой мастерской.

— Наверно, скоро и подмосковные помидоры пойдут,— сказала она.— Вчера по программе «Время» передавали, что в Гагре двадцать два градуса тепла.

Она не добавила: а температура воды в море двадцать, уже купаются и загорают... и в Туапсе, наверно, такая же погода стоит.

Но о Туапсе подумала не она, а Иван Савельевич.

— Таня не пишет — пользуется курортом?

— А где ей время взять? — ответила Анастасия Романовна, чтобы он не представил себе в своих неостывающих мыслях счастливое, беспечное существование Тани. Но уже давно не найденный им приют искал он в ее доме, куда залетела однажды его синяя птица, но сразу же вылетела.

— Вы где свой отпуск предполагаете провести, Иван Савельевич? — спросила она.— Поедете куда-нибудь?

— А вас как оставить?

Он сказал это в шутку, конечно, и она тоже ответила в шутку:

— Авось проживу.

Но все-таки пустовато стало бы, если бы он уехал, а Тане она все же написала как-то:

«Навещает меня иногда Иван Савельевич, хороший он человек», мысленно добавила: «Так была бы ты с ним счастлива, наверно», но вместо этого написала: «И наши стенные часы поправил».

Часы с инкрустацией вокруг циферблата приобрел еще муж, старинные французские часы с боем, много лет они молчали, но Иван Савельевич наладил их, теперь каждый час била певучая струна, и звук густо уходил, затухая.

Сейчас тоже три густые удара медленно поплыли, Иван Савельевич, поглядев в сторону часов, уважительно сказал: «Дега», знаменитая фирма»,— а что они пробили: три часа дня или то, что жизнь идет своим порядком и нужно, чтобы и ты не забегал вперед и не запаздывал со своими делами и поступками?

— Накрывайте на стол, Иван Савельевич,— сказала Анастасия Романовна.

Он привычно, уже зная, где что лежит в буфете, достал тарелки, поставил приборы на стол, все-таки потолок над ним был уже несколько своим, и бой часов с их певучим уходящим в рощи и поля звуком был своим, и отсвет молодых синих глаз в старых, требующих уже очки глазах Анастасии Романовны был своим. . .

— Подсыпьте соли в солонку,— сказала Анастасия Романовна, и ее рука протянула ему из кухни большую деревянную солоницу с надписью «Соль» на ней.

В ПУТИ ПОД НОВЫЙ ГОД

На перроне, над которым непроглядно несло метель, Сергей Андреевич обнял сына.

— Ну, до свидания, молодой родитель... как только Аня вернется домой, сейчас же дай телеграмму. А вообще, хотя и трудновато пришлось ей, все пока благополучно, я говорил с врачом.

Сын Дмитрий был, правда, не родной, но по ходу жизни был родным. В войну Сергею Андреевичу Шевелеву, тогда молодому военному врачу, пришлось услышать не одно скорбное слово, а иногда и прощальное тех, кто обращался к хирургу на последней ступеньке своей жизни. В полевом госпитале, развернувшемся уже на немецкой земле, принял Сергей Андреевич это последнее слово от тяжело раненного в грудь танкиста Ефремова. Едва шевеля губами, Ефремов сумел напоследок сказать, и даже не только сказать, но и умолить, чтобы нашел он после войны в подмосковном городке Верее его жену с трехгодовалым сыном, помог бы им, если будет нужно, и вечную благодарность унесет он с собой, двадцатитрехлетний башенный стрелок Ефремов...

Сергей Андреевич записал тогда адрес жены Ефремова, как-то глубоко принял к сердцу последнее обращенное к нему слово и после войны выбрал время и поехал в подмосковный городок Верею.

Стояло лето, городок, узнавший войну, был разорен, многих его жителей уже не было, не нашел он, Сергей Андреевич, и жены Ефремова, прежде служившей в местном доме отдыха, затем случайно и не сразу узнал, что жену Ефремова угнали немцы, а сына отдали соседи в детский дом, лишь год спустя Сергей Андреевич нашел следы мальчика в одном из детских домов, эвакуированных в Сызрань.

Детей у него с женой не было, а образ Ефремова, всю страсть своей надежды вручившего ему, последнему, с которым простился в недолгой своей жизни,— образ этот всегда был перед ним, и они с женой решили взять сначала на воспитание, а потом усыновили Митю Ефремова, и уже давно он стал Дмитрием Сергеевичем

Шевелевым, стал инженером на большом металлургическом заводе в одном из сибирских городов, женился на хорошей девушке, работавшей в проектировочной мастерской чертежницей, и теперь, когда Ане предстояло родить первого ребенка, Сергей Андреевич, выкроив несколько дней, приехал из Москвы. Но роды оказались трудные, и невестка была еще в больнице, когда ему нужно было уже возвратиться в Москву.

Он успел, однако, побывать в родильном доме, поговорил с главным врачом, доверительно, как врачу, пояснившим, что роженицу на неделю, а может быть, и подольше задержат, в родильный дом из-за гриппа никого не пускали, а внука сын с женой еще загодя, если родится сын, решили назвать Сергеем в честь деда, хотя и не родного деда, но, может быть, роднее родного.

Перед приходом поезда из вокзала вышло несколько человек проводить маленькую закутанную женщину, одновременно говорили прощаясь: «Не забывайте нас, Инна Георгиевна... непременно напишите», и Сергей Андреевич узнал позднее, что это актеры городского театра провожали славную актрису Левкоеву, уходившую на покой, чтобы после сорока лет служения театру встретить тишину своей жизни в Доме ветеранов сцены.

Метель посветлела, два огня тепловоза слепо наливали белизной секущую снегом мглу.

— Ну, прощай, Митенька, — сказал Сергей Андреевич. — Жаль, сына твоего не повидал, теперь когда еще выберусь.

Сергей Андреевич, хотя по возрасту мог уже выйти на пенсию, продолжал и поныне работать главным хирургом в одной из московских больниц, год назад вышел его большой труд, написанный на опыте войны под названием «Руками хирурга», а той, с которой они вместе взяли сначала на воспитание мальчика, а потом и усыновили его,— той уже восемь лет не было, и теперь больница и все связанное с ней восполнили одиночество его жизни.

— Прошу тебя, папа, и Аня очень просит, береги себя, не переутомляйся, ты сам должен понимать, что значишь для нас, — сказал Дмитрий, прощаясь с ним в коридоре вагона.

— Ладно, буду стеречься, Митяй,— отозвался Сергей Андреевич небрежно, давно уже позабыв думать о самом себе.

И вот поезд уже шел, за окном неслась степная метель, в которой огня не увидишь и голоса не услышишь, вагон начало постепенно раскачивать, и так не вовремя все получилось, в двенадцать часов наступит Новый год, странный путевой год, а встретить его с сыном не оставалось времени, третьего января нужно с утра быть в больнице, и Сергей Андреевич одиноко сидел у окна в купе, без спутников, да и весь вагон был почти пустой, только в соседнем купе ехала актриса Левкоева, имя которой назвал ему сын, да еще в крайнем купе возле отделения проводниц жались, немного растерянные и притихшие, двое молодоженов.

А поезд шел и шел, только час спустя несущаяся муть осветилась расплывшимися огнями какой-то станции, которую прошли без остановки, и секущая снегом мгла снова сомкнулась за окном.

Проводница, проходя по коридору вагона, заглянула в купе, где в полутьме, глядя в непроглядное окно, сидел пассажир, сказала сочувственно:

— Что же вы так — в новогоднюю ночь подгадали?

— Так вышло, — ответил Сергей Андреевич. — Вместе с вами встречу Новый год.

— Какой для нас Новый год, всегда в пути.— Проводница еще постояла в дверях, сказала: — Что же, давайте встретим, чайком угощу, а шампанского, извините, нет.

— Отчего же — нет? Сын дал мне на дорогу бутылку.

И Сергей Андреевич неожиданно для самого себя, менее всего словоохотливый, рассказал проводнице, что приехал к большому событию в жизни сына, родился внук, однако так получилось, что ни жены сына, ни внука он не смог повидать, рассчитывал и в Москву вернуться самолетом, но в ожидании погоды пришлось бы, наверно, не один день потерять.

— Поездом вернее,— сказала проводница, видимо, довольная за свое надежное ведомство.

Сергей Андреевич посидел еще у окна, потом вышел в коридор пустого вагона, который, казалось, из-за его пустоты особенно раскачивало, на площадке и вовсе

раскачивало, дребезжало и визжало, по временам, наверно, раздавливая не одну снежную ведьму, бросавшуюся под колеса.

А проходя обратно, Сергей Андреевич задержался возле открытой двери купе, в котором одиноко и как бы несколько потерянно сидела актриса, только что простившаяся со сценой, и, должно быть, так грустно это, а покой — что ж... покой, по слову поэта, нам только снится.

— Подгадали мы с вами встретить новогоднюю ночь в поезде,— сказал он, как сказала ему только что проводница.

— Звали меня наши актеры встретить вместе с ними Новый год, да ведь — что ж...

А что ж — означало, что хоть и уважают старость, и почтительны к ней, но старость есть старость, становишься глуховатой и подслеповатой, сидишь безучастно, а вокруг веселые молодые голоса, и пусть и приложится кто-нибудь к щеке или поцелует руку, но больше для утешения, чтобы уж не так одиноко чувствовал себя человек на своем острове старости.

Левкоева не сказала этого, лишь думала так, Сергей Андреевич представился, и актриса обрадовалась, что не совсем одна в пустом вагоне, а рядом спутник, к тому же врач, благородная, уважаемая профессия.

— Вы в нашем театре никогда не бывали? — спросила она.

Но это значило: вы на сцене меня не видели?

— Нет, где же... я в вашем городе в первый раз побывал. А мой сын видел вас, сказал — хорошая актриса.

— Подумать! — Но Левкоевой, видимо, было все же приятно это, хотя и позднее, признание.— Вы где же в Москве работаете?

— В одной из больниц на Пироговской.

— А моим приютом теперь станет Измайлово... говорят, это хороший район, я не москвичка.

— Хороший район,— подтвердил Сергей Андреевич.— Парк, зимой полно лыжников.

— Случайно Дом ВТО не знаете?

— Бывать в нем не бывал, но слышал — отличный дом.

— Да вы присаживайтесь.

Он присел на диван напротив, и актриса только теперь разглядела его, высокого, несколько сурового на вид, с энергическим, еще свежим лицом, с глубокими складками по бокам крупного носа, а два белых дымка над ушами не старили, а как бы оттеняли моложавость. Разглядел и он актрису с ее серыми, не утратившими женственной мягкости глазами, с благородно красивым лицом стареющей женщины, однако еще подтянутой, еще не позволяющей распорядиться опустошению.

— Ваше имя? — осведомился он.

— Инна Георгиевна.

— А меня зовут Сергей Андреевич.

— В театрах бываете все-таки?

— Редко,— признался он.— Один не пойдешь, а идти не с кем. Правда, есть у меня спутница — хирургия, но она что-то туговата насчет театров.

— Зато надежная спутница.

— Это конечно.

И они поговорили еще о театре и о хирургии, поговорили и о том, что человеческая жизнь походит на эту неразбериху — и не поймешь, что несется за окном: метель, или ночь, или сама Сибирь несется... А Москва будет только послезавтра утром, это тысяча и еще одна тысяча километров.

А позже Сергей Андреевич рассказал и о том, зачем приезжал к сыну.

— Внук — это хорошо... я от внука тоже не отказалась бы,— сказала Левкоева.

Сергей Андреевич не пояснил, что внук не прямой, но для танкиста Ефремова был бы прямым, однако, по ходу жизни, прямой и для него, хирурга Сергея Андреевича Шевелева.

— У моего сына хорошая жена,— сказал он зачем-то, и тут же ушел в сторону, вспомнив встревоженную неопределенность в голосе главного врача, с которым побеседовал в родильном доме...

— Начинаешь верить в карты,— сказала Левкоева. — Вчера раскладывала пасьянс, вышла дальняя дорога и неожиданная встреча с брюнетом.

— Если имеете в виду меня, то на брюнета я не похож.

— Но ведь были, наверное, брюнетом когда-то?

— Шантретом. По окраске подходит к пегой лошади.

— Прелестно... шантрет — это прелестно, — по-актерски сказала Левкоева и еще больше расположилась к предвещанному спутнику.— Как жизнь все-таки богата! — вздохнула она.— По совести, села в поезд с такой тоской в душе. Я ведь сознательно отказалась встретить Новый год с нашими актерами. Пусть веселятся, а ублажать меня нечего. Вы «Гедду Габлер» никогда не видели на сцене? — спросила она вдруг.— Я и Ларису в «Бесприданнице», и Нору играла, но «Кукольный дом» видели, надеюсь?

Сергей Андреевич «Кукольного дома» не видел, однако сказал:

— Разумеется.

А что разумеется? Только то, что всегда в обрез было со временем, да и жена болела, по вечерам больше сидели дома, а телевизора он не любил...

— И Ирину в «Трех сестрах» я играла,— сказала Левкоева мечтательно.— В последние годы, конечно, несколько на другие роли перешла.

Под вагоном начало скрежетать, теперь уже целый хор снежных ведьм поднял визг, перрон ночной станции надвинулся за окном, и Сергей Андреевич, подняв воротник пиджака и прикрывая горло рукой, прошел на площадку вагона, а проводница, кутаясь в пуховый платок, стояла внизу, у ступеньки, и сколько таких ночных городов уже прошло перед ней...

— Шимановская,— сказала она, поднялась по ступенькам, а на циферблате вокзальных часов, поплывших назад, Сергей Андреевич успел углядеть, что четверть двенадцатого и через три четверти часа Новый год.

— Знаете, что предложу вам? — сказал он, вернувшись к двери купе актрисы.— Давайте, раз уж судьба свела нас, встретим вместе Новый год... в вагоне, я узнал, едут еще молодожены, пригласим их, пригласим проводницу — и Новый год в пути, в метель, в стужу,— будет что вспомнить. Сын сунул мне в чемодан бутылку шампанского, так что и выпьем по всем правилам.

И актриса, привыкшая к переменам декораций, сценам, встречам, к королям треф или королям бубен, какие посулят карты, оживилась, а вернувшись в ее купе с бутылкой шампанского и еще кое с чем, что сын нада-

вал на дорогу, он заметил, что актриса уже подобралась, попудрилась, привычно тронула губы карандашом, как-то сразу помолодела, вернулась из предстоявшего Измайлова на сцену, и в купе тонко и свеже пахло хорошими духами.

Сергей Андреевич прошел по коридору, под которым монотонно гудели колеса, к крайнему купе, сказал молодоженам, таким смирным и тихим, таким переполненным своим счастьем:

— Идемте встречать Новый год... осталось всего полчаса, успеем познакомиться. Идемте, молодые люди, идемте, молодожены! Конечно, общество стариков не для вас, но в пути можно перетерпеть.

И за те полчаса, которые остались до Нового года, Левкоева и он познакомились с Игорем Васенцовым и его женой Лизой, теперь уже четыре дня тоже Васенцовой. Четыре дня назад они расписались в загсе, оба студенты Московского педагогического института иностранных языков, оба будущие переводчики, теперь в Москве их ждет мать Игоря, знает о жене сына только из его письма да еще по фотографической карточке, прислала телеграмму: «Родные мои дети целую благословляю жду сердцем душой вами», взволнованная, любящая мать, а отца у Игоря нет, и Сергей Андреевич ничего не спросил о нем: может быть, замело такой же сибирской метелью. , .

Проводница принесла стаканы и тарелки, и Левкоева сказала ей:

— Встретьте и вы с нами Новый год, милая... мы люди — ничего.

И вправду, были все они люди — ничего, и врач Шевелев, старый хирург, и актриса Левкоева, некогда игравшая молодые, сильные роли, и Игорь и Лиза Васенцовы, сразу повеселевшие, когда их позвали из полутемного купе. В тот день, когда они расписались в загсе, было шумно и весело, хотя и немного грустно, что через день они уедут в Москву, а мать Лизы, бухгалтер городского банка, останется теперь уже надолго одна и впереди, может быть, годы разлуки.

Мать и две двоюродные сестры провожали на вокзале, и когда поезд тронулся и как бы заносимая снегом мать осталась на перроне, Лиза заплакала, а потом, в

купе, уже всхлипывала, и молодой муж гладил ее руку и говорил:

— Ну, что ты, Лизонька... ведь не на век распрощалась, приедешь к маме или она приедет к нам, у нас с тобой все только впереди.

Но он думал при этом о своей матери, которой не было в тот день, когда она так нужна была ему... а телеграмма — что ж, телеграмма — это только телеграмма.

— У меня тоже двое — сын и дочь,— сказала проводница, стоя в дверях.

А Левкоева с привычной сноровкой уже успела накрыть цветной салфеткой столик и два поставленных на ребро чемодана, молодожены принесли с собой курицу, которую мать сварила перед их отъездом, и еще через несколько минут, немного выждав, можно было выстрелить пробкой, оставшейся в багажной сетке.

— С Новым годом, плавающие и путешествующие! — сказал Сергей Андреевич.— Новый год встречают тысячи людей, но такой Новый год, как у нас с вами, мало кому выпал. А тем более для вас, молодые люди... в первый раз, наверно, встречаете Новый год вместе и притом в пути? Однако почему все-таки вы не остались встретить его с вашими близкими?

— Нас ждет моя мать,— сказал Игорь Васенцов, и Сергей Андреевич и Левкоева поняли его.

— Тогда за ваших матерей! — сказал Сергей Андреевич. — И за ваших детей! — сказал он еще проводнице.

Пить на дежурстве нельзя даже в новогоднюю ночь, и она отпила лишь глоточек, сказала:

— Спасибо. Теперь Ушум скоро, четырнадцать минут стоять будем. С Новым годом, с новым счастьем всех вас!

Она ушла в свое отделение, почтительно простились затем и Игорь Васенцов со своей молодой женой, поднялся было и Сергей Андреевич, но Левкоева задержала его:

— Побудьте еще немного, Сергей Андреевич... выпьешь шампанского, и полезут разные мысли в голову... Вы представляете себе, что могли бы когда-нибудь отложить навсегда в сторону ваши хирургические инструменты? Если можете представить себе это, тогда поймете меня.

— Я и сейчас понимаю.

— А если понимаете...— и ее женственно мягкие, серые глаза стали влажными.

— Приятно все-таки, что мы с вами вместе встретили Новый год,— сказал он, сделав вид, что ничего не заметил.— А сыну я напишу, как пригодилась его бутылка, тайком подсунул, сердце сына тоже не найдешь на дороге. Вы, люди искусства, Инна Георгиевна, счастливые люди, искусство вне времени... а что ушло — не будем сожалеть об этом. Примем от жизни то, что она дает, и вот эту новогоднюю ночь все-таки дала нам. Столько встретишь другой раз, что сам дивишься, как способен еще радоваться жизни.

— Хирург, а романтик. Мне все-таки чертовски повезло... готовилась прохныкать сама с собой в новогоднюю ночь,— сказала Левкоева с той полуулыбкой, с какой ее сняли однажды, и в фойе театра висела ее большая фотография с этой полуулыбкой...

Вторая проводница, спавшая на верхней полке, проснулась, дежурившая сказала ей:

— Спусти ноги, Люба.

Та, расправляя онемевшие плечи, спустила ноги в шерстяных чулках и, перегнувшись вниз, спросила:

— Ты что?

— Новый год, вот что... тебе еще три часа спать. Выпей.

Она протянула ей свой стакан с шампанским, и проводница удивленно спросила:

— Откуда?

— С крыши упало. Пей.

— Ну, с Новым годом, Анастасия Петровна, с новым счастьем вас!

— А теперь снова ложись. Разбужу в свое время.

И проводница, еще дважды расправив плечи и дважды сладко зевнув, легла на бок и снова уснула.

А та, которую звали Анастасией Петровной, пошла оглядеть свои владения. Двери занятых купе были закрыты, шло уже первое января нового года, и вагоны были белые от снега и инея, когда поезд подошел к станции Ушум, постоял четырнадцать минут, а дежурный по станции не взглянул на завешенные окна вагонов, лишь стоял, глядя перед собой, думал, может быть, о том, что с дежурством всегда получается в ново-

годнюю ночь, когда все кругом празднуют и поздравляют друг друга. . .

Поезд тронулся бесшумно, проводница вернулась в свое отделение, села в угол дивана, сыну она везла теплые башмаки, которые купила в Иркутске, а дочери хорошую хозяйственную сумку на «молнии», теперь после рейса два дня отдыха, но столько нужно сделать по хозяйству, что и не заметишь его, и третьего января снова в путь.

А когда она стелила в купе актрисы, та, немножко размягченная шампанским, сказала:

— Возьмите на память о нашем с вами Новом годе,— и подарила брошечку, нехитрую, правда, в виде зеленоватого жучка, но все-таки память о тех, кого везла она, проводница Анастасия Петровна, в новогоднюю ночь. . .

И хотя уже многих возила она в своем вагоне, однако завяжет иногда жизнь узелок, и лишний раз задумаешься над тем, сколько встретишь в пути-дороженьке хороших людей, и у каждого свое, нужно только суметь поглубже заглянуть в это свое.

ЯРАНСК ДАЛЕКО

Жена с дочерью отдыхали в Прибалтике, куда и он, Ельчанинов, собирался поехать в свой отпуск, чтобы к началу сентября всем вместе вернуться домой. Они уже три года подряд снимали в Дзинтари две комнаты с террасой в домике на самом берегу моря, и Балтика то шумно, то в пепельной тишине встречала их.

Дочь Люба перешла в третий класс, и жена с ней сразу же уехали, как только начались каникулы. А он, инженер на одном из участков строительно-монтажного управления, именуемого для краткости СМУ, остался строить свой объект, большой жилой дом в новом районе, и пошло то холостяцкое житье, когда, вернувшись с работы, сам себе готовишь, идти никуда не хочется, на балконе цветет ипомея, проведешь вечер с газетами или книгой в руках, посмотришь телевизор, а в восемь утра мутно-зеленый служебный вездеход уже ждет у подъезда.

Незадолго до своего отпуска, вернувшись в один из жарких вечеров, он достал из почтового ящика в подъезде вместе с вечерней газетой письмо, прочел на конверте неизвестное ему имя отправителя — Святловская, поднявшись, принял душ и с полчасика полежал на диване, потом сел на балконе прочесть письмо и газету.

«Пишет незнакомая вам Нина Михайловна Святловская. Я пыталась позвонить по телефону, но у вас никто не отвечает, а пишу вам вот по какому поводу. Третьего дня скончалась в больнице от сердечной недостаточности Наталья Алексеевна Ельчанинова, с которой я жила вместе, в одной квартире. Наталья Алексеевна поручила мне в случае чего найти вас и передать ее последнюю просьбу. Распространяться в письме не буду, а вас очень прошу известить меня по телефону, где и когда мы можем увидеться».

Далее Святловская сообщала свой номер телефона, сообщала также, что она почти всегда дома и он застанет ее.

И то, что давно грустно ушло, а вернее, не ушло, а прошло стороной, с глубокой душевной болью напомнило о себе.

У отца, когда он вторично женился, была дочь от первого брака, приходившаяся ему, Дмитрию Алексеевичу Ельчанинову, сводной сестрой, но виделись они редко, а после смерти отца и совсем ушла в сторону его дочь, никогда не напоминала о себе, и Ельчанинов знал лишь, что эта приходившаяся ему все-таки сестрой Наташа вышла замуж, но, кажется, неудачно, что у нее дочь, а работала Наташа в каком-то учреждении не то машинисткой, не то стенографисткой. Правда, она побывала у него как-то в день его рождения, принесла три гвоздички, поздравила, робко назвав его полным именем — Дмитрий Алексеевич, он поблагодарил ее, спросил только: «Ну как же ты живешь, Наташа?» — она ответила коротко: «Живу»,— и можно было понять, что человек, ответивший так, не очень-то хорошо живет.

Сейчас, когда он узнал о смерти этой отдалившейся сестры, какая-то едкая горечь подступила вдруг к сердцу: отцу, наверно, была дорога его дочь, мало ли какие ошибки случаются в жизни, дочь, однако, остается дочерью, и в свое время следовало глубже прочувствовать это.

Но после смерти отца он, тогда еще Митя Ельчанинов, вскоре женился, родилась дочь и у него, и пошла своя жизнь с ее заботами.

И, сидя на балконе с письмом в руке, а в голубых колокольчиках ипомеи копошились какие-то жучки или мелкие осы, он испытал такую сердечную боль, что сразу же вернулся в комнату, набрал номер телефона Святловской, сказал, что только немного отдохнет после рабочего дня и приедет к ней.

В девятом часу вечера, еще полного июльского света, он нашел дом и нужную ему квартиру на Большой Грузинской улице.

Святловская, в очках, открыла ему дверь, едва он позвонил.

— Как же получилось так,— спросил он, когда она провела его в опустевшую комнату сестры, где на маленьком рабочем столе стояла фотография отца,— как же так получилось с Наташей... с Натальей Алексеевной?

И то, что у него с сестрой было общее отчество, еще больше напомнило о его виноватости перед ней.

— У Натальи Алексеевны давно было плохо с сердцем... обычно неотложка ее пользовала, а три дня назад пришлось вызывать «скорую помощь», но уже нельзя было помочь.

Нина Михайловна Святловская работала прежде в киоске «Мосгорсправки» и, наверно, научилась понимать тех, кто нередко с тревогой выжидал справки у ее окошечка.

— А теперь о главном, Дмитрий Алексеевич,— сказала она.— У Натальи Алексеевны осталась дочь, сейчас она в пионерлагере, и я сомневалась, нужно ли привезти ее, а потом решила, пусть лучше позднее узнает, мне казалось, так будет правильней. Я несколько раз звонила вам по телефону, но не заставала, а дать телеграмму было уже поздно. У Натальи Алексеевны есть тетя, сестра ее матери, живет в Яранске, не знаю даже, где находится Яранск?

Но и он тоже не знал.

— Наталья Алексеевна завещала, чтобы я от ее имени попросила вас помочь девочке уехать в Яранск... правда, она говорила, что тетя уже давно на пенсии, ей трудно будет принять Надю, но другого выхода нет и

вот передаю вам эту последнюю просьбу Натальи Алексеевны. А имя тети и ее адрес,— и Святловская протянула записку с именем Алевтины Мефодьевны Линевой и с ее адресом в Яранске, где та прежде служила приемщицей на заводе по льнообработке.— Надю нужно будет отправить после окончания ее пребывания в пионерлагере... тетя ее встретит, я уже написала ей письмо. Вот как трудно получилось все, Дмитрий Алексеевич!

И то, о чем он не думал никогда, требовательно, уже испытующе подступило. Он не сказал, что первого августа собирается в отпуск, поедет к семье в Прибалтику, не сказал и то, что нельзя было жить в таком отдалении от сестры, хотя и сводной, и совесть с опозданием напоминает теперь о его ошибке.

— А можно повидать дочь Натальи Алексеевны? — спросил он, однако неуверенно.

— Надя под Москвой, только сорок минут поездом.

— Может быть, привезете ее? В субботу я целый день свободен.

— Не знаю, отпустят ли, но попробую. Надя тихая девочка, и так мне больно за нее, но только, Дмитрий Алексеевич, я насчет матери ничего не скажу ей... лучше вы сами скажите.

И еще одно, трудное и неожиданное, возникло перед ним.

— В субботу я съезжу за ней... если ее отпустят, то сейчас же, как приедем, позвоню вам.

Он хотел было сказать, чтобы она привезла девочку прямо к нему, где также стоит на столе фотография ее деда, но что-то удержало его, схожее с тем, что разделяло его в отношениях с сестрой...

Святловская в субботу позвонила ему, сказала, что девочку отпустили на один день, и он, душевно томясь, поехал на Большую Грузинскую улицу.

— Ну вот и Дмитрий Алексеевич,— сказала Святловская.

И он заглянул в печальное, как-то по-взрослому покорное лицо девочки.

— Поздненько мы с тобой знакомимся... я как-никак твой дядя.

— Здравствуйте,— сказала девочка, но так тихо, что он лишь по движению ее губ понял.

— Видишь, как все получилось, Наденька,— сказал он позднее, когда Святловская ушла к себе, а они с девочкой сидели в той комнате, которая навсегда опустела без матери, и теперь предстояло сказать то, что Святловская не решалась взять на себя.— Твоя мама тяжело заболела. . . наверно, не скоро вернется.

— Мама умерла? — спросила девочка с такой застывшей скорбью, что он даже поморщился от сердечной боли.— Мама всегда говорила, что на ее сердце нельзя надеяться.

— Тебе сколько лет сейчас, Наденька? — спросил он, ничего не ответив.

— Десять. . . я перешла в четвертый класс.

— С твоей мамой плохо,— сказал он, помолчав.— Сердце у нее и вправду оказалось никуда, и нам с тобой нужно обсудить кое-что.

Она сидела рядом с ним на диване, как бы вся стиснутая в скорби, и он поразился сдержанности этого маленького существа. . . она даже не заплакала, когда поняла, что матери, наверно, уже нет.

— Мы с тобой, конечно, поздно познакомились, Надя,— сказал он больше самому себе,— но теперь-то уж будем знать друг друга. . .

Девочка быстро взглянула на него, ее удлиненное, затвердевшее лицо было бледным, словно она пробыла где-то взаперти, а не вернулась из пионерского лагеря, и Ельчанинов по какой-то внутренней связи подумал о том, что у его дочери счастливое детство, а у этой было ли когда-нибудь? Конечно, он поможет ей уехать в Яранск, спишется со старой, может быть, больной женщиной, которой непосильна лишняя обуза, а дальше как?

— Ты знаешь, что у тебя есть тетя Алевтина Мефодьевна? — спросил он.

— Да. . . мама всегда говорила, что, если ей будет трудно со мной, она отправит меня к ней. Но я не хочу ехать к ней, у меня хорошие подружки в школе.

Только теперь губы девочки задрожали, она заплакала, сидела, низко опустив голову, и Ельчанинов гладил ее по мокрым щекам. Он уже не мог отнестись к случившемуся как к неожиданной, неприятной задержке перед своим отпуском, а жена и дочь ждут его, дочь

даже высчитала дни, написала в последнем письме: «Через двенадцать дней ты приедешь, папочка, встретим с мамой на вокзале в Риге».

— Не будем далеко загадывать, Надя.., до осени еще целый месяц, потом посмотрим.

— Я в лагерь больше не поеду, там всем весело и разные походы. А я в походы не хожу, у меня нет настроения ходить в походы,— сказала она с такой горечью, что Ельчанинов снова подумал — было ли у нее когда-нибудь детство?

И откуда-то из глубины, которую он не подозревал в себе, поднялось не только едкое по жалости, но и утешительное, как бы сразу разрешившее многое... Что, если взять девочку с собой, рассказать жене, как грустно получилось с его сестрой, рассказать и о том, что испытывал он, гладя мокрые щеки девочки? А Яранск, Вера, милая, так далеко, я поискал на карте, где-то на притоке Пижмы, и вот подумал — пусть сначала отойдет немного от горя, подружится с Любой, они почти однолетки, узнает хоть капельку радости... ты, Вера, сама мать, не можешь не понять этого.

И она поймет, жена, она поймет.

— Надя не хочет возвращаться в лагерь,— сказал он Святловской, когда та зашла.— И вот какая возникла у меня мысль: моя жена с дочерью отдыхают сейчас в Прибалтике, у нас две комнаты с застекленной террасой, собираюсь и я поехать на днях туда. Что, если бы я захватил тебя с собой, Надя? — спросил он девочку.— Познакомилась бы с моей дочкой, до осени пожила бы с нами, а там видно будет.

— У моря хорошо бы пожить,— сказала Святловская.

Но девочка молчала, думала, может быть, только о том, что матери больше нет, теперь предстоит жить где-то в далеком городе, а мать однажды сказала: «Одинокие мы с тобой, Надя... такие одинокие!», брата при этом не вспомнила, а им обеим нужен был всего закуток в его сердце...

Но об этом подумал лишь он, Ельчанинов.

— Ну как, поедешь со мной, Надя? Куплю тебе купальные трусики, будешь купаться с моей дочкой, в августе еще тепло.

— Вчера в программе «Время» передавали — в Прибалтике двадцать шесть градусов,— сказала Святловская.

И как за несколько дней пристрастно и с укоризной для совести пришлось осознать то, что упустил он когда-то, так тоже пристрастно и с напоминанием совести хотел он, пусть с опозданием, поправить прошлую ошибку...

Нина Михайловна приготовила все к отъезду, три дня спустя проводила их на Рижском вокзале, сказала напоследок:

— Если как-нибудь не так получится, дайте телеграмму, я встречу Надю,— имея в виду, наверно, как отнесется к девочке его жена.

Но он уверенно ответил:

— Все будет хорошо.

И вот остались они вдвоем в купе поезда, пошел назад перрон с махавшей вслед Ниной Михайловной, за окном сначала были улицы города, потом спящие составы на запасных путях, потом леса, и где-то позади остались и первое горе, и страх перед жизнью, и все то, что выпало узнать десятилетней потрясенной душе...

Проводница принесла вскоре стаканы с чаем в больших, тяжелых подстаканниках, на столике лежала пачка печенья, а мимо волшебно неслись поля, иногда поезд с грохотом проскакивал мост через речку, а в лодке удили рыбу рыболовы.

«Все правильно,— сказал самому себе Ельчанинов,— все правильно».

Может быть, правильно будет еще и другое: в Москве уж приглядят они с женой за девочкой, да и Святловская приглядит, станет по воскресеньям приводить ее, а то и в будни иногда, будут девочки сообща решать задачки по математике... и эти мысли тоже пробегали мимо, как деревья за окном. А Алевтине Мефодьевне Линевой нужно будет написать, что по общем размышлении сочли более благоразумным, чтобы Надя продолжала учиться в той школе, к которой привыкла и где у нее подружки, а детская жизнь стеклянная по хрупкости...

— Поищешь с Любой янтарь... Балтийское море часто выбрасывает на берег янтарь, особенно после

шторма,— сказал Ельчанинов.— Найдете два кусочка мне на запонки, одна запонка будет твоя, а другая моей дочки.

— Дядя Митя, я не помешаю вам,— сказала девочка вдруг, впервые решившись назвать его так.— Я и по хозяйству умею... меня мама научила немного готовить.

— Вот и отлично... сваришь мне суп с фрикадельками или, например, суп бумбунду. Ты умеешь варить такой суп?

— Нет,— сказала она виновато.

— Отличный суп... немножко риса, немножко морковки, немножко слонятины.

И он увидел, что уголки ее скорбно поджатых губ поползли в улыбке.

За окном был уже вечер, проскакивали по временам огни проносящихся станций, а завтра к полудню поедут с вокзала к морю, и оно откроется перед ними в своей серой и голубой широте, может быть, еще в тихом, летнем покое, может быть, и в рядах косо набегающих волн, а Яранск — далеко, незачем и думать о нем.

ПРОЛИВНОЙ ДОЖДЬ

С вечера только посеяло, а ночью сначала застучало по крыше, потом ровно зашумело на ней, пошел проливной дождь поздней осени, и когда Лидия Дмитриевна сошла под вечер на станции, все кругом было залито такой печалью, что казалось, до самой весны затянуто небо, пока с обложным дождем, а затем и с мокрым снегом предзимья...

Два раза в неделю в конце своего рабочего врачебного дня Лидия Дмитриевна ездила в подмосковный поселок, к матери, где та жила в старом, построенном еще отцом домике. Мать, бывшая учительница средней школы, после перенесенной глазной операции вышла на пенсию, и всегда было горько наблюдать, как она движется по дому и все же хозяйствует, а зрачки за стеклами очков расширены во весь глаз...

Лидия Дмитриевна привозила матери продукты, в магазинах после работы всегда было много покупателей, и осенью, пока доберешься до этого Красова, да и поезда стали ходить реже, иногда уже и совсем темнота.

В Москве она успела сесть в поезд перед самым отправлением, в последний вагон, вышла теперь на станции в конце темно блистающей дождем платформы, и по раскрытому зонту в руке стал сразу бить дождь, словно только набравший силу к вечеру.

Она шла, чуть выставив зонт впереди себя, чтобы его не вывернуло ветром, в другой руке несла сумку с продуктами, и темная, во всем своем унынии, осень двинулась ей навстречу. В той части платформы, которая была под крышей вместе с окошечком кассы, Лидия Дмитриевна увидела сжавшуюся в углу на скамейке какую-то жалкую, совсем несчастную фигуру девочки. Девочка сидела, сцепив маленькие синие руки, в мокрой шерстяной кофтенке и — страшнее всего — в босоножках, из которых видны были кончики облепленных мокрыми носками ног. Что-то столь покинутое, столь обреченное показалось в этой девочке, что Лидия Дмитриевна, пройдя сначала мимо, вернулась к ней.

— Что такое приключилось, девочка? — спросила она участливо, присаживаясь рядом с ней на скамейку.— Ты кого-нибудь ждешь?

Девочка покачала головой.

— Тогда почему ты сидишь здесь, да еще с мокрыми ногами? Простудишься.

Лидия Дмитриевна работала в детской поликлинике и по своему опыту врача, да и по глубокому женскому чувству всегда обостренно ощущала то или иное неблагополучие в детской судьбе. И бывало не раз, что ребенка приводили в поликлинику не мать или отец, а бабушка, извечная страдалица при всяческих семейных неполадках.

— Так почему же все-таки ты сидишь здесь, миленькая? — спросила Лидия Дмитриевна, наклоняясь над девочкой и заглядывая в ее глаза, полные такой тоски и страха, что даже как-то стиснуло сердце от жалости.— Почему же ты сидишь здесь? — повторила она.— Можешь говорить со мной откровенно, я врач, я не обижу тебя.

Девочка молчала, смотрела перед собой, смотрела в свою маленькую жизнь, в которой случилось что-то, и Лидия Дмитриевна чувствовала это.

— Пойдем... я провожу тебя домой,— сказала она.

Но девочка с отчаянием замотала головой и даже чуть отодвинулась, как бы опасаясь, что ее силой заставят вернуться домой.

— Я домой не пойду,— сказала она наконец.

— Но почему же все-таки? Что у тебя случилось дома?

Лидия Дмитриевна расцепила холодные, мокрые руки девочки и подержала, согревая в своих руках.

— Меня Клавдия Афанасьевна выгнала... сказала: «Иди, и чтобы духу твоего не было!»

— Кто это Клавдия Афанасьевна?

— Жена папы... когда моя мама умерла, папа снова женился.

— За что же она выгнала тебя?

— Ни за что. Просто выгнала.

Лидия Дмитриевна подержала еще в своих руках руки девочки.

— Знаешь что,— задумалась она,— пойдем со мной к моей маме, она добрая... это недалеко, на улице Пушкина. Переобуешься, кстати, а то еще воспаление легких схватишь. Пойдем, не бойся меня... я таких, как ты, скольких лечила!

И девочка то ли доверилась ей, то ли было страшно остаться здесь в надвигавшейся осенней ночи, она пошла с ней, а Лидия Дмитриевна, ведя ее за маленькую холодную руку, еще не представляла себе, что делать дальше.

— Как же все-таки твой отец позволяет обижать тебя?

— Папа Клавдии Афанасьевны сам боится, он даже плакал раз, я видела. Что же делать, такая судьба вышла,— повторила она, должно быть, отцовские слова.

Мать, Антонина Алексеевна Швецова, много лет преподававшая литературу, по опыту старого учителя хорошо научилась понимать, да и принимать близко к сердцу судьбу тех, кого знала еще семилетними, а многие ее бывшие ученицы уже давно были замужними женщинами.

— Это кто же? — спросила она, слепо вглядываясь в девочку.

— Все расскажем, мама... а пока нам нужно переодеться, такой проливной дождь!

Лидия Дмитриевна зажгла газ, налила вскоре в тазик теплой воды, девочка сняла свои босоножки и мокрые чулки, опустила ноги в тазик и, наверно, подумала в эту минуту о том, что еще не все на свете потеряно...

Мать стала доставать из комода теплые чулки, и Лидия Дмитриевна, следя, как мать нащупывает в ящике, сказала с горечью:

— Всегда так боюсь за тебя, мама... это просто ужасно, что мы с тобой живем врозь. И очки тебе уже мало помогают.

— Я пальцами вижу,— ответила Антонина Алексеевна,— у меня теперь на каждом пальце по глазу.

И девочка поверила, наверно, и в эту добрую старушку, которая обмывала в тазике своими видящими пальцами ее застывшие ноги, потом насухо обтерла их, натянула теплые чулки, правда, слишком большие, но зато ноги стали быстро согреваться в них. Стол в ожидании дочери стоял уже накрытый, среда и суббота, когда приезжала дочь, всегда были праздничными, и мать ждала этих праздников. А муж дочери тоже был врачом, работал в «скорой помощи», детей у них не было, и у Антонины Алексеевны не было внуков...

Лидия Дмитриевна обычно оставалась ночевать, готовила обед на два дня и утром, уезжая и целуя мать на прощанье, неизменно говорила:

— Будь только поосторожнее, мама!

А мать, выйдя на крыльцо, смотрела, ничего не видя, ей вслед, но все же смотрела.

— Съешь горячего супу,— сказала Лидия Дмитриевна девочке,— согрейся.

И хотя нельзя было еще поверить тому, что станция с голо блистающим асфальтом перрона осталась где-то в темноте вечера, а две добрые женщины кормят бульоном и биточками, однако девочка уже верила им, и можно было рассказать, как опустел без матери дом, а год спустя отец привел рослую, с несколько мужским голосом женщину, сказал: «Знакомьтесь»,— и женщина как-то неодобрительно посмотрела на нее, Нюру: может

быть, она не понравилась ей своей убитостью по матери, а может быть, не понравилась и тем, что отец потребует внимания к дочери, которая и не нужна ей вовсе...

— Знаете, что Клавдия Афанасьевна сказала: «Я с тобой не намерена цацкаться, не рассчитывай на это». А что такое — цацкаться?

— И охота тебе всякие глупые слова повторять,— огорчилась Антонина Алексеевна.

— Правда, правда, она сказала так. А папа, когда я пожаловалась, рассердился, сказал, что это моя мать теперь и я должна ее слушаться. Но я не хочу, чтобы она была моей матерью. А сегодня я хотела пойти к подружке готовить уроки, а Клавдия Афанасьевна закричала: «Никуда ты не пойдешь, вымой пол, совсем затоптала»,— но разве я одна затоптала? Она сама все время выходит на улицу, и я сказала, что пойду сначала готовить уроки, а пол не я одна затоптала, но она схватила меня за руку и вытолкнула, «чтобы и духу твоего не было».

И девочка рассказала еще, что когда мать умерла, отец начал пить, а Клавдия Афанасьевна отбирает у него деньги, и такая у них разладица пошла. Наверно, и это слово слышала она от отца, а потом и совсем ужаснула Лидию Дмитриевну недетской решимостью:

— Я домой больше не вернусь. Я к нашему завучу пойду, чтобы он меня в детский дом устроил.

И Лидия Дмитриевна решила сама зайти в школу, рассказать обо всем директору, но как быть пока с этой бездомной, отчаявшейся?

— Ты денек-другой можешь у нас провести, Нюрочка... у меня к тебе кстати просьба будет: моя мама плохо видит, поможешь ей немного, а там посмотрим, как с тобой получится,— сказала она.

Но девочка, сидя в просторной вязаной кофте Антонины Алексеевны, в ее чулках, в ее теплых тапочках, говорила оживленно, словно все несчастья были уже позади:

— Я знаете кем хочу после школы стать? Я хочу диких зверей для зоопарков отлавливать. Вы читали книгу «Переполненный ковчег»? Только для этого нуж-

но сначала Зоологический институт кончить, наша учительница, Вера Павловна, объяснила.

— Придумала еще — зверей отлавливать. Ты лучше хороших людей научись находить, а со зверями и без тебя управятся.

Однако фантазия девочки Антонине Алексеевне все же понравилась.

— Бабушка плохо видит, понадобится ей — поможешь газ зажечь, — наказала Лидия Дмитриевна. — А в понедельник в школу пойдешь, твой отец, наверно, явится искать тебя... скажешь ему тогда, что ты можешь пока у учительницы Антонины Алексеевны Швецовой побыть, бабушку в школе знают. Кстати, как зовут твоего отца?

— Кирилл Васильевич, а фамилия Прозоров. Он в ателье по ремонту телевизоров на станции Сосновка работает, а Клавдия Афанасьевна кассиршей в универмаге служит... я прежде заходила покупать тетрадки, а теперь и не захожу.

— Тетрадки я тебе привезу.

Но Лидия Дмитриевна думала о другом: что, если сойти с поезда в Сосновке, когда она снова поедет сюда, найти телевизионное ателье, отвести отца девочки в сторону, сказать ему:

— Ваша дочка находится у моей матери, старой учительницы, а я детский врач. Право, призадумаемся все же о судьбе вашей девочки, так жалко ее!

Но что ответит он, Кирилл Васильевич Прозоров? Может быть, возмущенно заявит, что никому не позволит вмешиваться в его жизнь, а может быть, сникнет, спросит:

— Что же мне делать... подскажите?

И она подскажет по всей совести и еще по тому, что так случайно на залитой дождем железнодорожной платформе во всей своей беззащитности проникло в ее сердце и глубоко осталось в нем...

Утром, еще затемно, Лидия Дмитриевна шла к станции, дождь широко носило ветром из стороны в сторону, но теперь, казалось, был он бессилен беспощадно залить собой чью-то судьбу.

ТАЯНИЕ СНЕГОВ

Сын женился, переехал к родителям жены, у которых была квартира в кооперативном доме на Воробьевском шоссе, и Петр Романович остался один. В сущности, все произошло так, как и должно быть по правилам жизни, по ее синтаксису, но оказалось все же, что существует и другой синтаксис — человек с его душой, с его сердцем и мыслями, нередко и горькими, хотя и не признаешься себе в этом.

Пока они с сыном жили вместе, шло вместе и их мужское хозяйство, оба по дороге покупали что-нибудь на обед, кухарничали, подвязавши фартуки, теперь все пошло иначе, но Петр Романович, как все самолюбивые, к тому же гордые люди, уверил себя, что с его трудом, размышлениями, книгами не может ослабеть полнота его жизни; но это именно и был тот неписаный синтаксис, который каждый раз по-новому создает жизнь.

Сын, правда, часто навещал его,— хороший, внимательный сын, ничего не скажешь,— навещал и вместе со своей женой, славной и оживленной Леночкой, сразу пришедшейся по душе Петру Романовичу. Но у сына с его женой была своя жизнь, сын стал биологом, не пошел по отцовской стезе — ботаника, возилась с белыми мышами и морскими свинками и Леночка в ее Институте вирусологии,— интересный, молодой мир, а его отцовский мир оставался старым, к тому же опустевшим, хотя Петр Романович и отстранял это.

Однако естественно, что молодое растет, а старое старится, одним время тлеть, другим цвести, и сколько еще придумано всевозможных сентенций, чтобы человек не тревожил себя лишними раздумьями, а подчинялся тому, что своим жестким дикторским голосом диктует жизнь.

— Мы с Леночкой все думаем, как бы облегчить тебе жизнь, папа, — сказал сын однажды. — Леночка предлагает приходить готовить тебе обед на два дня, поставишь в холодильник, остается разогреть.

— Только этого мне и не хватает! — усмехнулся Петр Романович. — Нет уж, Мишенька, живите, как по-

ложено, а я себя не обижу. Да и диетическая столовая в нашем институте отличная.

Петр Романович действительно обедал иногда в институтской столовой, однако предпочитал, вернувшись с работы, снять пиджак, надеть фартук, а суп из пакета или кашу сварить всего двадцать минут — и пожалуйте к столу.

В институте он бывал три раза в неделю, а в остальные дни работал дома или в библиотеке, и тогда письма или бумаги для подписи приносила Глафира Михайловна, которую, несмотря на ее немолодые годы, все по-прежнему звали Глашенькой, тихая и незаметная, однако всюду поспевающая, и лишь кое-кто из старых профессоров знал, что начала она с курьерши, став впоследствии частью жизни института. Она давно стала частью жизни и его, Петра Романовича, аккуратно выполняла все, что нужно, была всегда деликатно сдержанна и лишь однажды, придя по институтским делам, спросила:

— Помогает вам Михаил Петрович?

А сына она знала еще с его школьных лет.

— А как же, он хороший, Миша, и жена у него хорошая,— отозвался Петр Романович.

И получалось, что не обойден он в своей судьбе, профессор Петр Романович Шувалов, автор большого труда «Ботаника», живет полно, а правила жизни остаются правилами, и нужно подчиняться им, чтобы не потерять себя.

Как-то кассирша бухгалтерии института, распределявшая и билеты в театры, предложила билеты на «Чайку» Чехова. Петр Романович купил два билета для сына, но сын пойти в этот вечер не смог, и Петр Романович, когда пришла к нему с очередными делами Глафира Михайловна, спросил ее:

— У меня есть два билета на спектакль «Чайка», хотите пойти?

— С кем же я пойду? Не с кем мне идти,— грустно ответила она.

Он на минуту задумался.

— Признаться, «Чайки» и я не видел. А если бы нам вместе пойти?

Она взглянула на него и опустила глаза.

— Нет, Петр Романович, более подходящую спутницу найдите.

— Почему же вы — неподходящая? — даже несколько обиделся он за нее.— Мы с вами знаете сколько лет знакомы?

— Знаю,— ответила она с какой-то неожиданной твердостью,— двадцать пять лет. А когда я в институт поступила, мне всего двадцать один год был.

И он задумался на миг, что никогда не поинтересовался личной жизнью этой тихой женщины, сказал лишь:

— Вы ведь, несомненно, чувствуете, что я всегда душевно относился к вам. А двадцать пять лет — это много.

И он словно впервые увидел и ее утомленное, с родинкой над верхней губой лицо, и мягкий, ровный пробор в русых, чуть тронутых сединой волосах, и карие, как-то виновато взглянувшие на него глаза. . .

— Так как же — пойдем на «Чайку»?

— Не нужно нам вместе идти, Петр Романович. . . не хочу, чтобы о вас как-нибудь не так подумали. Вы дорогой мне человек, такой дорогой, что и не выразишь этого. Я ваше горе в свое время разделила, знаю, как тяжело вам со смертью Софьи Николаевны пришлось.

И словно совсем другая, не та, которую он знал столько лет, была сейчас перед ним со своим ни разу не заставившим его призадуматься миром. . .

— Спасибо, Глашенька,— сказал он.— Я никогда не сомневался в вас. Конечно, Мише я не говорю об этом. . . но когда мы жили с ним вместе, у меня все-таки был дом, а сейчас осталась только квартира. Мы с вами столько лет знаем друг друга, а в общем я прошел мимо вас! — сказал Петр Романович с неожиданной для самого себя горечью.

— Как же это — прошли мимо меня? Я вашим вниманием никогда не была обделена, а что на душе у другого — зачем это знать?

— А что на душе у другого? — все же спросил он.

— А то, что хоть и шли мы каждый своей дорогой, но сердцем я всегда была с вами. Конечно, по-разному образуется в жизни, но что — мое, то мое.

Она поднялась, словно спохватившись, что сказала лишнее.

— Куда же вы так сразу?

— Пойду... время ваше дорогое.

И хотя у жизни есть свой синтаксис, свои грамматические правила, нередко вторгнется то, что нарушает эти правила и заставляет многое продумать заново.

Был седьмой час вечера, сын, наверно, уже вернулся с работы, и Петр Романович позвонил ему по телефону, но подошла невестка.

— Миши еще нет. Приезжайте к нам обедать, Петр Романович, я хороший обед готовлю, а Миша вернется тем временем.

— Спасибо, Леночка, уже пообедал,— ответил он.— Сегодня у меня был омлет из черепашьих яиц.

— Правда, приезжайте, Петр Романович!

— Не смогу. Должен побыть вдвоем с одним человеком и пообсудить с ним кое-что.

Он не пояснил, что хочет побыть вдвоем с Петром Романовичем Шуваловым и именно с ним пообсудить кое-что.

— Ну и как? — спросил собеседник, когда они остались вдвоем.— Что приключилось с вами сегодня, Петр Романович? — просто задумался над тем, что нередко так невнимательно, так равнодушно проходим мы мимо людей!

Однако он не объяснил собеседнику, что вдруг распространилось то, чего опасался сын, распространилось одиночество и смяло самолюбивые мысли насчет полноты его жизни с омлетом из черепашьих яиц.

Михаил позвонил по телефону позднее, озабоченно спросил: не нужно ли чего-нибудь?

— Ничего не нужно, Мишенька... звонил только справиться, что у вас новенького. А сегодня я встретился с одной старой знакомой.

— Кто это? — поинтересовался сын.

— В нашем институте давно работает одна добрая душа, столько лет мы знаем друг друга и сегодня так хорошо разговорились.

Потом он с сыном поговорил еще о другом, а вечером, сидя за своим рабочим столом, Петр Романович смотрел перед собой, глубоко думал о чем-то и отдувался.

Через день, когда Глафира Михайловна пришла снова с бумагами, сказал ей:

— В прошлый раз не договорили мы с вами... побудьте сегодня подольше.

Она села по другую сторону его стола, и Петр Романович, листая принесенные ею бумаги, сказал еще:

— Двадцать пять лет — это так много... а что, в сущности, я знаю о вас, Глашенька? Только то, что вы необходимый институту человек.

— Что же вы хотите знать еще, Петр Романович? — и она с такой прямотой посмотрела ему в глаза, что он даже чуть смешался.— Всю правду хотите знать? Так вот, двадцать пять лет никто в целом свете не нужен был мне, кроме вас... но я это в себе несла. А после того, как Михаил Петрович женился, я все думаю: как же вы обходитесь теперь? Я одно время хотела с Михаилом Петровичем поговорить насчет вас, да поопасалась,— может быть, и не скажет прямо, но подумает: откуда еще эта взялась с ее заботой?

— Нет, Миша не подумал бы так. Но что же делать: в ботанике точнейше выверено, какому овощу когда цвести и когда его пора кончается... климат времени не изменишь.

Она не поняла, и минуту они посидели в молчании.

— Как вы проводите ваши вечера? — спросил Петр Романович вдруг.

Она несколько недоуменно взглянула на него.

— Вяжу, или книжку читаю, или телевизор смотрю. Из родных у меня только сестра, живет в Подольске, так что мы редко видимся.

— Приходите ко мне иногда... посмотрим вместе телевизор или просто побеседуем... не всегда же я за рабочим столом.

— Боюсь, скучно вам будет со мной... я ведь простая, не ждите от меня больших разговоров.

— А что значит — простая? Может быть, самое высшее — это простота,— сказал он как-то отрешенно.

И несколько дней спустя, придя с бумагами, Глафира Михайловна осталась посмотреть телевизор, достала из сумки вязанье, и Петр Романович поглядывал по временам на спицы, ходившие в ее руках.

— Приданое племяннице вяжу... в прошлом году в школу пошла. А в субботу, день ее рождения, поеду в Подольск.

И она достала из сумочки фотографию девочки в школьном платье с белым фартучком, но спросить, почему все же она не нашла ничего для себя, Петр Романович не решился.

А далее Глафира Михайловна стала приходить и без дела, и он уже ждал ее вечернего звонка, по дороге из института покупал что-нибудь к чаю, и они пили чай, смотрели телевизор, чаще молчали, но и молчать было хорошо.

И те снега, те глетчеры, которые образовались в его, Петра Романовича, жизни и которые он хотел изобразить для себя закономерной страницей своего сегодняшнего существования, как-то ослабели в своем холоде, стали сползать, и обнаружилось, что под ними высокогорные луга с цветами и травами вроде люцерны.

— Вы про цветок эдельвейс слышали когда-нибудь? — спросил он однажды.— Это гордый цветок, похожий по свежести на кусочек горного воздуха... но сколько ледников и морен нужно преодолеть иной раз, чтобы добраться до него! И вот один уже немолодой захотел сорвать этот белоснежный кусочек горного воздуха.

Она на миг подняла на него глаза, может быть, хотела ответить что-то, но промолчала.

А когда после программы «Время» передавали телевизионный фильм, повторила, что сказала раз:

— Вы, Петр Романович, не ждите от меня больших разговоров... а что поведала вам — это уж до конца теперь.

Она продолжала вязать, и он смотрел на спицы, блиставшие в свете серебряно дрожавшего экрана телевизора.



СТАРАЯ РУЧКА

СТАРАЯ РУЧКА

Дни стали коротки, и я спешу с ними. Оливковый цвет зелени переходит постепенно в розоватый, оттенка спелого винограда, воздух пуст, движение жизни остановилось в нем, не промелькнут в белом порхании крылышки, если это бабочка, или в стеклянном мреянии, если это стрекоза, а окна на рассвете запотевают от первых заморозков.

Дни стали коротки, и я спешу с ними. Нужно до зимы успеть закончить то, что задумал, но, как всегда, задуманное не имеет конца. Пролетевшая одинокая ворона, тревожно махающая крыльями, прибавляет строку. Расцветшая вдруг, несмотря на заморозки, роза прибавляет строку. Комбайны, убирающие урожай на экране телевизора, прибавляют строку. Действие писателя всегда напоминает работу землероба: засей, вырасти, обмолоти, однако без всякой уверенности, будет ли съедобен выращенный тобой хлеб?

Ледяной дождь ожег мое лицо, когда я вышел, чтобы отнести книжку заболевшей дочке соседки, Наденьке, с которой мы дружили и которая, научившись писать, ежедневно приносила мне свои письма и с гордостью поглядывала на меня, когда я прочитывал вслух: «Мама уехала в город» или: «Сегодня к нам при-

шел ежик». И я тоже отвечал ей письмами, которые тут же писал и вручал ей: «Очень рад, что ты зашла ко мне» или: «Я подарю тебе книжку сказок», и она аккуратно складывала мои письма в красную сумочку, висевшую у нее через плечо.

Я понес обещанную книжку сказок, Надя лежала в постели, а ее матери, Валентины Сергеевны Спеловой, преподававшей в местной школе русский язык, не было дома.

— Сегодня мы с тобой прочтем для начала две сказки: одну — про принцессу на горошине, а другую — про оловянного солдатика.

И я стал читать, а Надя, положив розовый кулачок под щеку, во все глаза смотрела на меня, спросила, когда я кончил читать:

— Это правда, что жила такая принцесса на горошине?

— Наверно, правда. Писатель пишет только про то, что для него правда,— ответил я.

И мы с Надей оба поверили, что существовали и принцесса на горошине, и оловянный солдатик, и мало ли что может со своей фантазией не только придумать писатель, но и заставить читателя поверить в это.

И вот к тому, что я написал уже, прибавился и Андерсен, прибавилось также, что когда я возвращался домой, на крыльях самолета, шедшего на посадку, зажглись зеленый и красный огни и он так бесшумно скользил, словно хотел своим появлением приятно удивить тех, кто ждал летевших в нем.

Дома я подошел к книжной полке поискать что-нибудь для вечернего чтения, набрел на житие Епифания, сподвижника Аввакума, прочел огненное слово: «Книголюбец мало пищи приемлет, понеже стоит между смерти и бессмертия», и прибавилась еще одна строка к написанному, хотя эта строка и не принадлежала тебе.

И вот уже вечер, барометр на одно деление пошел направо: может быть, циклон уже миновал среднюю полосу и еще будут крепкие, холодные дни, когда глотнешь поглубже воздух — и кажется, что откусил кусок пролежавшего всю ночь на открытой террасе яблока.

Что ж, допиши строку и о глотке осеннего воздуха, похожем на кусок яблока, старая, ученическая ручка

с простым пером наготове. Они хранятся у меня, мои старые ручки, участницы начал, которым не суждено было продолжиться, но участницы кое-чего и завершенного... и ничто не волнует меня так, как коротенькое гусиное перо в музее Пушкина, но ведь гусиное перо служило в свое время ручкой.

А утром мать Нади, Валентина Сергеевна, по дороге в школу занесла мне маленькую, аккуратно сложенную записку, сказала, смеясь:

— Письмо от Нади... потребовала, чтобы я непременно занесла вам, и такая хитрюга — рассчитывает на ответ.

«Приходите еще почитать»,— написала мне Надя, и я тут же написал ответ и вручил Валентине Сергеевне: «Приду прочесть сказку про гадкого утенка».

— А кто же готовит вам? — спросила Валентина Сергеевна неожиданно.— Может быть, я могу быть чем-нибудь полезна,— пожалуйста, подскажите.

И я ответил словами Епифания: «Книголюбец мало пищи приемлет»,— не добавив, однако, что стоит между смертью и бессмертием, дабы она не подумала, будто я возомнил о себе.

А когда Валентина Сергеевна ушла, дописал еще одну строку: «Утром мне принесли письмо от одной прелестной будущей женщины», подумав, однако, что хоть писательское действие и не имеет конца, нужно все же поставить когда-нибудь точку, и моя старая ручка терпеливо ждала, когда наконец я отложу ее в сторону.

СЛЕД РЕАКТИВНОГО САМОЛЕТА

Я сел на скамейку, и почти сейчас же ко мне подошел шепелявый малый без четырех передних зубов, сказал:

— А я знаю, кто вы.

— Кто же? — поинтересовался я.

— Не скажу.

— Ну, знаешь ли, это свинство, скрывать от меня, кто я.

Он обрадовался, будто нашел что-то замечательное, поскакал на одной ножке, неистово возглашая: «Швинство! Швинство!» — а я остался сидеть на скамейке, закинув руки за голову и смотря в высоту. На синем нашатырной крепости небе, как удар струи из брандспойта, тянулся параболой след реактивного самолета.

«Одна минута,— сказал я себе,— одна минута — и уже ничего не останется ни от этого следа самолета, ни от шепелявого малого, знающего, но скрывающего от меня — кто я. Успей, однако, цепко ухватить это, спрячь поглубже в памяти, не дай следу самолета, постепенно разрываемому ветром, уйти, и не греши, что ты в одиночестве провел скучный день, вспомни хотя бы свежую прелесть майского утра, как же ты можешь пожаловаться, что провел скучный день?»

Яблони уже завязались, жасмин был в фарфоровых бутонах, потом по вздрагивающим листочкам вьющегося винограда возле террасы я понял, что пошел дождичек, летний, махонький дождичек на одну минуту, и опять сияние и нашатырная крепость небес, а реактивный самолет уже растворился в воздухе.

Позади скамейки рос старый каштан, листья его нижней ветки зелено просвечивали, я задержал в руке один листок, он был в тонких косых ниточках, похожих на нервные волокна, и я вспомнил далекое время, когда дерево еще не зацветало белыми остроконечными канделябрами и осенью не лежали вокруг колючие створки плодов каштана, несколько грубо именуемого конским. Нужно быть благодарным тому, что щедро протягивает день на своей ладони, иначе все радости жизни будут ртутно скатываться. . . но это означает прежде всего — оберегать в себе след даже одного мгновения.

Я вспомнил также, как слушал пение нескольких старых женщин в колхозе, куда приехал по поручению одной газеты, и председатель колхоза, резонно полагая, что это может заинтересовать газетного гостя, уговорил трех певуний спеть несколько песен. Женщины были давно вдовами, война обездолила их еще молодыми, и они запели сначала тихо, потом исступленно, почти истошно, глядя в свою молодость и свою судьбу. . .

И я подумал, что прежде такие судьбы назывались бабьими, со всеми выплаканными в свою пору слезами,

но в войну, заменив мужей, женщины эти вышли пахать на коровах, председатель колхоза сказал про них: «Они нашему колхозу не дали в войну омертветь»,— и я унес с собой их пение тоже как одно из прекраснейших мгновений, которое нужно сохранить в себе. . .

А затем я вспомнил еще, как, выйдя однажды из московского дома после майского дождя, увидел тюлевые лужи, асфальт как бы парил от ползущего по нему тополиного пуха, в этом было пришествие сначала лишь светлой, потом и сияющей поры года. А в первый же день, когда я оказался за городом, надо мной пролетел самолет с длинной шеей, похожей на дикого гуся, и казалось, что, идя на посадку, он спускается к своему прошлогоднему гнездовью.

Только впусти грусть в себя, она целиком заберет тебя в свои загребастые руки. Так примерно сказал я себе, посетовав, что провел одинокий день и словно затерялся в огромном мире. Один известный американский писатель, с которым я познакомился в Москве, сказал мне:

— У меня есть свой рай — хижина в горах, в ней рабочий стол и нет телефона.

А мне-то казалось, что его рай — поездки по всему свету. С этими мыслями я поднялся со скамейки, пошел в сероватую, пушистую мягкость майского дня, а по розовым тучам было видно, что солнце тычется в них и в каком-нибудь месте прорвется.

Нужно научиться радоваться малым радостям и не огорчаться от малых незадач, но всегда преуменьшаешь радости и преувеличиваешь незадачи, и такой едкий желудочный сок распространяется по всему тебе.

«Итак, я вам скажу, что все эти дни погода стоит туманная, угрюмая, плачевная и нездоровая, — писал Тургенев Полине Виардо.— Я подожду более благосклонного солнца».

Тургенев, наверно, плохо работал в эти дни и ждал того благосклонного солнца, когда сможет со рвением приняться за работу. Настроение писателя зависит прежде всего от того, удалась ли ему хотя бы одна строка. «Как здоровьице? Как самочувствие? Как настроение?» — пристанет вдруг какой-нибудь благожелатель из мармелада для диабетиков. Здоровье — ничего, если тебе есть о чем писать. Самочувствие и вовсе хорошее,

если написал что-либо путное, а настроение праздничное, если не весь ты высох, не стал бесплодной смоковницей. . .

Я вышел в поле, некоторые цветы были уже полураскрыты, высунув в трещинки бутона краешек будущего белого или желтого цветка, словно зажали язычок между губами, а тяжело нагруженная пчела вдруг едва не ткнулась мне в лицо, негодующе свернула в сторону, она была с утра в труде, а я только в размышлениях, и я запрятал и пчелу поглубже в память, чтобы мысль о писательском труде всегда беспокоила и чтобы хоть с маковым зернышком писательской добычи вернуться к своему одинокому, без сообщества, улью.

А в высоте, словно привязанный невидимой нитью к розово-серому пушистому небу, висел жаворонок, пел не замолкая, и я увидел ту божественную нитку, которой был прикреплен он к небу.

На асфальтовой дорожке, которая вела к железнодорожной станции, проложили свою стезю муравьи. Они двигались в одном направлении, это была их рабочая тропинка,— или, может быть, доить свое стадо тлей, или по другим хозяйственным делам, скорее всего это были строители, направлявшиеся в ближний лес за материалами — сухой хвоей или чешуйками шишек. Я подставил одному муравью лоскуток бумажки, отнес лоскуток в сторону, щелчком скинул муравья, и он, явно негодуя, постоял, осматриваясь, как отставший солдат, и кинулся догонять свою колонну. Мне захотелось и муравьиное мгновение запрятать в копилку своей памяти.

А на обратном пути мне встретилась одна старая женщина, она вела за руку того шепелявого малого, который знал, кто я, однако скрывал от меня. Он угрюмо посмотрел в мою сторону, старая женщина — наверно, бабушка — смиряла его голенастую свободу, и он шел за ней, явно стыдясь, что позволяет обращаться так с мужчиной. Я сочувственно подмигнул ему, он оттянул руку бабушки, оглядываясь на меня, а когда я сделал гримасу, шел уже совсем пятясь, спиной вперед, и я услышал, как бабушка сказала: «Не мальчик, а одно наказание». Но он, видимо, собирался остаться одним наказанием, я крикнул ему вслед: «Швинство!» и он

лишь тогда показал то пустое место улыбки, в которой не хватало четырех передних зубов.

А вечером я прочел у одного славного поэта: «Хоть не вечен человек, то, что вечно, человечно» — и немного утешился: если с этим человечным прошел мой день, то я не бездельник, как подумал обо мне муравей, тоже кое-что сделал по своим силам и по тому, что́ дано мне на все мое прожитие.

Реактивный самолет, совершавший днем учебный полет, наверно, уже давно находится на своей базе, но для меня он все еще продолжал полет, был сейчас над Манилой, а к вечеру надвинутся Калимантан и Ява...

НАТЮРМОРТ СЕРЕБРЯНОЙ МОЛОДОСТИ

Алексей Дмитриевич подождал у ступенек террасы, пока спустится жена. Екатерина Михайловна положила на согнутый локоть его левой руки свою руку в прозрачной белой перчатке без пальцев, и они пошли широкой аллеей парка, некогда графского, а ныне уже давно ставшего парком санатория для деятелей искусств с поэтическим названием «Аврора».

Рука жены лежала на его согнутой руке, она была и поныне легкая, его Катя, и такая еще молодая, словно они не прожили вместе тридцать семь лет, целую жизнь, если призадуматься...

В конце аллеи свежо зеленел луг, был еще в цветах, последних лютиках и пушистых лиловатых головках клевера, как бы выставляя напоказ свое осеннее, хоть и небогатое, но в прелести красок убранство.

— Помнишь наш Бежин луг? — спросила Екатерина Михайловна.— Помнишь, как все это было?

И оба вспомнили тот маленький летний театр, в котором впервые увидели друг друга, любители представляли «Коварство и любовь», Катя тогда лишь недавно окончила школу, а он, Леша Воронцов, уже поступил в музыкально-педагогический институт и готовился стать музыковедом.

За летним театром сразу начинался луг, а возле речки пели нередко в роще соловьи, и они стали приходить сюда в майские вечера, назвали луг Бежиным; Катя жила тогда с родителями, снимавшими на лето дачу в этой местности, а он гостил у своей крестной матери, учительницы местной школы.

— Боже мой, как мы были молоды тогда! — вздохнула Екатерина Михайловна.— Я вижу иногда во сне наш Бежин луг... А помнишь, с каким пафосом играл Фердинанда мой двоюродный брат Витя, кто мог тогда думать, что станет когда-нибудь известным актером?

Размышляя как-то о своей жизни, Алексей Дмитриевич сказал жене:

— Как обидно, что стареешь и понемногу все уходит от тебя.

— Разве мы с тобой старики? — сказала Екатерина Михайловна тогда.— И разве музыка может уйти? Разве Моцарт может уйти? Не будем стареть, Лешенька, и мою болезнь прими как неизбежность.

— Чем же ты больна? — спросил он.

— Одной неизлечимой болезнью — женской верностью. Теперь это уже до конца, и никакие санатории не помогут.

— Обойдемся без санаториев,— сказал он,— обойдемся как-нибудь без санаториев.

И сейчас, идя через луг, они вспомнили и маленький летний театр, и заключительный монолог Фердинанда: «У меня воровски похищена жизнь, похищено все», а после представления декорации убирали, появлялся духовой оркестр, и Бежин луг становился танцевальной площадкой.

И вот прошло уже столько лет, он, Воронцов, стал признанным музыковедом, а Екатерина Михайловна — переводчицей, и в их книжном шкафу наряду с переведенными ею книгами стоит его монография о Дворжаке.

Рощица у реки, уже в оливковой позолоте, напоминала ту давнюю рощицу, к которой приходили они некогда, и еще ничего не было сказано, еще ни один поцелуй не сблизил их, они только стояли в тишине майского вечера, и вдруг щелкнул соловей, прислушался к самому себе и снова щелкнул: может быть, и он потру-

дился над тем, что верность женского сердца осталась на всю жизнь. . .

— Какая свежесть! — сказала Екатерина Михайловна, глубоко вдохнув чуть терпкий от речной сырости воздух.— Запасайся на всю зиму этой свежестью, Леша. К Новому году ты, наверно, уже закончишь свою монографию о Виельгорском, а я к тому времени справлюсь со своим переводом. . . это хороший, правда, немного жестокий роман о войне,— и она искоса поглядела на мужа, провоевавшего четыре года, а шрам на предплечье его левой руки был виден, когда Алексей Дмитриевич носил летние рубашки с короткими рукавами.

Обратно они шли другой дорогой, лес поредел, только где-то в его глубине, словно заколачивая ящик, работал дятел.

В столовой санатория столы были уже накрыты для обеда, Алексей Дмитриевич с женой сели за свой столик, а их соседом был художник Воздвиженский.

— От вас пахнет осенью,— сказал он Екатерине Михайловне, вдохнув принесенную ею свежесть вместе с легким запахом духов.

И он поглядел цепким взглядом художника на ее розовое, с гладкой кожей лицо, на льющиеся серебряные волосы, на ее руку, лежавшую на столе, на снятую прозрачную перчатку рядом.

— Пообещайте, что исполните одну мою просьбу, Екатерина Михайловна,— сказал он вдруг.

Она вопросительно посмотрела на него.

— Я хочу написать ваш портрет, однако без вашего присутствия. . . но это будет ваш портрет, назову его, скажем, «Натюрморт серебряной молодости». На столе будет ваза с этими астрами, ваше обручальное кольцо, которое вы положите рядом с вазой, белая прозрачная перчатка — и ничего больше. Но это будет ваш портрет, хотя и назову его натюрмортом.

— Что ж,— легко согласилась она,— если вы так задумали. . .

И для того, чтобы Воздвиженский пригляделся сначала, сняла со среднего пальца левой руки обручальное кольцо и положила его рядом с лиловыми астрами в вазе, видимо только что сорванными для обеденного стола.

НАЧАЛО РАССКАЗА

«А потом он сделал ее несчастной...» — мне понравилось такое начало рассказа, и я, глядя в окно в той классической позе, в какой изображают поэта, грызущего в раздумье гусиное перо, обдумывал, как развить эту вступительную фразу в сюжет. А за окном был уже октябрь, туго по утрам разлеплявший веки, чтобы, наскоро сделав день, улечься снова спать.

Слетавшие с клена один за другим листья были уже ярко-канареечного цвета, а рябина стояла лишь с несколькими листиками, и то до первого ветра.

На клене старательный мальчик, сын соседского сторожа, Антоша, которого по отчеству звали Кузьмич, но я называл его «Антон Павлович» за его любовь к природе,— на клене Антоша приспособил кормушку для птиц, аккуратно клал в нее размоченные корки хлеба и кормил небесных пичуг, главным образом — воробьев. Но однажды какая-то большая птица в красной кардинальской шапочке появилась возле кормушки, и я увидел, что это дятел, привыкший держаться подальше от людей. Дятел принял, должно быть, кормушку за любезное ему дупло дерева, а размоченный хлеб походил на личинок. Затем он повадился ежедневно прилетать, как в своего рода забегаловку, где можно на ходу поживиться.

Но однажды я увидел двух дятлов сразу, дятел привел свое потомство, может быть, сына или дочь, и эти красные пятна возле кормушки, а главное — семейное начало как-то украсили для меня день.

Богатство жизни и ее малые радости всегда побуждают к труду, напоминая, как мир широк и многообразен. Грызя воображаемое гусиное перо и вспоминая о дятлах, осветивших для меня однажды работу, я подумал о том, что, может быть, в будущем году дятел снова прилетит к кормушке, это будет потомство прошлогоднего, и семейный очаг с размоченными корками хлеба опять порадует меня.

Раздумывая, как все же развить начало рассказа, я увидел, что к калитке подошла собака, деловым движением лапы открыла ее, вышла куда-то на улицу по сво-

им делам: может быть, перекинуться словечком с соседской собакой,— и я подумал, как мало в общем мы знаем об окружающей нас жизни, хотя и полагаем, что все уже давно разведано.

Октябрьское утро, нелюдимо начавшееся, стало вдруг светлеть, из-за скучных, серых туч выглянуло солнце, зажгло клен с такой яркостью, что казалось, он сбрасывал свои листья в честь светила. Солнце выглянуло, однако, накоротке, сильным ветром снова нагнало тучи, октябрь шел уже полным ходом, но есть и у зимы свой уют, и пусть буря мглою небо кроет, существует еще и камелек, подсказавший Чайковскому его музыку, есть и скрип полозьев саней, и добрая русская зима, и стрекот сороки, словоохотливой и добросовестной, когда есть о чем порассказать.

Потом в сад, с трудом преодолевая опавшую листву, въехал на трехколесном велосипеде внук соседки, родившийся в Дели, где его родители работали некоторое время, отец — врачом, а мать преподавала в средней школе русский язык, и велосипед был тоже из Индии, с каким-то загадочным изображением на раме, может быть, бога — покровителя велосипедистов. Внука звали Филиппом, но пока он был Филей, и Филя привез на своем трехколесном велосипеде записку от отца, который просил флакончик чернил, свои он разлил, а писать карандашом не хочется.

Отец Фили был врачом-эпидемиологом, но немного грешил насчет поэзии, писал стихи, и в одном журнале даже появился целый цикл его «Индийских стансов».

Я дал Филе флакончик чернил, привязал его за горлышко к рулю велосипеда, и Филя с достоинством уехал из сада, часто работая своими маленькими ногами. Может быть, его отец, Михаил Стахеевич Радомыслов, тоже захотел написать что-нибудь посвященное осени, листопаду и умильной прелести русской природы.

Но я думал и о том, что все кругом — твое, протяни руку — и шафранно-желтый лист клена ляжет на твою ладонь, выйди вечером в сад — и волшебный холодок глубоко проникнет в тебя, а вернувшись в теплую комнату, может быть, спросишь по телефону соседа:

— Ну, как, Михаил Стахеевич... пригодились мои чернила?

И, вернувшись, я позвонил ему, он ответил слегка

смущенно, потому что несколько скрывал все же свое тяготение к поэзии:

— Задумал одну поэму о Гималаях. А вы как поработали?

Но я не сказал ему, что начал было рассказ о судьбе одной женщины, которую кто-то сделал несчастной, однако мне не захотелось, чтобы стала несчастной эта еще незнакомая мне женщина,— наоборот, нужно было сделать ее счастливой от того разнообразия богатств, которые жизнь только подносит и подносит, и даже желтый лапчатый лист клена, опустившийся на твою протянутую ладонь, походит на своего рода рукопожатие. . .

— Начал один рассказик,— сказал я все же Михаилу Стахеевичу,— но как-то не пошло́, не ту тему, видимо, выбрал.

А про то, к какой теме склонился, ничего не сказал: рукопись писателя тоже своего рода секрет изобретателя, пока она не станет книгой.

РУСАЛКА

Пруд был уже с ртутно-тяжелой водой, ближе к берегу зарос оливковой ряской, и давно заглохло лягушиное пение.

Я пришел сюда, где все замерло и погрузилось в глубину, в то подводное царство, в котором уже и русалки, наверно, скоро впадут в зимнее оцепенение. На пруду, однако, несмотря на студеную воду, полоскали белье две женщины — Устинья Петровна, служившая в рабочей столовой уборщицей, и ее дочь Варя со смелыми нежно-дерзкими глазами, но все же больше нежными, чем дерзкими.

Я знал их обеих — Устинью Петровну потому, что летом она иногда приносила мне десяток-другой яиц от своих несушек, а Варя однажды, встретив меня по дороге, сказала отважно:

— Поднесли бы какую-нибудь вашу книгу. А то, говорят, рядом живет писатель, а я ни одной вашей строчки не читала. Вы стихи пишете?

Я повинился, что пишу не стихи, а длинную, как изгородь, прозу.

— А про что вы пишете? — спросила Варя еще.— Про любовь пишете?

— Главным образом про любовь и пишу,— ответил я бодро и, по-видимому, сразу же вырос в ее глазах.

Женщины полоскали белье, но Устинья Петровна была, казалось, удручена чем-то, лишь кивнула в мою сторону, а Варя, выжав свое белье, понесла тазик с ним, сказала на ходу: «Привет!» — и с этим ушла, крепкая, с задором в плечах, а одно плечо было даже несколько выставлено вперед, словно готовое в случае чего к отпору.

— Давно не видел вас, Устинья Петровна,— сказал я, когда женщина выжала последнее белье, устало положила его в лоханку и присела отдохнуть немного.

— У меня и кур не стало,— сказала она.

— Я не об этом... просто давно мы не виделись с вами.

— Плохо у нас,— сказала она вдруг,— плохо у нас, дорогой писатель. Я с моей Варей такое мучительство приняла.

И Устинья Петровна, видимо полагаясь на хороший совет, рассказала мне, что Варя в прошлом году вышла замуж за счетовода поселковой строительной конторы Семена Веселова, а с месяц назад ушла от него, заявила, что жить с ним не хочет больше, и сразу все пошло вверх ногами.

— Поговорите с Варей, прошу вас, посоветуйте по-умному, что жизнь устраивать надо, а на мать с ее слабым сердцем уже плохие надежды. Поговорите с Варей, она к вам придет, она книжки читать любит.

— Что же я могу посоветовать ей? Видимо, своего мужа она не очень любила, если ушла от него.

Я сказал это как бы с житейской многоопытностью, но Устинья Петровна думала, что это лишь блажь дочери, да и по своему характеру она нередко все рушит.

— Совет дать я вряд ли сумею, а за книгой Варя пусть зайдет. Я пообещал ей свою книгу.

— Вот спасибо-то,— сказала Устинья Петровна, полагая, наверно, что Варя найдет в моей книге какое-нибудь нужное наставление.— Я все-таки десяточек яиц пришлю с ней... у меня, правда, всего две несушки остались, да и те к осени несутся плохо.

— В яйцах содержится холестерин, так что не нужно. А Варя пусть зайдет.

Устинья Петровна чуть повеселела, понесла на плече свою лоханку с бельем, на пруду стало совсем тихо, а из глубины по временам поднимались пузыри: наверно, вздыхали русалки, вспоминая летние дни, когда всплывали по ночам и шевелили своими рыбьими хвостами.

Я обошел пруд, в одном месте у бочага сидел тихий старик, поплавки его удочек мирно стояли в воде, ни одна рыбешка не удостоила наживку вниманием, но старику, может быть, нужно было лишь посидеть возле притихнувшего пруда, наедине со своими стариковскими думами, которым с каждым годом становилось все теснее, а на воздухе все же попросторнее.

— Не клюет? — спросил я сочувственно.

Но старик ничего не ответил, вопрос был праздный, да и не для разговоров уединился он на берегу затихнувшего пруда.

Я прошел лесом к полю, по утрам уже пикейно покрытому инеем, проводил взглядом длинный товарный поезд, на двух платформах которого, вздыбившись друг на друга, стояли новенькие, выкрашенные в густо-синий и канареечно-желтый цвета «Жигули», которых множество бегает по нашим дорогам, свернул к дому, а день постепенно сник, короткий день осени, который едва разгорится, уже оплывает, как стеариновая свеча...

Сесть за рабочий стол было уже поздно, и я стал искать на книжной полке какую-нибудь книгу, чтобы с ней скоротать вечерок, но внизу вдруг постучали в дверь, и пришлось спуститься.

— Это я, Варя,— сказал голос за дверью.— Мать передала, что вы велели прийти за вашей книгой.

— Видите, какое мое слово? Просто приказ. Заходите, Варя.

И она зашла со своими нежно-дерзкими глазами, однако больше нежными, чем дерзкими.

— Я пообещал вам свою книгу, не знаю только, покажется ли вам интересно?

— Вы надпишите, я буду беречь ее,— сказала Варя неуверенно.

Я написал: «Милой Варе...», задумался, спросил: Какая у вас теперь фамилия?

— Мосолова,— ответила она с твердостью.

— Но вы ведь, кажется, замуж вышли?

— Теперь я по-прежнему Мосолова,— сказала она, не ответив на мой вопрос, а потом ответила все-таки: — Я своему мужу отставку дала.

— Что так?

— Не нужен он мне.

— Почему же? — памятуя о просьбе Устиньи Петровны, спросил я.

— Я в нем ошиблась,— сказала Варя так, словно ошиблась с номером обуви.— У него никакого интереса к жизни нет, и ни одной книги не читает. Вернется с работы — упрется в телевизор и всю программу до победного конца смотрит. Я ему книгу «Записки охотника» Тургенева принесла, а он знаете что сказал: «Я и без твоего Тургенева стрелять умею». На что мне нужен такой?

И хотя я пообещал Устинье Петровне дать по возможности ее дочери совет, я никакого совета не дал, сказал только:

— Жизнь сложная штука, Варя, нельзя рывком — не понравилось, и все.

— Можно,— сказала она убежденно.— Только так и можно, не понравилось — и все. Я свое в жизни еще найду, а терять себя не хочу. Вы поговорите с моей мамой, посоветуйте, чтобы не понуждала меня. Я со своей жизнью сама справлюсь. Мама вам яиц собирается принести, поговорите тогда с ней.

И получается теперь, что умный совет я должен дать не дочери Устиньи Петровны, а ей самой с ее материнской тревогой на неустроенность дочери.

— Замуж выйти — одна минута, и обмануться — тоже одна минута,— сказала Варя с вызовом,— я, конечно, огломя замуж вышла, сознаю теперь, но для него никакой убыли не будет, телевизор при нем остался, а я к маме ушла, я с ней теперь. Она вам ничего не говорила?

— Что же она могла мне сказать?

— Тогда все, закруглимся на этом. А свою жизнь я устрою.

И она кивнула мне головой, в накинутом на русые волосы цветном платке была русской красавицей, и мне захотелось сказать ей что-нибудь приятное.

— Я сегодня еще посидел у пруда, когда вы с бельем ушли, а потом русалка выплыла, красавица вроде вас, мы с ней поговорили.

— О чем же?

— О том, что столько все-таки прекрасного в жизни!

— Хватает, и мне еще, надеюсь, достанется,— сказала Варя уверенно, чуть выставив вперед плечо, словно готовая дать отпор кому-то, ушла в темноту уже сгустившегося вечера, а я еще посидел немного, думая о том, что рассказ «Русалка», в сущности, готов. Нужно только дописать, что старику с его удочками выпала все же удача, поймал карасика, дуром соблазнившегося половиной дождевого червя; да, пожалуй, дописать и о том, что выплывшая русалка пожаловалась мне на однообразие подводной жизни и я пообещал устроить ее где-нибудь на суше, а с ее красотой она не пропадет. . .

ЩЕПОТЬ

В синеве наступающего вечера я увидел издали неистово шагавшего, словно убегающего от самого себя человека и, сблизившись с ним, узнал Ивана Митрофановича Вересова, агронома и естественника, долгое время работавшего в Тимирязевской академии. У Ивана Митрофановича недавно случилось большое семейное горе — умерла жена, и, понимая, что человеку иногда нужнее всего одиночество, я сказал на ходу:

— Добрый вечер, Иван Митрофанович,— но он остановил меня:

— Полагал, что вы уже в Москву перебрались.

— Нет, недельку еще хочу поработать здесь.

Иван Митрофанович был крупный, чуть большеносый, с грубоватыми чертами, унаследованными, видимо, от тех, о ком сказал раз:

— Мои дед, и прадед, и отец сеятелями были. . . глубокое это слово, если призадуматься. Ведь сеятель и на ниве просвещения значится. . . у меня, кстати, книжечка одного поэта хранится под названием «Песни пахаря».

С Иваном Митрофановичем мы нередко по-соседски гуляли осенним вечерком в размышлениях обо всем на

свете, а свою книгу «Вопросы селекции» он подарил мне с надписью: «С пожеланием всхожести», имея в виду мой труд.

Иван Митрофанович пожал мне руку, вдруг как-то странно сложил мои пальцы в некое троеперстие, спросил:

— Вы чем пишете?

— Ручкой,— несколько удивился я.

Он, видимо, был рад, что можно хоть несколько минут не убегать от самого себя, не убегать от скорби, которая особенно в одинокий осенний вечер начинает свою работу.

— Ручка ничего не означает, в вашем деле вам служит щепоть. Троеперстие не молитвенный знак, это — разум, воля и труд. В щепоти с воображаемым пером писал по одеялу до последнего вздоха Толстой, а великий художник Репин, умирая, держал в щепоти кисть и водил ею по воздуху. Сеятель тоже щепотью разбрасывал семена, сеялок в ту пору еще не было.

Но он что-то не договаривал, а потом сказал все же:

— И моя жена в последние свои минуты к моему лбу щепоть поднесла, но не молитву творила: она селекционером была, щепотью надежные семена отбирала. Мой покойный учитель, ботаник Жуковский, показал мне раз щепотку семян тех растений, которые, может быть, с библейских времен сопротивлялись засухе. Впоследствии из этой щепотки он сорт пшеницы для засушливых районов вывел, а за щепоткой этой пришлось глубоко нырять, не хуже, чем за жемчугом, вот ведь какая она — щепоть. А вы как в руку перо берете? Щепотью берите, иначе и одного словечка не напишете.

Он словно еще ощущал три сложенных пальца у своего лба, осиротевший Иван Митрофанович, а детей у него с женой не было, и мать и дочь заменяла ему Анна Николаевна, которую я помнил с ее спокойной славянской красотой, с прямым пробором в русых волосах, как у крестьянок, изображенных художником Венециановым. . .

И я понял ход мыслей Ивана Митрофановича — от руки Толстого, писавшей по одеялу, или руки Репина, водившего в воздухе кистью, до той руки, которая троеперстием коснулась его лба, напомнив об их общем труде.

— Может быть, зашли бы ко мне как-нибудь, Иван Митрофанович? Все-таки я поживу еще здесь,— предложил я.

— Не бываю нигде,— ответил он коротко, ускорив вдруг шаг, и уже минуту спустя снова неистово зашагал по дороге.

Вернувшись домой и сев уже при свете лампы за рабочий стол, я, прежде чем приняться за работу, дотянулся до книжной полки за своей спиной, достал книгу Ивана Митрофановича «Вопросы селекции», прочел в ней строки: «Неудачи не должны расхолаживать, селекционер лишь через несколько лет добивается нередко нужных результатов» — и подумал, что в общем это присуще всем творческим делам на земле, для которой высшим утверждением жизни спокон веков был образ сеятеля с горсткой семян в щепоти.

Иван Митрофанович, не сознавая этого, кинул горстку семян, а может быть, лишь одно семечко в воображение писателя... И я вспомнил, как вместе с внуками Льва Толстого побывал однажды на той железнодорожной станции, где в станционном домике и поныне стоит кровать под серым одеялом, на котором чертил последние строки умиравший Толстой; вспомнил также и выраженную Иваном Митрофановичем мысль, что щепоть, в которой держишь перо, или кисть, или горстку семян, знаменует действие разума, труда и воли, а выше этого ничего и не представишь себе...

АНГЛИЙСКИЙ РАССКАЗ

С Андреем Ивановичем Сергеев познакомился во время одних совместных ответственных занятий: Андрей Иванович ловил на пруду мальков для своего комнатного аквариума в виде большой стеклянной банки, а он, Сергеев, напереводивший с утра до одури, пришел на пруд выкупаться, но, оглядев зеленую воду в ряске, передумал и сидел на бревне, обняв колени руками и глядя на таинственную, в пузырях, кругах и мерцаниях, жизнь пруда.

— Вы кто? — спросил Андрей Иванович, весной за-

кончивший первый класс местной школы и теперь уже чувствовавший себя второклассником, за лето — с конопатым носом и отросшими льняными вихрами, но к первому сентября их состригут.

— В каком смысле — кто? — осторожно осведомился Сергеев.

— Вы чем занимаетесь?

— Я переводчик.

— Как переводчик?

— Перевожу книги с других языков.

— С каких?

— С английского, например.

— А зачем?

— Откровенно говоря, не задумывался над этим.

— Вы английский писатель?

— Нет, я русский писатель, но могу написать и английский рассказ.

— Ну да,— усомнился Андрей Иванович.

— Почему же ты не веришь?

— А вы можете рассказать про то, что напишете?

— Гм... нечто вроде конспекта могу, конечно.

— А у нас в школе Варвара Алексеевна велела одному ученику рассказать, про что он прочитал, а он все напутал, заработал двойку.

— Нет, я на пятерку могу... ну, скажем, на четверку,— все-таки несколько умалил себя Сергеев.

— А вы расскажите.

— Что же тебе рассказать?

— Какой вы английский рассказ написать можете?

— Гм,— задумался Сергеев.— Попробую.

Он поглядел на удочку Андрея Ивановича с поплавком из бузины, но крупная рыба не клевала, а мальков можно ловить сачком.

— Ну вот, жила-была одна старая леди, мисс Гоббс...

— Что такое — леди?

— Ну, как бы тебе сказать,— слова «госпожа» Андрей Иванович тоже, наверно, не знал,— ну, гражданка, что ли, по-нашему. Эта мисс Гоббс ужасно любила всяких маленьких зверюшек, вообще любила все, что двигает ножками. И вот однажды она сидела и вязала, а в это время кто-то укусил ее пониже лопатки. Мисс Гоббс засунула руку за шиворот и ухватила маленького

зверюшку. Он был кругленький, похожий на кофейное зернышко, и она сказала ему:

«Ах ты кусачка — и какой забавный!»

Зверюшка хотел было убежать от нее, но мисс Гоббс не дала ему убежать, она сказала:

«И такой миленький. . . я покажу тебя директору нашего зоологического сада: может быть, в нашем саду нет таких зверюшек».

И она посадила зверюшку в коробочку с ватой, положила кусочек сыра и кусочек кекса, так как не знала, чем зверюшка питается, села в свою машину и поехала к директору зоологического сада.

Андрей Иванович сразу увлекся английским рассказом, перестал наблюдать за поплавком своей удочки, смотрел теперь во все глаза на Сергеева, и Сергеев, подумав, продолжил:

— Мисс Гоббс приехала к директору зоологического сада мистеру Брунсу и сказала ему:

«Мистер Брунс, у меня есть для нашего зоологического сада одна находка. Этот маленький кусачка такой забавный, я хочу подарить его зоологическому саду».

Мистер Брунс надел очки, а мисс Гоббс открыла коробочку, и мистер Брунс, посмотрев в лупу, сказал: «Это не зверюшка, а просто клоп».

Но мисс Гоббс сказала:

«Мне совсем все равно, как он называется. . . я хочу подарить его нашему зоологическому саду».

«Нет,— сказал мистер Брунс,— мы не можем принять его».

«Но почему же? — воскликнула мисс Гоббс.— Я внесу, сколько нужно, на его содержание. Я внесу сто фунтов».

Мистер Брунс подумал, потом сказал:

«Это маловато... животное требует особого ухода и особого корма. Меньше чем за сто пятьдесят фунтов мы его принять не можем».

— А сто фунтов чего? — спросил Андрей Иванович.

— Просто за сто фунтов, фунт у англичан вроде как у нас один рубль.

Мисс Гоббс достала чековую книжку, выписала сто пятьдесят фунтов и сказала:

«Только хорошо ухаживайте за ним, я буду навещать малышку».

«Видите ли, по правилам нашего зоосада все вновь поступающие животные проходят трехмесячный карантин. Карантин — это значит проверка: не болеет ли оно чем-нибудь? Так что только через три месяца вы сможете навестить его»,— сказал мистер Брунс.

«Хорошо, — сказала мисс Гоббс, — я приеду через три месяца».

И через три месяца она снова поехала в зоологический сад.

«Ну, как он, мой маленький? — спросила она мистера Брунса.— Можно посмотреть на него?»

«Да, конечно»,— ответил мистер Брунс и подвел ее к одной клетке, а оттуда высунуло голову что-то большое и мохнатое, и мистер Брунс предупредил:

«Только не просовывайте руку. Видите, как при хорошем питании он вырос, ваш зверек? Беда только в том, что это мальчик, теперь нужна и девочка, и мы выведем в вашу честь новую породу».

«Как же быть? — спросила мисс Гоббс.— Где я возьму девочку?»

«Постарайтесь. Внесите на ее воспитание сто пятьдесят фунтов, и мы ее тоже вырастим».

«А как же они будут называться?» — спросила мисс Гоббс заинтересованно, заранее представляя себе, какая это будет хорошая парочка.

«Что-нибудь придумаем. Существуют енотовидные собаки, а мы назовем их, например, енотовидный клоп. Вы сделаете большой вклад для науки».

«Я буду искать девочку,— сказала мисс Гоббс,— а пока внесу еще сто пятьдесят фунтов на ее воспитание».

И она выписала чек и уехала домой на своей машине, очень довольная.

Сергеев замолчал, но Андрей Иванович ждал продолжения рассказа.

— Она нашла девочку? — спросил он.

— Пока еще нет, но когда найдет, я допишу этот английский рассказ.

— Она просто дура, эта миска, — сказал Андрей Иванович уверенно. — Разве она не видела клопов?

— Должно быть, не видела. Знаешь, все эти старые мисс или вяжут, или разводят кошек. Откуда ей знать, что такое клоп?

— Это глупый рассказ,— решил вдруг Андрей Иванович, не побоявшись прямой критики.

— Придумал, как мог,— сказал Сергеев скромно.

— А зачем вы пришли на пруд?

— Просто выкупаться.

— А почему не выкупались?

— Что-то больно зеленой показалась мне вода.

— Это пруд цветет,— разъяснил Андрей Иванович,— а мне ваш английский рассказ не понравился, он глупый.

— Всякие читатели бывают, одним только глупые рассказы и нравятся,— сказал в свое оправдание Сергеев.

— Вы лучше что-нибудь другое напишите.

— Ну что ж,— вздохнул Сергеев покорно.— Вот кончу переводить один длинный роман Троллопа, а там можно будет прийти и к русской теме. Напишу, например, рассказ под названием «На берегу пруда», опишу с тобой встречу, только присочиню немного, что ты выудил в этот день осетра.

— Осетры в пруду не водятся,— сообщил Андрей Иванович авторитетно.— Они водятся в Каспийском море... Мой папа капитан на Волге, в будущем году возьмет меня и маму с собой, поплаваем по Волге, а папин пароход называется «Партизан Еремеенко».

— Завидую тебе,— вздохнул Сергеев.— А я останусь на берегу со своим английским рассказом.

— Еще напишете, — обнадежил Андрей Иванович. — Вы приходите сюда посидеть, здесь хорошо посидеть. А я буду мальков ловить, и мы с вами вместе посидим. А потом я тоже напишу рассказ, только не английский, а русский. Я вообще, когда вырасту, буду рассказы писать.

— Что ж, занятие неплохое, если писать хорошие рассказы.

— Я буду писать хорошие,— сказал Андрей Иванович уверенно. — А теперь мне нужно домой, меня мама ждет.

И он свернул свою удочку, взял банку с наловленными сачком мальками, а Сергеев еще посидел у пруда, один английский троп не давался при переводе, теперь слово сразу навернулось: «будущник», это означало — человек с будущим, во всяком случае, человек, уверен-

ный в своем будущем. А английский рассказ Сергеев решил все-таки написать с подзаголовком, например: «Из английского юмора», может быть, найдется и не такой взыскательный читатель, как Андрей Иванович.

Что ж, пройдет, скажем, двадцать пять лет, и снова встретятся они на берегу этого пруда, старый переводчик, проведший не одну зимовку с Теккереем или Диккенсом, а Андрей Иванович будет уже писателем, скажет:

— Я помню вас и английский ваш рассказ помню.

А на пруду, как и ныне, будет своя таинственная жизнь с кругами, бульканьем и лягушиным, захлебывающимся от притока всевозможных новостей говором... только он будет уже старым, Сергеев, таким старым!

ШЕЛЛИ

„Сколько женщин, полных неутомимой доброты, кротких, любящих, мудрых, чья жизнь объединяла их близких, воплощая для них счастье и согласие, а оборвавшись, обездолила их навсегда, — сколько их умерло и было оплакано с тоской...»

В свое время, в минуты глубокой печали, Василий Кондратьевич выписал эти строки из книги одного английского поэта, а несколько лет спустя выписал и другие его строки, что жизнь и весь мир — вещь удивительная и что жизнью, этим величайшим чудом, мы не восхищаемся именно потому, что она — чудо.

Первые строки он выписал тогда, когда, вернувшись с войны, почти сразу же потерял жену, четыре года ждавшую его, чтобы успеть сказать: «Все-таки я дождалась тебя!» Это было так больно и несправедливо, что Василию Кондратьевичу казалось тогда — лучше бы ему не уцелеть...

На втором году блокады Ленинграда эвакуировали по «дороге жизни», через ледяную Ладогу, сестру жены, ленинградскую учительницу Ольгу Николаевну Сенявину. Ольга Николаевна привезла с собой пятилетнюю девочку, дочь соседей по квартире, наверно навсегда пораженную испугом и бедами Манюсю Иванову,

дочь типографского рабочего, однажды присевшего возле своего линотипа, на котором набиралась газета, и лишь несколько минут спустя наборщики типографии поняли, что линотипист Иванов присел не отдохнуть, а умер; месяц спустя умерла и его жена, умерла так, как нередко происходило в ту пору: ушла зачем-то из дома, может быть, за водой из Невы, и не вернулась...

Обе женщины — его, Василия Кондратьевича, жена Лиза и ее сестра — близко приняли к сердцу судьбу девочки, и жена сказала не только: «Все-таки я дождалась тебя!», она сказала еще: «Что бы ни случилось — воспитаем Манюсю... будем считать, что это наш с тобой долг».

Строки старого поэта, столь отвечавшие его, Василия Кондратьевича, чувствам, он выписал вскоре после смерти жены, а несколько лет спустя, когда Манюся, иначе Машенька, была уже в четвертом классе школы и стала для него дочерью, он выписал из книги того же поэта, что жизнь и весь мир — вещь удивительная.

Ольга Николаевна Сенявина прожила у Василия Кондратьевича после смерти жены еще почти целый год. Ленинград восстанавливался, вернулась эвакуированная школа, в которой она много лет преподавала литературу, и нужно было возвращаться и ей.

— Насчет девочки не сомневайся,— сказал Василий Кондратьевич тогда. — Присматривать за ней будет моя соседка Аглая Егоровна, это добрая душа.

Ольга Николаевна понимала, как трудно было бы ему остаться совсем одному, к тому же была твердо уверена, что по своему душевному строю Василий Кондратьевич не станет никого искать взамен своей покойной жены; однако, уже много позднее, написала ему все-таки:

«Дело теперь прошлое, и хотя я и не сомневаюсь, что девочке будет хорошо у тебя, все же осталось у меня на совести, что я словно уклонилась от той нравственной ответственности, какую возложило на меня все случившееся. Кстати, Манюся называет тебя в письме Василием Кондратьевичем, а как она в действительности зовет тебя?»

И Василий Кондратьевич ответил, что сначала девочка называла его по имени-отчеству, потом папой Васей; а теперь зовет просто папой, в школе на хорошем счету,

а соседка Аглая Егоровна учит ее и хозяйствовать. И вот, оглядываясь на прошлое, думаешь о том, как неожиданно в самую горькую пору находишь и утешение, и нельзя не признать, что жизнь — вещь удивительная...

А несколько лет спустя, когда Маша перешла уже в седьмой класс, умерла Ольга Николаевна: сказалось, конечно, все пережитое, а памятник на Пискаревском кладбище осенял, по существу, и тех, кого и позднее уносили годы блокады...

У Маши нашлась двоюродная тетя, живущая в Семипалатинске, где осталась после эвакуации, как-то пришло от нее письмо, в котором она благодарила Василия Кондратьевича, но все же беспокоилась за Машу, и та сама ответила ей, что профессор Василий Кондратьевич Воздвиженский заменил ей отца и она носит ныне его фамилию.

А та Манюся, которую полуобреченной привезла в страшный год Ольга Николаевна, преподавала ныне русский язык и литературу. Деревянного домика, в котором жили когда-то Василий Кондратьевич с женой, уже не существовало, как не существовало и старого школьного здания, на месте которого построили большую, светлую школу их Вихрева, ставшего новым микрорайоном.

Маша, ныне Мария Андреевна Воздвиженская, возвращалась из школы обычно к пяти часам дня, а бывшая Огородная улица носила ныне имя партизана Михеева.

Василий Кондратьевич взял палку и хозяйственную сумку, пошел в сторону улицы Михеева, и хотя уже давно не было подмосковного села Вихрева, многое еще осталось связанное с ним: и большой стальной пруд, и старинная церковь, охраняемая как памятник архитектуры XVIII века, а на церковном кладбище лежала Лиза, и неподалеку была братская могила защитников Москвы на этом рубеже...

Остался от Вихрева и он, некогда молодой историк, а ныне профессор Воздвиженский, его знали и в местном почтовом отделении, знали и в школе, но многие из старых учителей были уже на пенсии или ушли совсем...

Почтальон Рая, дочь старого вихревского письмоносца Раисы Григорьевны, тоже хорошо знала профессора

Василия Кондратьевича Воздвиженского, для которого всегда было много почты.

— Здравствуйте, Василий Кондратьевич,— сказала она еще издали, роясь по дороге в сумке,— вам — ничего.

— Ну что же, иногда ничего тоже неплохо. Как мама?

— Спасибо. Она часто вспоминает вас.

— Еще бы не вспоминать... помучил ее порядком своей корреспонденцией.

— Она не потому вспоминает, а очень уважает вас. Между прочим, вы одну книжечку пообещали мне как-то. Забыли?

— Нисколько.

— А это про что?

— Про одного славного летчика, он же и писателем был — Экзюпери, не слыхали?

— Нет,— призналась Рая.— Знаете, писателей много, а я одна!

И такое это было милое и невинное озорство, такие веселые и смелые глаза, что как-то надолго осталось тепло от этой встречи.

Мать Раи, Раиса Григорьевна, была почтальоном в Вихреве еще в ту пору, когда на конверте нужно было писать: «Село Вихрево, Московской области». Она знала и жену Василия Кондратьевича, в войну приносила ей письма от него, иногда в виде солдатского треугольника, всегда говорила при этом: «Ну вот и письмецо вам», немножко поджидала, пока Елизавета Николаевна надорвет треугольник, спрашивала: «Все благополучно?» — и уходила довольная. После войны она проработала еще три года до пенсии, многое знала о судьбах вихревских жителей, знала и про обстоятельства жизни Василия Кондратьевича, сказала раз как бы мельком:

— Вам, Василий Кондратьевич, в раю место уготовано.

— Это почему же? — поинтересовался он.

— А вы не знаете? Ну, раз не знаете, то и я не знаю. Сорока на хвосте письма носит, она знает.

Чем-то походила на свою мать и Рая, и когда они с Василием Кондратьевичем пошли в разные стороны, оглянулась и посмотрела ему вслед, как он, высокий, в застегнутом доверху пальто, с серебряной полуволной волос из-под шляпы и с хозяйственной сумкой в руке,

идет в сторону улицы Михеева, а что направился он не только купить что-нибудь, Рая знала.

И она пошла дальше разносить письма в новые, большие дома с корпусами «А», «Б», «В» и «Г», целый город с сотнями квартир, а Василий Кондратьевич шел между тем в сторону школы. Некогда пролегала здесь тихая улица лесного их Вихрева, но уже давно носила она название Вихревский проспект, а когда-то собирал он здесь с Манюсей букеты из полевых мелких астр и желтых цветочков ятрышника.

В микрорайоне «3 б» был недавно построен торговый центр со стеклянным сплошь «универсамом», и всегда получалось так, что, купив хлеба или молока, Василий Кондратьевич оказывался возле школы, в которой как раз к этому часу кончались уроки, и из школы выходила учительница Мария Андреевна Воздвиженская...

Он нередко думал о том, что ушедшее из его жизни вернулось в новом, преображенном виде, и это милость судьбы, несмотря ни на что.

Василий Кондратьевич купил половину столового хлеба и два треугольных пакета с молоком, а со стеллажа в винном отделе снял бутылку белого вина.

— Я и не знал, что ты сегодня пораньше,— сказал он, когда Маша вышла из школы и они как бы совершенно случайно встретились.

Он взял из ее руки тяжелый портфель с ученическими тетрадями, отдал ей свою сумку, и Маша сразу же спросила:

— А вино зачем?

— Скажу потом. Нашел, между прочим, сегодня одну старую фотографию, посмотришь, как выглядела некогда наша неполная средняя школа.

Несколько лет назад Маша вышла замуж за журналиста Всеволода Ростиславовича Светлинского, работавшего в редакции одной из московских газет. Василию Кондратьевичу он с первого же взгляда показался человеком ненадежным, так оно и оказалось впоследствии, счастья Маша не нашла, хотя самолюбиво не признавалась в этом, только сказала однажды:

— Прежде мне до школы было несколько минут, а сейчас из Кузьминок почти час добираться.

— Твоя комната на месте,— ответил Василий Кондратьевич коротко.

Он никогда ни о чем не расспрашивал ее, а полгода спустя Маша вернулась как бы для того, чтобы хотя некоторое время быть поближе к школе, а дальше все пошло так, будто она и не уезжала в Кузьминки и никакого журналиста Всеволода Светлинского и не было.

Василий Кондратьевич знал, однако, что не так-то легко пережила Маша это, и старался все осторожно смягчить особой нежностью к ней.

— Вино можно выпить и без всякого повода... выпить, например, за то, чтобы у тебя были еще и удачи.

— Большей удачи, чем я нашла тебя в свое время, у меня не будет никогда.

— Но ведь и я нашел тебя в свое время,— ответил он, чуть смешавшись.— Давай тогда за общую нашу удачу.

И они отпили по глотку, а потом Василий Кондратьевич показал найденную в одном из альбомов жены фотографию одноэтажного деревянного здания с вывеской у входа «Неполная средняя школа», на пороге среди школьниц и школьников стояла молодая учительница, и по букетам в руках девочек можно было понять, что это, видимо, день начала занятий, осенний, кроткий вихревский день...

Василий Кондратьевич поднялся, достал с полки книгу и, найдя нужную страницу, прочел вслух:

— «Жизнь и весь мир — как бы мы ни называли свое бытие и свои ощущения — вещь удивительная... Жизнью, этим величайшим чудом из чудес, мы не восхищаемся именно потому, что она — чудо».

А над рабочим столом висел портрет Шелли, и отсвет его прославления жизни как бы лежал и на Маше, сидевшей, чуть опустив голову с тонким, нежным пробором в русых волосах...

КОЛОКОЛЬЧИК

Я вышел в сад пройтись перед сном, было студено и мглисто, не видно ни одной звезды в небе, и, видимо, вот-вот пойдет снег. Все было немо, как бы в предчувствии больших перемен, но как-то зловеще немо,

и я вспомнил, что такая немота пугала на войне больше, чем зарево пожаров или вспышки орудий.

Добрый человек, влюбленный в свой Урал, прислал мне как-то в подарок тот путевой колокольчик, который висел у поддужного почтовой тройки, старый медный колокольчик с привязанной гаечкой вместо била, тот захлебывающийся в пути колокольчик, звук которого слышали декабристы, слышали и последовавшие за ними их жены, однообразный звон, вдохновивший не одного поэта написать об однозвучно звучащем колокольчике...

Я повесил колокольчик на стену моей рабочей комнаты, он напоминает мне и о моих собственных скитаниях, хотя и без почтовых троек, напоминает и о тех, с кем сблизили меня их поэтические строчки...

И вот пошел снег, сначала только посыпал, потом повалил, уже полностью закрыв мир, я ехал в почтовой кибитке, и рядом под тяжелым кожаным верхом сидела в шубке, с белым пуховым платком на голове какая-то женщина, лицо которой лишь смутно белело, когда я глядел в ее сторону, сидела молча, укутанная в свои мысли, и я все же заговорил с ней наконец.

Я сказал:

— Анна Николаевна, зачем вы едете в такую даль, в такую безнадежность, в такую нерчинскую глухоту? Все равно вы ничего не вернете и не исправите. Ваша молодая, прекрасная жизнь нужна людям, не губите ее!

Но та, которую я назвал Анной Николаевной, не ответила мне, она смотрела на несущийся снег, и по временам снежинки приникали к ее лицу и таяли. Потом она спросила:

— А та, которая любила вас, поехала бы за вами?

И я, подумав, ответил:

— Наверно.

— Поехала бы за вами на край света, если бы даже это стоило ей жизни?

Я ответил:

— Поехала бы.

А больше она ничего не сказала, в сибирской степи снег и совсем повалил, колокольчик поддужного давился, наверно, ветер срывал его звук, и я был полон благодарной нежности, я был полон ею...

А моя спутница оказалась именно той, о которой я сказал сначала, что она, наверно, поехала бы за мной,

а потом уже уверенно сказал, что поехала бы, она была рядом, она не отпустила меня одного.

И, еще долго продолжая путь, быть может, уже где-то возле Иркутска, а то и возле Челябинска я лишь на миг открыл глаза, хотел было снова закрыть их, но что-то двигалось в пустой синеве утра за окном, и я увидел, что и вправду идет снег и что немотная тишина вечера, когда я вышел в сад, держала зиму, чтобы выпустить ее на рассвете.

Вот и снежная концовка, последняя страничка, заключающая все написанное тобой за лето, полная сердечной тревоги концовка, полная благодарной нежности концовка. А цветы, накануне еще голубевшие и лиловевшие, хотя и привядшие, были теперь каждый в отдельности в снегу, и когда, выйдя в сад, я коснулся одного цветка, с него посыпался снежный пух, как с одуванчика.

Колокольчик с Урала, висевший мирно на стене, медно вздрогнул, когда я встряхнул им.

— Спасибо, старый друг,— сказал я,— помог мне написать снежную концовку.

А тому, кто подарил мне колокольчик, я написал в Златоуст:

«Сегодня после летних трудов вернулся в Москву, встретил зиму, идет снег, сыплет по всему Подмосковью, и так же, как вы верны вашему Уралу, так верен я своему Подмосковью, только оно умеет подослать такой сон, что еще долго не хочешь оторваться от него и он лежит на смеженных ресницах, но отчего они слиплись — кто знает: может быть, человек плакал во сне. . .»

Рядом с уральским путевым колокольчиком висит на стене моей комнаты еще один подарок — валдайский колокольчик, звук которого слышал Радищев на пути из Петербурга в Москву, слышал и Пушкин, с его пронзительным — колокольчик, дар валдайский,— голосом, и я позвенел колокольчиком.

А за окном было уже стерильно бело, по-рабочему бело, это напоминало, что хотя свой труд ты и завершил, однако нужно еще переписать его набело.

СОДЕРЖАНИЕ

Московская метелица 5
Черноголовая чайка 12
Ночная станция 18
Тысяча мелочей 24
Заячья лапка 30
Морской ветер с дождиком 36
Сен-Готард 41
Дом о четырех углах 47
Стих 55
Бисерный кошелечек 59
Райская хижина 65
Обход 73
Домовая книга 78
Гелиос 82
Бабье лето 88
Илиада 93
Колечко 97
Вокзальный буфет 104
Первый ледок 112
Василий Кузьмич 117
Роза ветров 123
Тростниковая дудочка 128
Ты прости, прощай 131
Планета 138
Кольцевая дорога 141
Восхваление осеннего ненастья 145
Атолл 149
Эхо 153
Электрическая ночь 159
Ожерелье из яшмы 165
Ковер-самолет 172
Время звездных дождей 177
Глечик 180
Ангел 184
Отцы 191
Фуга 194
Дальняя дорога 198
Набегающая на берег волна 203
Степной, такой просторный день 208
В зимней дачке 215
Вечерние воспоминания 220
Радуга 224
Межа 232
Гнездо 240

Зимний отпуск 218
Озими 255
Бой часов 262
В пути под Новый год 269
Яранск далеко 278
Проливной дождь 285
Таяние снегов 291

СТАРАЯ РУЧКА

Старая ручка 297
След реактивного самолета 299
Натюрморт серебряной молодости 303
Начало рассказа 306
Русалка 308
Щепоть 312
Английский рассказ 314
Шелли 319
Колокольчик 324

Владимир Германович Лидин

ТАЯНИЕ СНЕГОВ

М., «Советский писатель», 1980, 328 стр. План выпуска 1980 г. № 43. Художник З. М. Ильинская. Редактор А. Л. Никитин. Худож. редактор Н. С. Лаврентьев. Техн. редактор В. Г. Комм. Корректоры Б. Ш. Котт и Т. П. Лейзерович. ИБ № 2110. Сдано в набор 19.11.79. Подписано к печати 14.07.80. А 06139. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 17,22. Уч.-изд. л. 17,68. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1159. Цена 1 р. 30 к. Издательство «Советский писатель». 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

1р.30к.

Вл. Лидин * ТАЯНИЕ СНЕГОВ